

K1395920

Галина Щекина

# МЕЛИССА

«периферия»



Галина Щекина  
МЕЛИССА

рассказы

*К 1395920*

Вологодская областная  
универсальная  
научная библиотека  
им. И. В. Бушкина

PC  
438 84(2=Kyc)6 +кр +кми  
кр

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР<sup>2</sup>

Щекина Галина Александровна.

МЕЛИССА: рассказы. - Вологда - «Свеча» -  
Издательский дом «Череповец», 2008 - 204 стр.

Фото автора выполнила Ольга Кузнецова. Фото на  
обложке - Александр Дудкин. Тираж 500 экз.

ISBN 5-94022-019-3

Проза Галины Щекиной - проза эмоционального экстрима. Она естественным образом продолжает линию русской литературы, начатую Викторией Токаревой, Людмилой Улицкой, Ниной Горлановой.

У Щекиной есть изюминка - способность наполнить диалоги или описание природы своей собственной, присущей только ей взрывчатой энергией. Это делает чтение захватывающим.

Сергей Фаустов, критик



Галина Щекина родилась в 1952 в Воронеже, там же закончила университет. В Вологде с 1979 года. Работала экономистом, корреспондентом газеты, ведущей гостиной в библиотеке, руководителем лит. студии «Лист». Выпускает альманах «Свеча», более десяти лет была старостой литературного клуба «Ступени». Начала писать в 1985, публиковалась в местной периодике, «Книжном обозрении», «Дружбе народов», «Литературной России», «Журналисте», сборнике «Женщины и СМИ: свобода творчества», альманахах «Илья», «Край городов», «Озарение», журнале «День и ночь», региональном журнале «Вологодский Лад», в сетевом журнале «Стороны света»(Нью-Йорк). Автор повестей и рассказов в книгах местных издательств. Член Союза российских писателей с 1996. Член союза журналистов. Участница нескольких литературных совещаний в Ярославле, Москве. Координатор конкурса «Илья-Премия» по Вологде. Шорт-листер премии «Русский Букер» 2008. Настоящее издание печатается в данной редакции впервые.

## ИРА, ГЕРА, ШУРА...

Душ шумит! Вода летит на пол, спины, от них — на стены и от стен — брызги в разные стороны. Слава богу, конец смены. Из этих столбов водяного тумана, как из водопада, Верочка говорит мечтательно про топ.

— Сделаю топ из этого оранжевого, и буду как настурция.

— А мне из чего сделать топ? — мылится Шура.

— Тебе, Шурочка, никак. У тебя фигуры нет.

— Это у тебя ничего нет, а у меня всего полно!

— Так ведь грудь не стоит же...

— Так нет, а вот так...— Шура резко наклонилась. Хохот грохнул на всю раздевалку. А Шура бормочет: «Двое детей, да сам третий, да и грудь им не такая...»

Сам третий у Шуры уехал на север, завербовался. Поэтому у нее проснулось самолюбие свободной женщины, и она еще за себя постоит. Постылый хвост обрежет, сделает косую прядь на щеку, как в тридцатые годы, а синий крепдешин в белый горох уже есть! Куда там Верочке с топом!

Мы тогда, конечно, не подозревали, что из этой свободы выйдет. А вышло вот что.

Шура работала контролером ОТК, с нашей Верочкой в одном цехе. И вот как-то раз привезли на завод арбузы по десять копеек за кило (в тех местах — дело обычное). Все и набрали по мешку, да не по одному. Забитые конторские девицы вроде нас маялись со своими мешками у ворот, давно клянчили попутку. Тем временем набежали тучи, сразу запылило и полезло в глаза. Так захотелось домой, что бросили бы эти арбузы. Мы оглянуться не успели, как Шурины мешки забухали в чей-то мотоциклет с прицепом. Она только лоб косынкой вытерла, нам подмигнула, да пошла пешком за ревушим мотоциклом. Вид у нее был довольный, не то, что у нас. Мы уже в потемках таскали свои арбузы, причем намокли. А Шурочка еще до дождя сбегала в город за картошкой, в погреб за солеными синенькими и помидорами по-армянски. Ох, как на Кубани все это умеют! А бутылка была.

Мотоциклист явно не стремился уходить. Спустил часть арбузов в погреб, умылся под шлангом. Шура дала ему полотенце, а он, глянув так снизу — дочерна загорелый, только волосы выгорели, а глаза серые, холодные, как лед: «Звать Мара-том». Она вроде дрогнула, но ничего, не сдавалась. Свободная женщина!

Дети Ира и Гера были дома, глазели и шептались. Они взяли миску с горячей картошкой и тающим куском масла, выкачали себе арбуз — и на веранду. Когда глаза у Шуры попривыкли, она заметила якорьки на руках.

— Плаваешь?

— Списан.

— За что же?

— За то самое.

— А-а. И что дальше будешь делать?

— Что и раньше — деньги зарабатывать.

— Где?

— Например, в баре.

— Ну, зарабатывают на заводе, в баре воруют. Одну кружку недольешь, другую.

— А зато потом сразу кружку денег! — И он захохотал.

— С такими-то глазами... — но спохватилась.

Красота — понятие растяжимое, но одно было ясно: такой своего не упустит. И по Шуре это было видно на следующий же день! Вся свежая, затуманенная, рот рдел невыносимо, влажные глаза прятала, ямочки выдавали. Брак, естественно, пропустила. Пока решался вопрос с баром, товарищ чинил частникам машины, потому что был неплохой механик, греб деньги, которыми и сорил. Для этого он с треском и шиком подкатывал к проходной в самый неурочный час и вызывал Шуру. Особенно после того, как началась школа, и детей днями дома не было. А когда были, то смотрели на дядю то ли презрительно, то ли снисходительно. Не то чтобы они вообще не разговаривали, наоборот, просто держали вежливый нейтралитет.

Цеховая раздевалка от зависти стонала. Тем временем Шура лихорадочно переодевалась и невнятно бормотала: «Ничего вы не понимаете... У него была кошмарная жизнь... Столько голодал, деньги никогда не держались, бабы раскручивали...»

— Неужели? — умирали от смеха бабы. — А костюмчик из коричневого шитья, маде ин Югославия, ведь это он в магазине сто, да и то, может, в валютном. На толкане он все двести.

— Я хоть кормлю! — сердилась Шура. — Весь погреб скорплю!

— И весь сад, и весь огород! — веселились бабы.

— И сад! И огород! — горя лицом, Шура хлопала дверью и уносила прочь.

Каждый день мы ждали от Верочки сводок. И сводки были одна другой сказочней. Один раз Верочка пошла к Шуре обрывать сад. Пока Вера зависала на одном дереве (а ведь она довольно шустрая), товарищ Марат оборвал два. Гера с Ирой таскали и мыли банки, у Шуры кипело на двух плитах. Потом Шура

стала начинять банки компотами и пятиминутками, он закатывал. И спустили в подвал двадцать банок. Вера приползла с ведром яблок уже к ночи, мы ими хрустели и стонали от зависти. И жизнь бьет ключом, и севера не надо.

А работать стал Марат в техмастерских. Какой там бар! Вскоре Верочка перешла в другой цех. Прошла зима, началась весна. Купаться мы там начинали уже в апреле, сперва на лимане, потом ездили на дальний пляж и Зеленый остров на моторке Верочкиного Саши. Море было теплое, пиво соленое, тарань душистая и слабоявленная. От Шуриной истории мы как-то удалились. В тех местах вообще трудно жить умом. Слишком много удовольствий для тела, а голова действовать, увы, перестает. Много времени спустя мы узнали через Веру, что Марат в мае ездил в колхоз, а Шуре уже было поздно идти за направлением. И посему она стала темнеть лицом и ходить в балахонах. Что делать — удавиться или подождать — было неизвестно.

Марат приехал из колхоза счастливый, поцеловал Шуру в ухо и сказал:

— Молодец, что не сделала.

— Какая молодец! — воскликнула, наливаясь слезами, Шура. — Того и гляди, Петя явится!

— Ну и что? Петя приедет, а ты ко мне переедешь.

— Переедешь... А дети? Куда они-то от отца поедут?

Так Шура поехала в родном и родила красивого крупного белокурого мальчика, такие всегда бывают от большой любви. Что тут началось! Вера не знала, а каком цехе она уже работает, моталась туда-сюда, собирала деньги. Началось всеобщее сочувствие, все понимали, что ожидает глупую Шуру. Завком тоже порядочную сумму выделил, там был тогда председателем паренек из литейки, молодой и чуткий. Баба, которая больше всех над Шурой издевалась, достала ей импортную коляску с треугольным окном, и еще накупила всякого — доверху коляску эту. При этом надо учесть, что казачки там прижимистые, зря деньги ни кидают.

Пришла к Шуре делегация. Дом чисто прибран, Шура в новом, стоящем колом стеганом халате и с прической сидит смотрит телевизор. Увидела коляску — вскочила, руками замахала:

— Куда, зачем? Несите назад!

— Все понятно: с ума ты сошла от скромности.

— Лучше покажи дите. Или спит?

— Да ты посмотри, какая машина! У кого еще есть такая?

Тут Шура зажала рот, слезы горькие градом:

— Ведь оставила! Как вы не понимаете! Ос-та-ви-ла!

Делегация стала столбами, как на похоронах. Сделалось

страшно. За раскрытым окном жизнерадостно посвистывали птицы.

— Да отнесите, отнесите это куда-нибудь! Ради бога!

— Ну, нет,— Зина, пожилая учетчица, как хлопнет рукой по той коляске.— Это тебе памятник будет, б... ты хорошая.

И все с топотом вышли.

На другое утро опять звонила несчастная: мол, заберите! Но ей ответили тем, что средства оприходованы, чеки приложены и все такое. Так что несите в магазин!

Надрывался где-то у чужих крохотный Маратович, дома надрывалась Шура. Скоро Петя... Что ему скажешь?.. Убьет.

И здесь одно зло потянуло за собой другое... Дети, которые долго молчали, вдруг взбунтовались. Шуре всегда казалось, что они похожи на Петю статью и нутром — смуглые, татарские, эмоциональные. Сама же Шура, напротив, русая, сероглазая, словом, белая лебедь, и потому они должны бы возненавидеть «дядиного» братца. Но они от накрытой коляски отшатнулись как от гроба. Ира сказала так:

— Его теперь кто возьмет, или он в детдоме жить будет?

— Я не знаю,— тихо сказала Шура,— я же расписалась, что разыскивать не буду.

— Его возьмет Марат,— сказал Гера.— Тебе не жалко, а ему жалко. У него никого нет.

— Мне тоже жалко...— прошелестела Шура и полезла за платком.

И тут Гера нагнулся и сказал куда-то в стену:

— Значит, ты и нас могла так не взять? И мы бы с Ирккой тут у тебя не жили?

— Да вы чокнулись! — Закричала Шура.— Вы же мои!

— Мы не твои, а отцовы,— сказал грубо Гера.

С этого дня они дома есть перестали. «Поешьте,— уговаривала она их.— Ведь сдохнете».—«Не сдохнем»,— успокоила Ира. На третий день у них провалились глаза, и они не пошли в школу. Шура наспех оделась и побежала.

Ей, конечно, пришлось умолять всех подряд. Когда уговоры не действовали, звонила и главврачу, и заместителю. Как бы то ни было, в хорошую сторону всегда легче просить, чем в плохую. Она-то их меньше уговаривала, чем они ее в роддоме.

Аннулировала отказ, помчалась в Дом ребенка. Там ее невежливо спросили, в каком состоянии грудь. «Сцеживала»,— и залилась краской.

Наверно, в жизни могло так и не быть, но Верочка и молва утверждали, что Шура стала кормить младенца прямо там, в приемной, не снимая пальто. Сестра несла ватку с фурацили-

ном, но поздно: Маратович уже вцепился в сосок мертвой хваткой и покрывался сладостным потом... А потом Шура нетвердой походкой, неся охапку, пошла вон, и сестра побежала ее проводить... Шура поехала домой на машине скорой помощи, и это тоже было нарушение. Но оно осталось безнаказанным.

Дома остывал дымный бак с кипяченой водой, а также сидели унылые Ира и Гера. Молча подошли, отогнули угол. И что оно такое, чтоб из-за него так страдать? Пожали плечами, и неторопливо, даже как-то нехотя пошли... греть борщ. Они ели медленно, как усталые взрослые люди, не кидались хлебом, не включали телевизор, не ржали...

Петя писал, что приедет летом, но все не ехал. Дети долго морились в ожидании, но потом все же уехали в пионерлагерь во вторую смену. Да и какие они заступники?

Он пришел вечером, чужой и некрасивый, почему-то в бороде и усах, которые ему не шли. Пеленки заметил сразу...

Сел в прихожке на табуретку и долго курил. Вроде не курил же! Шура не знала, что говорить, и молчала, до судорог вцепившись в уют. Думала — сразу уйдет или начнет делиться? Но он оказался не такой простой. Сходил во дворе в душ, хорошо налаженный его первым врагом. Раскрыл чемоданы, оттуда коньяк. Шура понятливая, наставила пряных солений. Крепко выпили и поели, все молча. Спавший невинным сном Валера даже не проснулся.

— Сколько ему?

— Скоро шесть.

Сходил, посмотрел:

— Так, хорошо. Пошли.

Шура за ним — как в бреду. Зашли в летнюю кухню. Он толстую дверь запер и сказал, что теперь он ее, курву, убивать будет. И выходил ее ремнем до беспамятства так, что спина надулась подушкой. Проревевшись, глянула на часы: и двадцати минут не было, а она подумала — два часа.

Ночью проснулась — Петя-изверг сидит и курит. Не курил же!.. И опять выходил ее, но только по-другому...

А утром пошел с импортной коляской гулять. Только раз он Шуре припомнил! Он с приятелем насчет севера говорил, мол, поезжай один, без меня. Старый стал младенцев-то качать, и этих — за глаза. Это было уже после того, как мы оттуда уехали, а Валера подрос и ходил в садик.

А как же Марат? Тот, напротив, никуда не уехал. Он купил шикарный дом на лимане и живет. Не женился.

## ПРОДАЛА КАПИТОЛИНА КОРОВУ...

*Продала Капитолина корову —  
Незадешево, почти что за тыщу...  
О. Фокина. «Сказ о телевизоре»*

Добирались домой в надежде на хорошее. Все ж таки дом, огород, живности столько, ко всему надо руки заботливые приложить. После долгой хвори на улице казалось сладко и хмельно, охота было дышать и не думать. Идучи с автобуса, Капитолина с племянницей молчали.

Мужа Капитолины дома не оказалось, скотина редела дурняком от голода. Ключ лежал на месте, но в доме было неприбрано и голо, вроде как в нежилом месте. Не знаешь, за что хвататься... Племянница кинулась в погреб, потом чугуны запаривать, глядь — а Капитолина, как ни в чем ни бывало, села на кровать, гладко причесалась и говорит — обход скоро... Господи, спаси и помилуй. Племянница было в слезы, да что теперь сделаешь...

Капитолина всю жизнь прожила в глухом северном уезде. Работала она на почтовое ведомство — пудовую сумку на плечо и ну версты мерять. Ходила она по метелям и солнцепеку, и потому была темная лицом и светлая глазами.

Дома она по вечерам еще со скотиной билась: корова, хрюшки, птицы на полдвора. И огород изрядный. Но все это не было какими-то кандалами и шло само собой. Повезло, видать, и с мужем — добродушен был, на еду не капризный, на работу безотказный. Сын в него пошел нравом и ко всему был быстрый на руку и легкий на ногу. Не раз с сумкой почтовой бегал, пока мать болела.

Подошли годы сыну служить, забрали в армию. Дом их большой часто стоял теперь без огня, когда родители пропадали на работе. Раз приходит Капитолина в сумерки и видит — дверь настезь, все переколошкано... Ой, воры! Прибралась, очухалась, слезы вытерла, пересмотрела, что пропало. Одежда вроде вся на месте, только вот простыни, покрывала, занавески заграничные из комода. Обидно, дыра в хозяйстве. Решила подать заявление в милицию. Там взяли бумагу и все обещали сыскать; Капитолина, доверчивая, стала ждать.

Пока ждала, ее через пару месяцев снова обчистили, унесли переносной приемник и стиральную машину «Малютка». Муж пришел домой, а Капитолина не прибирается, не бегаёт, а сидит, подпершись — знай, строчит. «Опять заявление?»—

«Опять»—«Толку-то». Кстати прибавила, что видела развешанные в чужом дворе похожие занавески. После этого служба зашевелилась живей, и пошел человек в форме опрашивать соседей. Толк был таков: ее вызвали по бумажке и велели прекратить клевету. Мол, занавески в раймаге были одинаковые, их весь околоток закупил. И нечего тут! Капитолина вернулась с проработки словно побитая, и ей показалось, что некоторые этому очень даже рады.

После третьего налета она и вовсе затвердела, написала в райком и в газету, что милиция даром хлеб ест. Муж был мужик умный и не советовал так круто забирать, но Капитолина на своем стояла: раз добро пропало, надо хоть правды добиваться.

Опять вызывали и все насчет клеветы нажимали.

Капитолина обиделась и написала в область. Дней через несколько приехала к ее двору машина милицейская, в ней двое в форме и один в белом халате. Разговаривали противно, все намекали, и она стала на них кричать. Они тогда покачали головами и сделали ей укол, после чего она обеспамятела. Сутки спала!

Тут бы ей самое время опомниться, забыть про свои занавески и затихнуть. Сказано ведь, что жизнь дороже барахла.

Так бедная женщина ведь не то что тряпок жалела, а справедливости хотела добиться. Прямо как заболела ею, как сглазом каким! И написала еще одно письмо в газету, аж в столицу.

Из-за этого письма тихий муж напился, а потом спросил — а что я тебе сделал, что ты меня перед столицей позоришь? А Капитолина удивилась, с чего тут особенно трусить. А он сказал, что ты, мол, деревенская, а не знаешь, а он вот городской — и знает. И пошел, и выхлебал всю брагу в сенях.

Через две недели либо около того приехала к Капитолине другая машина, с красным крестом. Снова поговорили, придержали за руки, сделали укол, а когда отключилась, одели и увезли. Так и попала тихая почтальонка в больницу лечиться.

Там ее кололи каждый день не по разу, кормили всякой химией и не выпускали на улицу. Она это терпела, понимала, что это наказание за правду и что конец этому будет. Но потом ее перевели к буйным, и она стала духом падать очень быстро. Она ведь любила ходить с задранной головой, а эти не выносили, когда на них смотрят, да еще искоса. Капитолина несколько раз получила по шее, а такие тычки сразу с ног валили — и стала смотреть только в пол. Она стала совсем плохо спать по ночам. Однажды она услышала, как больная говорила с родными по телефону. Что-то тронулось у нее внутри, и пришлось проглотить комок. Своей тяжелой порченной головой она вспом-

нила про дальнюю двоюродную племянницу. Племянница сушила мозги в важной конторе и, наверное, знала, как плавать в бумажном-то море...

Племянница как ее услышала, так даже застонала. И тут же начала хлопотать. К докторам кинулась. Те говорят — полечим и отпустим. А чем болеет? Историю болезни никак нельзя. Один курс кончили — другой начали. Кто велел? Комиссия. Три курса. Не выпускают. К главному в ноги. Тот поломался и сказал, что теперь вроде можно отпустить, но раз доставила милиция, пусть она и забирает. А она не забирает!

Тогда обратилась племянница к судебному начальству. Опять толку нет: месяц ни одного начальника на месте застать не могла. А потом один сказал, что милиция сделала все по закону — конечно, кто будет бочку катить на своих же.

Стала просить одного хорошего знакомого во внутренних делах, мол, выручи, проверь только, все ли так страшно с тетя Капой. Но он шепотом попросил забыть его фамилию. Милиционер с участка сказал, что мне терять нечего, я старый, но тут ничего не сделаешь, гиблое дело, в общем. Как от чумы все! «Пусть лечится!» От чего, от жизни? Одна племянница знала, что, чем дольше тетка лечится, тем хуже болеет.

Изредка приезжал к бедной Капе ее муж. Привозил ей мед и сало, которые к ней не попадали то ли по причине закрытого отделения, то ли по причине особой диеты. Когда ее стали выпускать к родным — другое дело. В один приезд он сказал, что хозяйство надо рушить, он его волочь больше не может. Капитолина попросила его потянуть, подождать. Лишних кур и уток можно забить, хрюшек выгодно продать на базаре, а потом и новых поросятков взять. От этих разговоров Капа оживлялась и розовела лицом, вроде, держали ее заботы в нормальной жизни-то. Но потом у нее заныли все суставы, стало печь огнем внутри, и она замолчала. Ей стало все равно.

Так прошло почти два года. Позвонили племяннице из больницы, что тетка выписана, занимает место. Больница маленькая, больных много. Про милицию ни слова. Как вышла тетка Капа, так племянница и заплакала над ней. Ростом стала мала, ссохлась, постарела, смотрит в пол и зовет на «вы». И все головой кивает, как соглашается. А как стали брать билет на автобус, тетя Капа зашептала — и вы поезжайте, не доехать мне... Вот и доехали!

Вечером пришел с работы муж, обнял племянницу, колбасу по червонцу из дорогого магазина снес на холод и налил в стаканы, чего у него там было. Он понял, что зря бился, как рыба об лед.

Хрюшек продавать было некому, и их сдали по дешевке в столовую. Самое главное — пришлось продавать корову. Пока он нашел таких, чтобы в хорошие руки... Он сам доил несчастную, а Капа даже не вникала. Не ходила с ней разговаривать и гладить, как раньше. Что ж, отдали, наконец, в совхоз, взяли неплохие деньги, а корова через три дня, с оборванной веревкой на шее, вся в репьях, приплелась. Снова надо увозить, вот какое не дело.

Опять загрузили страдальицу в кузов, муж Капы сам помогал, но вот взгляд коровы из култыхающей машины он выдержать не смог, закашлял. Капа стояла как посторонняя, кивала.

Остались в пустом дворе куры, которые жили в бурьяне. Муж стал часто выпивать и не ночевал дома, потому что страшно ему было. Он жалел Капу про себя, молча, но говорить про такое не умел. А Капитолина потихоньку все отходила, тоже молча, наощупь, словно заново, узнавала старые стены. Потом вроде пришла в себя, да пошла на свою почту работать. Но когда приехал домой отслуживший в армии сын, он не узнал матери. И то: Капитолина все понимала, была разумная и тихая, но это была уже не она.

## ДЕТИ ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

У меня все подружки не замужем! Но в сказках так наказывались ленихи и злые души, а в жизни все гораздо хуже. Девки изумительные, все шьют-вяжут, пироги пекут, по кабакам не шляются, а выходит — никому не нужны. То есть, они, конечно, работают инженерами и учителями, а в выходные дни еще ходят, как ненормальные, кирпичи таскать для какой-нибудь восстановленной церкви. Совершенно напрасно надеясь встретить там энтузиастов мужского пола! Какое простодушие... Но любая работа — ничто, если рядом нет близкого человека, нет детей. Нет ничего горше, чем невостребованная любовь и нежность... Я отлично понимаю их, я сама такая же точно, и тоже была обречена, но мне повезло в последний момент и, причем незаслуженно, за счет чужого горя. Только эту леденящую кровь историю я расскажу вам потом.

Несмотря на то, что подруга Инночка честно окончила институт и работала конструктором, она этого стыдилась: «Жалко, что я пещерная,— говорила она,— нельзя в наше время конторской крысой сидеть». И опускала голову. Внешне она была так себе, хрупкая и бледненькая, только что волосы густые, в

мелкое кольцо, ну еще родинки. Одежда ее сильно преображала, особенно эта блузочка в крапинку: высокие буфы, глухой высокий ворот, по кромке — мелкая оборка, тяжелый серебряный медальон... Чеховский образ. Но она как-то не увлекалась модой, сонно листала журналы, пожимала плечиком. И опять влезала в серый трикотажный костюмчик, который

Она возникала бесшумно, вешала плащ и садилась к окну:

— Давай что-нибудь почищу. Вон лук лежит.

У меня как обычно: машина в ванной урчит, сковородка скворчит, дети дерутся. Я достаю лук, нож, тарелку.

— Скажи, что у тебя новенького.

— Да вот, прочитала Фолкнера. (А до этого были Достоевский, Лесков...)

— Какой том?

— Да всего.

Она читала не книжками, а собраниями. О чем с ней говорить? Я на что люблю Фолкнера, и то мне далеко до полного собрания. А что мужики читают? Охо-хо.

— А на личном? — спрашиваю.

— На личном — ничего.

— А из Прибалтики? Укоризненный взгляд и молчание.

— Что ж тогда так давно не бывала?

— Так ведь некогда. Киноабонемент. Университет марксизма-ленинизма...

— Слава Богу, вот как раз этого добра в тебе, по-моему, достаточно.

— Так ведь заставили.

— Ну, дальше.

— Дальше аэробика два раза в неделю.

— Ты, на аэробике? Зачем? Ты и так худая!

— Я для пластики.

— Бедная моя, — целую ее в висок. — С кем же мне тебя свести, чтобы и с Фолкнером, и с пластикой? Достоевский — ладно, его русофилы любят, модно теперь; но Фолкнер...

— Да это все равно. Я и русофилов тоже не люблю. Для них одни люди, другие — нет.

И ничего-то она не любит. И так всегда. В один год окончила курсы, поехала на парходике с экскурсией. Опять не помогло. Привязался, правда, один любопытный товарищ, зачитывал стихами, целовал за каждую пуговицу, а уж как совсем завелся, она его грубо оттолкнула и убежала. Пусть корчитя мужик.

— Да зачем же ты?!

— Для таких людей стихи — отмычка.

— Но ты же требуешь — вот человек и старается.

— Да нет, он совсем чужой. Не могу я с таким.

— А с каким? Сначала все чужие. Потом сближаются.

— А я могу только с мужем.

Видели ее? Дождалась до тридцати, а воз и ныне там. Шила она тогда кучерское пальто, это превосходная штука — колокол плюс накидка с капюшоном, ну просто — пушкинский образ. Сшила и поехала в нем в Полтаву. У них заведено было тогда: поехал, конверт бросил — и домой. Бумаги к оплате вовремя успевают, и колбасы можно закупить, а что деньги летят — так не личные. После Полтавы нет ее и нет. Ну, думаю, — не роман ли хоть? Однако через месяц восходит на моей шумной кухне.

— Привет, что хорошенького скажешь?

— Привет. Давай что-нибудь порежу.

— Да брось ты. Как дела? Говори скорей, а то умру!

— Какие там дела.

— Личные, личные. Ну?

— Слушай, а как это начинается? Я, видимо, залетела.

— Что-о? — я просто потеряла дар речи.

Инночка аккуратно опустила конверт в почтовый ящик, похожий на полированный деревянный дом. Такие всегда стоят на почтамте. Пошла по магазинам. Она и не заметила, где именно возник за плечом некто. И давай шутить и рассыпаться — а вот я покажу вам такие магазины, где... А что это вы все молчите, вам не надоело быть загадкой, вы как та девочка с хвостом у Андерсена, наверное, вы просто замерзли. Так пойдемте, тут недалеко! Очень быстро темнело, а угрожающих размеров сумка резала плечо. Сначала они пошли в бар: кофе, галеты — два раза, затем кофе с ликером, коктейль и соленые орешки... Все равно молчит Инночка, улыбается. Тогда он сменил тактику: ладно, тут стало скучно, а вот у меня тетя недалеко живет, могу познакомить.

В квартиру проник первый, пальто неосторожно бросил на пол и тут же стал артистически и самозабвенно спутницу целовать. А сам без отрыва то башмаки шурнет под шкаф, то рукой что-то задернет. Однако женщине приятно такое внимание, она не отстранялась. Но вот он стал ее расстегивать как-то слишком быстро и заучено. И вдруг остановился. Его дама, раскинув руки и неприлично трясясь, хохотала. Это было неуместно и даже нагло.

— Что такое? Я тебе не нравлюсь?

— Нет, почему... — задыхалась она, — но так нельзя...

— Что именно?

— Ну, валить так сразу.

— Когда-то все равно надо валить, не так ли?

— Разумеется, но прежде надо организовать предысторию. Мол, любил такую-то... Даже хотел жениться, но она... Здесь кошмар надо вставить!.. И с тех пор... И тут, наконец, вы... Понятно?

Он поскутчал.

— Ладно, хватит меня учить. Учи там, у себя... Откуда ты?

— Из духовного центра русского Севера.

— Вот и давай, работай в центре.

— Охотников пока немного нашлось.

— Что ж ты к первооткрывателям так неласкова?

— Ну, я еще не так стара и дурна собой. Как видите. И звать-величать Потокина Инна Ардалионовна.

— А меня Давид Рубинштейн. Давид Борисович,— и поклонился полураздетый.

— Разве? — ахнув, она привстала.— А непохоже. Впрочем, я в этом не разбираюсь.

— Приятно слышать от всезнайки... Но не вернуться ли к старому вопросу: целоваться будет гражданка Потокина?

— Нет, не будет.

— В таком случае я вынужден применить подкуп и шантаж. Пойду, проверю ресурсы.

— Стойте! — и он остановился, склонив красивую голову.

— Вернитесь и все сделайте все как было.

— Но это уже похоже на прощение, и я... м-м-м...

— Все-все, теперь идите. Они оделись и познакомились.

Он сделал запеканку из ветчины и баночной фасоли и, веселый, кормил даму и поил, показывал непристойные журналы, смешил и смешил до смерти. Но сам ее больше не трогал. А потом вызвал такси и отвез в аэропорт, который был далеко за городом, а на улице колыхалась глухая ночь. Все окошки были закрыты, лишь в одном сказали, что на Москву ничего до утра нет. Инна не могла поверить, что приключение кончится такой гадостью, и всхлипнула, Затем мимо нее в окошечко проплыла знакомая смуглая рука ладонью вниз. Лицо кассирши пошло рябью, видно, она боролась с собой. Обратная рука вернулась с билетом.

— Так у тебя, смешная девочка, никого не было?

— Нет, не было.

— С чего же такие сентенции? Научил кто?

— Да ну. Просто я не люблю все эти приемы...

— Это глупо. И если тебя еще не разбудили, так это как раз...

— Не глупо. Техника без радости — это разврат.

— А радость без техники — пещерность.

— Радость всегда чудо, с техникой или без.

— Ну ладно, дитя, живи в ожидании чуда, но торопись на посадку. Слышишь? — и он провел пальцем по ее скуле.

И закурил, прищурясь. И тогда она сама стала его целовать, видите, какое дело.

И самолет был пропущен, и все такое. Я уронила тарелку и проглотила комок.

— Опытный ловелас! — сказала я. — Он поймал тебя на самом уязвимом месте. На человеческом факторе. Но как насчет того, что он чужой?

— Понимаешь... — она развела ножом и огурцом. — У меня была хоть призрачная, но свобода. Я ведь могла шагнуть за вертушку. И все! Но меня поразило, что он так спокойно меня отпускает! Что не в его правилах...

— Ничего себе свобода! Ты уже ходила, куда надо?

— Ходила. И еще раз пойду. Так началась эта горькая эпопея.

Один раз она все подготовила, все сдала. И у последнего рубежа, в раздевалке — глядь! — та самая особа с Инночкиной работы, которая прежде всего всем расскажет. И потом, не ей ли Инночка доказывала, споря до хрипоты, что внебрачный ребенок — тоже выход... Но, выходит, — не для нее? Убежала. Пришлось все снова.

На второй раз ее бесцеремонно прогнали. «Не дури ты нас, не дури, — сказали ей строго. — Плод слишком большой, это опасно. Не знаем, какие двенадцать недель тебе участковая поставила. Иди на учет и рожай».

— Не понимаю, в чем дело, — бормотала Инна, прижавшись лбом к оконной раме. — Господи, какой ужас. Ведь я знаю, что срок маленький, а они...

— Будешь ему сообщать?

— Ни за что. Лучше умру.

— Но, может, он счастлив будет! Она посмотрела на меня с презрением.

Я не буду тут подробно вспоминать, что творилось с ее родителями. Как «я, старый большевик Ардалион Потокин, всю жизнь свою положил, а моя дочь, как последняя», как «в наше время загибали подол и вели по деревне», и что, разумеется, «лучше руки на себя наложить». Возможно, она соглашалась с ними, не огрызалась насчет наложения рук, а просто, нагнувшись, слизывала сбегаящие едкие капли. Она была такая тщедушная, а живот пугающе большой, так что ей приходилось двигаться, наклонившись назад.

Последние недели торчала на сохранении. Из роддома позвонила сама и сказала застенчиво, что у нее двойня. Видимо, вторую головку непросто было прошупать на раннем сроке. В любом деле казусы бывают. Однако после аналогичного застенчивого звонка ее маменька, тоже старая большевичка, положившая жизнь, поехала в больницу с инфарктом. Я же по-

неслась закупать все в двойном размере, да еще коляска, стоявшая у меня наготове, не сгодилась, надо было искать широкую... Она помахала мне из окна, завернувшись в одеяло, и показалась мне что-то уж очень красивой. Я крикнула:

— Давно бы так! Адрес где полтавский?

— Не смей! — замотала она головой.

Мы с Танюшкой скрепились и привезли орущую семейку домой. Такси и торты — все было, как положено. Недели через две и маменьку-сердечницу доставили, оклемалась она на удивление быстро. Да и то сказать, что ни проклинать, ни тем более накладывать руки было уже некогда, и маменька быстро впряглась в упряжку. Бегала и сестра из поликлиники. Но все равно: один спит, другой орет. Потом наоборот. Соски этими хулиганами не признавались. Молоко у нее было, но от резкого введения кефира — как обычно — грянули неприятности, пришлось даже в инфекционке полежать, а там кокки в грудном молоке нашли, стерилизовать заставили. Счастливо избежав мастита, вернулись домой, и все пошло по-старому. Не знаю, откуда она брала силы.

Наступил первый в жизни настоящий день рождения. Мы с Танюшкой завернули по великому благу доставшиеся болгарские махровые комплекты, забрали моих из садика и пошли. А там уже и стол раздвинули, и умытого седенького папу на кресле придвинули, и маменька, ворча, протирала бокалы.

— Ничего-то вы не умеете, даже стол накрыть. Как вы жить будете? Я в свое время гостей принимала по тридцать человек.

Пацаны Валя и Толя были перемазаны кашей, но видать, что сильно похожи. Только один посветлее и с родинкой. А второй будто погуще раскрашен.

— Слушай, их не спутать, — нежно сказала я. — С родинкой кто?

— С родинкой Валик. Садитесь скорей, пока молчат. Танюшка, там сухарь в холодильнике.

Мои дети, потрясенные обилием «тютюшек», сидели перед ними на полу и балдели. Я их призывала к двум тортам — коричневому чешскому и наполеону, они не реагировали.

— Придется мне тоже родить девочку, — шепотом сказала Танюшка.

— Еще чего! — грозно отозвалась маменька. — Танечка, скажите этой юной безумице...

— Я давно уже не юная, — прошептала Танюшка.

Долго мы сидели у Инки. Маменька с разгоревшимся лицом озабоченно увозила спать папеньку. Потом они вместе утаскивали ребят, а мы пели и пели песни под гитару. И во мне все время что-то росло и раздувалось, так что трудно было терпеть. Я улыбалась, шутила, а потом все же украдала этот адрес. И

1395920

Библиотека  
Университета

лихорадочно, быстро собрав сонных детей, убежала на троллейбус.

«Здравствуйте, уважаемый Давид. Простите меня, что вмешиваюсь в чужие дела, но я подруга Инны Потокиной, и вчера была у нее на дне рождения ваших сыновей. Если у вас уже есть семья, то я поступаю очень бестактно, но мне тяжело быть тактичной, так как я все время реву. Вы ничего не должны материально, и вы вообще можете не отвечать, тем более, что Инка не знает ничего и не простит мне этой выходки. Но ведь надо, чтобы вы это знали. Посмотрите на фото, Валику и Толику тут по десять месяцев. Как они вам? Особенно Толик, он справа».

Подпись я поставила, а адрес не стала. Адрес я написала ее. Бросила конверт в полированный деревянный дом на почтамте. Как я дрожала, как надеялась, что его проберет, ведь живой же человек, ведь это он обнимал ее, целовал ее родинки, ронял на пол ее шикарное кучерское пальто...

Но он ничего не ответил и не приехал.

Смешно в наше время... Муж опять оказался прав. Когда я писала письмо, он только усмехнулся и спросил, сколько мне лет...

И все же моя выходка не осталась безнаказанной. Летом мы обычно уезжаем на свою волшебную гору и загораем до одурения. Около месяца нас в городе не было, а когда вернулись, я увидела открытку от Инки. Так я узнала о событии, за которое мне досталось.

Тихим летним вечером к дому Инки подошла пожилая женщина, но еще приятная, южного вида, с огромным модным баулом. Она посидела на лавочке с бабками, порасспрашивала, кто такие Потокины, хорошие ли люди, мол, приехала издалека, больше никого не знает, остановиться негде. Бабки ей наперебой затрещали, что да, люди чудные, только тесно у них, отец калека и дети маленькие, вот к нам-то пожалте, у нас и дети в отпуск укатили. Женщина разулыбалась, полная такая, цветущая, видно, что нетутошняя. Поздно вечером она берет и к Инке приходит — «добрый вечер, милая, я из Полтавы...» Милую от ужаса даже затошнило, она в первые минуты была просто без сознания. А гостя знай ее по руке гладит — спокойно, прошу вас, я понимаю, что нервы, но я ничего плохого вам не сделаю, я только на детей посмотреть... Так Инка познакомилась со свекровью. Звали ее Майя Исааковна... Зимой она занялась инвентаризацией у Давидика, поскольку живут они отдельно, а женской твердой руки над ним нет. Давидик пиджак свой кожаный перестал носить, пришлось пустить его в дело, под подкладкой и обнаружилось... И протянула трепаную и завернутую целлофаном фотографию с надписью «Галке от Инны».

— Нашла я фотографию и покой потеряла, — мягко говорит Исааковна. — Один-то слишком напоминает Давидика. Выбрала момент и поговорила с ним.

Ну, женщин у него было много, но вот с одной дело затянулось, а там и заявление отнесли. И внезапно перед самой свадьбой — у меня уже было все приготовлено! — ссора, да такая нелепая. И все, понимаете? Может, он ей рассказал про эту фотографию, а она вспылила? Может, сам не счел удобным... В общем, он не женился, в душе ад, мне тогда подал ваш адрес, посмотрел нехорошим пустым взглядом и вышел. А мне что прикажете?

В тот памятный вечер Инка нарыдалась вдоволь. На другое утро они тютюкались с двойняшками вместе. Старые большевики были в обмороке от родственницы, а она не очень-то смотрела на обмороки. Она работала за троих — варила, стирала, дышала тучно. Из баула Исааковна извлекла много чудесных тряпок для детей. Много было не по размеру, и она восклицала: «Ах, но на юге дети намного крупнее!» Под конец они даже съездили в фотографию. Инка все вынесла достойно. Выругав меня за инициативу, она жалобно говорила, что следовало в лицо швырнуть все подарочки, да сил не было.

— Что я могу решить за взрослого мужчину? — жарко говорила Исааковна, собираясь на вокзал. — Я про себя скажу — счастлива. И еще больше буду счастлива, если ты замуж выйдешь, дорогая. Но не лишай меня этих ангелов, кто бы ни был твой избранник.

С тех пор Инночка как бы заимела родственников за границей. Ей пошли посылки, деньги, книжки и одежды для детей, вкусные вещи в баночках и пластике, и даже косметические причиндалы. Все это, конечно, не искупает той тоски, с которой она вспоминала свое приключение, но в нашем городе, с нашей нищенской зарплатой это все же кое-что. И что самое интересное — Исааковна до сей поры не прекратила своих налетов. Дети Валик и Толик в школу пошли, а она все квохчет над ними, как в тот, первый раз... И почему-то ни разу не усомнилась — а мои ли это внуки, не нагуляны ли они еще от кого.

Даже старые большевики к ней привыкли.

## КОЛБАСНАЯ ЭПОПЕЯ

Я влетаю, на ходу стряхивая пальто, запыхавшись. Марта уже гремит чайником. На ней новая шикарная юбка в полоску, пышно собранная на фигурный бархатный пояс.

— Привет, Марта! Какая ты сегодня...— Я шумно падаю на стул.

— Ну что за мука: таскаться в такую даль. Два троллейбуса мимо, в третьем, как под прессом. Ужас.

— А ты, Нинок, поменяй квартиру из центра на наш спальный микрорайон,— ехидно говорит Марта.

— Квартира не моя,— роняю я. Наскоро крашусь, смотрю в зеркало, и, потряхнув свежими кудрями, начинаю шелестеть формами.

— Ты слишком рьяный работник,— замечает Марта.— Потому тебе и оклад выше дали, хотя я же тебя учила, а не ты меня.

— Откуда видно, что рьяный? — простодушно спрашиваю я.

— Тонак неравномерно.

— А! Сейчас,— хватаюсь за зеркальце, Марта за формы. Мы очень хорошо все успели.

Сидим, строчим, чайник уже кипит, и тут входит Серафима, начальник нашего бюро. Она мощная, но очень быстрая в движениях, лучится бусами и улыбкой.

— Девочки, это не бюро анализа? В ответ мы молчим и тупо моргаем.

— Там ведь не написано,— поясняет она.

— А-а! — смеемся мы наконец, третий день, как переехали, не до вывески.

— Ну и напрасно. По вывеске встречают, по уму провожают.

— Береги вывеску снова, а честь смолоду! — подхватываем мы.

— Береги вывеску, пока ее тебе не испортили...

Ах, как долго мы жили у плановиков, ни дать ни взять — бедные родственники, а тут сразу свой кабинет, да еще кладовочка с розеткой. Мы ее слегка обустроили и обклеили, поставили старый журнальный столик — чем не чайная комната? Чудо. Кстати, там во всю клокочет чайник.

— Какие все деловые, чайник некому выключить...— Довольная Серафима качает головой и удаляется.

— Девочки,— аукает она издали,— я позвала на чай Сонюшку Терентьевну.

— Зачем же эту выдру?

— Затем, что она начальник чего? Сами знаете. А нам все же нужна вывеска, да зановесочки, да вазочки под цветочки.

Так?

— Нет, не так,— мрачно говорю я,— не украшаться мы должны, а судьбу замаливать. Не то нас живо разгонят.

— Вот ты и замаливай. А мы с Мартой насчет чая сообразим. Марта, иди сюда, у меня тут вареньице, салатик из хека...

И они там бурно звякают и шуршат. Все это здорово, но вот идет квадратная Софьюшка Терентьевна в крутой рыжей завивке и индийской зеленой кофте. Она ахает, одобряя комнатку, садится и уютно прихлебывает.

— А это что?

— Картинки из «Плэйбоя».

Самые рискованные мы завесили шторкой из джинсовой рекламы. Но она занавесочку откинула и... Немая сцена! Ковбой в расстегнутых джинсах уставился дулом прямо на нее! Сонюшка прихлебывает и тут же давится. Моментально ставши красной, точно после парилки, она почему-то начинает сутиться и все отодвигать.

— Спасибо за чай,— говорит она с сожалением,— от вас, девочки, не ожидала... Ну, вы тут работайте, мне тоже некогда.

— Другие веселятся...— тяну я, пока Софьюшка чешет на выход.

— Она не замужем,— Серафима смачно накладывает варенье, но сама трясется от смеха и капают вареньем с ложки.

— А занавесочки.? — умильно напоминает Марта. — Неужели забыли?

— Какие уж тут занавесочки,— машет Серафима.

— Ханжой не надо быть...

— У меня дети большие, и то я смущаюсь,— Серафима вытирает слезы,— ведь в жизни такое редко видишь.

— А вот Марта не смущается,— говорю я,— она только когда с тахты упала, будучи в объятиях, тогда смутилась.

Марта грозно показывает кулак.

Через десять минут этой разлюли-малины Серафима снова исчезает в потоке дел, а мы снова строчим, как ни в чем не бывало. Идет нормальный трудовой будень.

— Скучная штука сводки,— шепчу я под нос,— цехов-то, цехов. До ряби в глазах.

— С премиями было веселее?

О да, вспомнили мы: процент премиальных у начальства. В бухгалтерии на нас орали, в отделе труда округляли глаза... Одинаковая точка зрения, разная степень интеллигентности. Мы тогда долго копались в формах, отчетах, а потом обнаружили, что этот процент по сумме гораздо выше оклада. Но это же нехорошо, и из отчета приказано было изъять. Мало ли что вы там насчитаете!

— А теплоту сгорания смазки? Помнишь?

— Сульфозфрезола. «Выясните теплоту сгорания при условии, что его никто никогда не сжигал».

— Вот-вот. Даже городская лаборатория не знала.

— Но мужику в котельной мы надоели.

— Только не ты. Ты, Марта, всем нравишься, ты очень сексапильная.

— Учти, это сейчас, при детях и муже-алкоголике. А представь в юности, когда у меня были мини-юбка, волосы белые до лопаток, талия в руку, а здесь — не меньше четвертого размера?

Заканчиваем строчить формы. Их так много, заполнять их так долго, а данных еще нет... Это угнетает.

Лучась и сияя, входит Серафима, в руках бумажки: «в колхоз три человека», «в цех три человека».

— Сейчас начнутся звонки и репрессии, надо исчезнуть на время, — радостно говорит она.

— Давайте в фотографию? А то разгонят — и памяти не останется!

— Давайте. У меня как раз прическа нынче...

Мы отваливаем без шума и по дороге узнаем новость — к празднику дадут колбасу! И Серафима, как член завкома, она тоже будет распределять — о! И лица на фотографиях у нас выходят почти возвышенные!

В цехе я выдерживаю только неделю. В обращении со станком у меня ни навыка, ни терпения: я нажимаю не туда, поворачиваю не то, и станок останавливается. После этого подходит наладчик и презирает:

— Откуда только вас присылают? Ничего не умеете!

Я стараюсь не выдавать место работы и помалкиваю.

На разгонке шаров у меня начинает все ломить и болеть, и я не в силах больше. Мой силуэт возникает в бюро анализа.

— Привет вам, бабы, — нежно говорю я, оглядываясь. Что такое произошло, пока меня не было? Серафимы опять нет. Марта воспаленно разговаривает по телефону, чайник никто не ставит. Я исправляю упущение, достаю постылые формочки, но тут какой-то вихрь вносит женщину в синем халате. Я еще ничего ей не сказала, а она уже слезы размазывает.

— Почему это у нас только четыреста человек? Как это так вы считаете? Одних декретников восемнадцать, что же они — не люди?

— Не знаю, мне про это ничего не сказали.

— Да как не сказали, для чего вы сидите-то? Справка вот.

— Ладно, давайте, я передам...

— Ты с ума сошла! — восклицает Марта, кидая трубку.—

Зачем взяла? На них же не отпущено, на декретников. Это не работающий состав.

— Чего, чего не отпущено?

— Колбасы, дорогая. Дали только на наличную численность: одиннадцать тонн.

— Их что же, придется делить? Как развешивать такую громаду? Целый склад...

— Как учили, - громыхнув столом, Марта достает пухлые ведомости. — На, сверяй четвертый цех по пропускам.

— Да разве мы сможем?..

— Сможем, если без патетики. Отдел кадров вон тоже сверяет, и не рыпается. А там одних цеховых инспекторов десять человек.

— А Серафима где? А формочки что?

— Какие там формочки! Передача «Что? Где? Когда?» начинается! Что цех?

— Какой там цех! — невесело машу рукой.

И мы натянуто смеемся. Настроение никакое.

...С этого дня завод залихорадило. По коридорам заводоуправления на всех парах бегал народ со списками. Перед словом «список» сочувственно расступались.

По цеховым пролетам важно проплывали кары, груженные колбасой. Их провожали глазами. Никто толком не работал. Я тыкнулась было в отдел труда за потерями рабочего времени, но меня сурово спросили «неужто больше делать нечего?» — и я стыдливо закрыла дверь той стороны. Проходя тот отсек, где располагались кабинеты директора, главного инженера и замов, я удивилась: там царила благородная научная тишина. Впрочем, им же не надо было бегать и нервничать, они были выше этого.

Постепенный рост психоза привел к первой драме. В деревообделочном крановщица только поступила, боялась, что не включат в списочный состав по колбасе. Завидя электрокар с долгожданным грузом, она нажала «стоп» и полезла вниз разбираться. А тут начальник цеха идет, глядь — над цехом тяжелые древесно-стружечные плиты качаются на трех стропах, а одна отвалилась и болтается. Начальника чуть кондратий не трахнул. Он давай искать крановщицу, а она там у ящичков вся в ажиотаже. Он ей кричит: «Иди на кран скорей!» А она не разобрала, что он начальник — «сейчас, подождите». Тот с маху и выдал ей, перевел в разнорабочие... Но колбасу она все равно получила.

Промелькнувшая как видение Серафима скороговоркой сообщила, что конторские будут получать последними. Хотели, правда, первым дать бухгалтерам, чтоб зарплату не задер-

живали, но об этом узнали ремонтники-связисты и пригрозили, что обижать рабочий класс не дадут. Назревала сильная междоусобица. В нашем отделе надрывался телефон.

— Вы что же... Это самое. Учеников тоже не включили?

— Учеников нет, не включили. Они не рабочие.

— На рабочей ставке, на полный день, значит, рабочие.

— А нам сказали в отделе труда, что они в основной состав не входят.

— А вы и повторяете. Прихвостни.

Мы опять выходили врагами народа...

В самый сумасшедший день, когда сдали три списка, нам принесли еще два. Позвонила Серафима.

— Девчонки, сейчас тут в перерыв никого не будет. Бегите скорей, я хоть вас отоварю, а то ни с чем останетесь, горемыки.

Мы с Мартой побежали вдоль здания по улице, пока добрались, все мозги напрочь выдуло.

Увидели: серая нелучистая Серафима молча брякала что-то на весах.

— Что это? — мы разинули рты.

— Сервилат. Велено оставить начальству. Забирайте свои палки и уходите. Да заверните, черт возьми.

Лихорадочно заворачивая добычу в газету, как будто ее можно так завернуть, чтоб не угадать, мы увидели в углу копошащуюся в газетах Сонюшку. Она-то от какого цеха? От того же, что и мы?

В коридоре послышался мерный топот и гул голосов.

— Японский бог! Засекут цеховые, — дрогнула широкоплечая Сонюшка.

— А мы пойдем пятым этажом, но не улицей, — бросила Марта, которая опять не растерялась.

Марта мотнула головой, показывая путь, и мы понеслись как лошади. Впереди была необозримая бетонная дорога в наплывах раствора, как застывшая река. На ходу попадались кучи досок и арматуры, их надо было перескакивать.

У большого пролета завиднелся дым. Пронесет или не пронесет? Люди в робах сидели и курили, ничего такого. Но мы ускорили шаги, стараясь их миновать поскорее. Нас заметили.

— Сучки завкомовские бегут, — звонко сказал молодой голос, — уже урвали свою колбасу, заработали. Вот только каким местом?

Хохот, умноженный эхом, был ужасен.

— Давай отберем, — пробасил другой голос. — А? Небось, не пожалуются...

Громовой хохот!

— Марта, нам конец! — проблеяла я.

— Цыц! Бежим скорее!

Мы задыхались. Двое, кажется, погнались за нами, остальные улюлюкали. Нам казалось — подышаем уже. Рот пересох, в ушах стучало, ноги не слушались.

— Если... бро... сим...

— Не канючь,— обрывала Марта.

Она была двужилная. По лестницам ссыпались уже на карачках. Марта тут же положила добычу за окно и твердой рукой стала умываться. А во мне все дрожало. Может, они бы ничего не сделали, но как упустить случай, как не поглумиться над конторскими крысами... И вообще, что это за жизнь, когда за кусок колбасы... Уронив голову на руки, я разревелась... Надрывался телефон.

## ПРОГОН

За стеной бушевало стерео. Фонтан ликования, который заглушал все. Зина листала «Бурду» — бездумно, не вникая. С этих страниц наплывал загадочный лукавый мир, он раньше ласкал и качивал. Теперь ускользал... Подумайте, как их разбирает — сразу стерео купили. Намекают на свое беспредельное счастье? Ну что ж, можно ведь и погромче — усилители в открытые окна, и пусть весь белый свет стоит на ушах, раз такое дело...

Зина забрела на кухню и застопорилась у окна. Там простиралось дымчатое поле окраины, в котором чирикало и шелестело юное лето. Вот и тогда было лето. Вот уж и год прошел, и завтра будет лучше, чем вчера, но ждать не хочется, так как не хочется жить, потому что...

Соседка Липа Семенна звонила даже в открытую дверь.

— Прямо утресь завели, глаз не продрамли, чаю не пимши. Слыхано ли дело? Родители шлют на обзаведение, а они — на баловство, — Липа Семенна и гордилась, и осуждала. — Я уж, Зина, закупаю что могу, а вот с платьем у них не тово. Ты бы девке присоветовала. Умеешь ты... В магазине, говорят, старье, а како старье — сверкат, глазу больно.

— Пусть, Липа Семенна, пусть что хотят, то и делают. Может, девочка захочет в штанах венчаться...

— Неужто? — озадачилась старушка. — Срамней не придумать. А я к тебе-то зачем — мои долежат до полудня, дак опять молока не застать...

— Ну, уж не пойду, одеяло не сдерну. А за молоком загляну, мне все равно в гастроном идти. Забегу, — Зина старалась быть

кроткой, но скоро ее доконают. Подумать только: она! ему! Чуть не в постель молоко подавать станет...

— Поди, не барин, и сам бы сходил, - еле слышно уронила Зина.

— Он должен за водкой стоять, - это баушка Липа чисто-сердечно ответила уже с лестницы.

Когда Зиначка потащила им это молоко, они торчали на балконе и, смеясь, грызли редиску. Опять же фонтан стерео... Степа забрел на кухню, взял у Зины пакеты и свалил в холодильник. Скользнул азиатским глазом, сказал спасибо в самое ухо... до мурашек. И пошел, качая плечами, на свой балкон, а красная как рак Зиначка к себе. Потом вспомнила про платье, взяла рецептурную книгу, журнал мод и вернулась. Трещала про ретро, про торты в оборках, про буфы в креме... Эх...

Едва вернулась, Степа за ней.

— Имею честь, сударыня, - прислонял к чему ни попадя и целовал, - окажите милость на свадебку... нашу с Лизаветой...

— Мм, - извивалась Зина, - что ж ты меня подставляешь? Увидят - конец.

— Лизавета упивается новой «Бурдой», а у вас маменька уехала-с. Кого стыдиться-то?

— Да как кого? Мне тебя стыдно, Степа. А тебе?

— Не пристало вам, Зинаида Федоровна, напоминать... А я вот стыдился - тогда-с! Ныне свободен от вас, потому и шалю...

В прихожей знакомо зашаркали...

— Зина, деточка, спасибо за молочко-то... Что это ты здесь, Степа?

— Да вот, открыточку Зинаиде Федоровне-с...

Бабушка дотянулась до Степина уха да так его и вывела. Зина застыла у окна, отдышаться...

Год! Ровно год назад она первый раз вошла в эту проклятую соседскую квартиру. Вернувшийся из армии сосед пил запойно, бабушка его то молилась, то плакала. Однажды Зина уловила через стену звуки хриплого, ни на что не похожего рыдания и вскочила, запахнув махровый халатик. У нее был рефлекс на страшные звуки. Один раз точно так же выскочила на площадку на непонятное щелканье и шлепки и обнаружила в подъезде избитую девчонку. Не соображая, Зина налетела и толкнула того, кто бил. Ее просто трясло.

— Вафлю загораживать? - прошипел ублюдок и отвлекся. - Размажу по батарее!

Девчонку слепое битье прижимало к стене, отстали - упала. Могло кончиться ужасом, но ублюдок просто слинял. Надоело, наверно. Девчонка встала, обдернула юбку, под которой ничего не оказалось - майка, юбка, шпильки... И покрыла Зину матом. Мол, вмешалась в личную жизнь.

Но рефлекс был сильнее Зины... Она пошла на тревожные звуки. В пустой квартире соседей не было, но в ванной стоял некто в костюме и ковырялся с трубой. Он ее обкручивал какой-то проволокой.

— Я занят, - прорычал он, - занят, убирайтесь!

— Там же дверь открыта, - сказала Зина низким учительским голосом. — А у вас, что, труба потекла?

— Потекла, - морда у него тоже была подозрительно мокрая.

— Время - ночь, - промолвила Зина, преодолев неловкость. - Слышу звуки рыданий и поневоле думаю на бабушку... Знает, не она.

— Не она, не она. Идите!

— А что вы собираетесь делать вообще-то?

— Вешаться.

— Не смейте, я сейчас милицию вызову.

— Вызывайте, я подожду, пока уедет. А бабушке придется штраф за ложный вызов платить, ага.

И он продолжал крутить эту проволоку с визгом и скрипом.

— Вас Степаном зовут? Вы не одолжили бы мне... - поискала глазами, - вон то, что у вас там в ящике? - Зина обнаружила в ящике пять бутылок водки. - Вы пьете водку ящиками?

— И пью, и баб вожу, - скорготал Степа, - могу и вас взять в компанию.

— Так поставьте пока на очередь, я подам заявление. Буквально не с кем... пузырь раздавить, понимаете, до чего дошло.

Степа устал пререкаться и сел на корточки, опустив на руки лицо. Зина сходила на чужую кухню, пляшущими руками достала чашки и банку с лохматым грибом. И сидя в тесной ванной, вернее, она в своем махровеньком - на краю ванны, а он - перед ней на корточках, стали они пить потихоньку. Визави - две враждебные державы. Но с этого момента - уже не враждебные, нет... Хотя картина была удручающая: глухая ночь, бутылка, этот паршивец, соседский дембель. Так хотелось врезать ему, на худой конец - отчитать. Такие же лбы у нее в девятом - громадины ростом, а глупенькие... Да не то что отчитать, а даже уйти она не решилась. Она уйдет, а он сцепит зубы и полезет опять крутить свою проволоку... Что придумать, как отвлечь?

— Ты мог попасть в Афган, тебя бы убили! Остался живой.

— Лучше бы меня убили.

— Нет ничего такого, что нельзя пережить.

— Это уже не жизнь. Когда из тебя сделали подстилку, жизнь такая ни к чему.

Замолчали. Никакие слова не годились.

—Ты посмотри мою характеристику... Нарушений дополна. Я же нарывался как мог, лишь бы под замок попасть. А когда выходил, то все равно били до посинения, а потом имели как хотели...

Зина проглотила комок. Ей показалось, что он что-то скрыл от нее, что-то более страшное, чем даже это...

—Все равно не дам тебе сдохнуть, — сказала она тихо, — не надейся.

И она стала ходить к нему каждый день. Она была очень упрямая. Выдумывала всякие предлоги, тащила Степу в магазины, заставляла навешивать карнизы, дергать сорняк на бабушкином огороде, красить парты на своей работе. Принесла ему кассетник, дала пленки любимые - от «Битлов» до птиц дальневосточного леса. Решила поднатаскать его по химии, что зря время-то вести. Степа упирался, но недолго. Обычно он сидел как истукан и молчал. Случалось - пропадал по пьяному делу, но на следующее утро уже листал учебник. Зина сердилась, а он шпарил параграфы наизусть.

Красивый смуглый мальчик с монгольскими глазами и ярким ртом, если бы не подлая его история... «Стоп, - говорила себе Зина, - позор! У нас разница в десять лет». Она и не заметила, как появилось у нее это «у нас»...

Зиночка была миниатюрная, но сильная и независимая женщина, привыкшая быть одна. Глаза меланхоличные под завитками челки, а волосы - узлом, по-старинному. В то лето у нее был сарафан из посадских платков, тяжелая розовая финифть в ушах и на шейке, и вообще она была редким существом, о чем не подозревала. Зато Степа подозревал. Но он был уверен, что до него такая ни в жизнь не дотронется, ее тошнить будет после всего, что узнала...

Так они сидели над учебниками и занимались самоедством, а тем временем лето продолжало буйствовать, липы шипели на солнце лощеной листвою, все жарело и накалялось. Ветер на балконе бил в грудь резиновой волной, обстановка была неревальная.

Азиатский взгляд исподлобья показался Зине чингисхановым. Хватая улетающие с окна занавески, они столкнулись руками, и - шарах! - проскочила тайная искра... Они дернулись в стороны, но уже бесполезно, слишком было сладко и слишком страшно; и казалось, что в последний раз он увозит ее, умыкает, и будто нарастал стук копыт, так что ударившей грозы и первого грома они уже не слышали...

Пробезумствовали три дня, потом Степа сорвался и уехал в институт, а Зиночка стиснула зубы, ушла в очередной поход.

Она долго была как в горячке: кляла себя, костерила... А в зимние каникулы, когда Степа явился прищуренный и заиндевший и сразу стиснул в прихожке, просто застонала от наслаждения... И в тот же момент поняла, что ей суждено весь век ждать и ложиться «по первому свисту». И загордилась, и погнала прочь неположенную, неприличную радость. Надо было соображать: десять лет что-то да значили! Степа от обиды офонарел: «Ага, я себе еще лучше найду? Так пошел начинать, чего теряться... Ну, Зинаида Федоровна, что же вы с человеком делаете?»

Вот приехал с девочкой и собрался жениться. Как будто не жить не быть - надо свадьбу играть только тут, а не у себя там... Губастенькая и угластенькая Лизавета, безусловно, Зиночке доверяла и делилась с ней, какой Степа нежный любовник. Зина ее слушала, сдерживала дыхание и думала: «Он и это предусмотрел?..»

...В который раз шел консилиум насчет платья. Зина удивлялась: девочке не нравились многослойные юбки, воланы, фестоны, в общем, была чужда вся эта ретроромантика.

А Степа с изуверской хитростью подстерегал, когда Зина была одна, и принимался за старое. Зина, конечно, вскипала и давала волю рукам, но он только смеялся: «Захотели - спасли, захотели - погубили-с... Какая вы, Зинаида Федоровна, одна-ко...»

Это был конец света. В одно ослепительное утро, когда Степа и Лиза еще нежились в постели, баушка Липа передала им хрустящий пакет. Там лежал тонкий белый комбинезон с атласной розочкой и кружевная накидка...

— Какое чудо, - сказала Лиза, - вот именно это я и хотела.

— Я тоже, — сказал Степа и вздохнул.

...А Зина затянула рюкзак и пошла на вокзал. Отступить было некуда, на перроне ожидала орда учеников. Думала, они один металл любят, а они сами предложили... Да сдались ей эти страсти, эти свадьбы с подтекстами! Пламенный привет молодоженам!

В сосновом приволье среди бликов света и щебета кипела непринужденная жизнь. Легко знакомились и откровенничали. Многие встречались после длинной разлуки, многие были потрепаны бытием, обросли детьми и мотоциклами, но здесь опять молодели и дурачились. На Зину заглядывались, но осторожно - вид больно заносчивый. Она мелькала в компании школяров, а от остальных отстранялась. За плечом же реял Чингисхан, усмеялся. «Никогда больше такого не будет!»—

жмурилась Зина в отчаянии. Чуть задумывалась - любовь хватала так, что ныли суставы, озноб пробивал. «Физиология», - ненавидела себя Зина.

Неподалеку от их палатки был большой костер, который затеял рыжий из городского клуба. Днем рыжий бегал с плакатами и усилителями, что-то орал в мегафон, потом мотался к реке, гремя ложками и мисками. Он кривлялся и смешил всех, светил железным зубом и был на подхвате. Негордый. На конкурсе хохмочек явно работал на публику и переборщил, шутсобачатник.

А вот вечером! Вечером у большого кострища возник нереальный образ в драной ветровке. Этакое лохматое шалое цыганье с крестиком на худой груди. Он запел неизвестную песню, от которой у Зины перехватило дух... Его должны были расстрелять наутро, и он понимал, что его разнесет в клочья чернь, за которую страдал. Если бы Зина не была твердой, как алмаз, она бы рыдала. Но странный тип тут же запел издевательскую колыбельную, где младенца хотел загрызть медведь. Вот радость - толкнул в небо и тут же наземь рожей... Что хотел, то и творил... Идиллия была разрушена, и странный, засмеявшись, ушел к реке в сопровождении малолетних поклонниц. Зина видела, что лохматый и рыжий на миг скрестили взоры... Тут же рыжий отвернулся и сказал кому-то: «Когда считаешь себя выше толпы - она чувствует. И отталкивает. А тебе кажется - не понимает. Все она понимает и устраивает тебе ба-а-альшую пакость. А когда я думаю - толпа выше, толпа - за милую душу...»

Но его уже просили, протягивали гитару. И тогда этот рыжий сгорбатился в своем синем ватнике, тронул струны, пропел: «...Смелым соколом не падай, соловьем не пой, не пой - не мани меня, не надо, не зови меня с собой...» Но это было про нее, про Зину! Как он угадал? Про запретную навеки радость, про самое начало разлуки, первую, обжигающую горечь...

Она даже не заметила, что рыжий пел мужским хриплым голосом абсолютно женскую нежную песню... Ласковая мелодия рекой уносила ее сердечко за поворот, туда, где все это осталось...

Зина пробралась поближе к этой компании, и ей молча дали тетрадку со словами, и никто не удивился. Потом пели такое, что знала даже Зина. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» Неважно - что. Сложилось заклинание, и оно помогало. Тут сидели чужие люди, у которых одинаково влажнели глаза, и получалось что-то вроде рывка друг к другу... Глянула на своих школяров - они все были тут и все понимали.

За спинами они показывали ей большой палец, вот тебе и металлисты. Как же они любят ее, с ума сойти. Почему она догадалась именно в такой момент? Кстати, как звать рыжего?

Она узнала только на конкурсном прослушивании. Ах, Кондауров. Еле дождалась, пока настала его очередь. А вообще она ничего не понимала. Люди вроде те же, а все скучно. Не было лохматого с крестиком. Он ходил между кострами с камерой, а на сцену не захотел. Почему? Говорили про него, что к нему домой ездят барды из столицы, вот как он знает систему...

Как только выходили «под Никитиных» или «под Розенбаума», так все шло хорошо. Как выходил кто корявый, свежий, так начиналось: «Почему выбрали это, а не то?» Одобрили унылую особу за то, что пела Цветаеву. А тот, с крестиком, подошел к ней на пригорке и заподкалывал: «Всю жизнь будешь под Марину Ивановну работать? А где же твое?» Один бритый пацан в невыносимо зеленых штанах спел про войну, и его пустили в финал, а он там как заорет, в финале-то: «Я вам спою про ужас детства, как дням застойным верен был...» Жюри в шоке, публика в хохоте...

Зина утомилась от крика и пошла посидеть у речки, помечтать... Рыжий Кондауров бесцеремонно выдернул ее из блаженства. Хлопнул по плечу:

—А ничего ты поешь, училка. Приходи опять к костру, покажу одну штуку - только для тебя. Ну?

—Потрясена и польщена. Сам Кондауров, дважды лауреат, оказал мне честь, - Зина не скрывала досады.

—При чем тут? Не понял, - красный Кондауров поднял бесцветные брови, растопырил уши. И почти шепотом: - К тебе, как к человеку...

—Иду, - Зина примиряюще улыбнулась.

Он показал ей изумительную вещь:

«Мне сегодня снилась осень,

Но не та, не золотая,

Что хранит, лелея, озимь,

Провожает птичьи стаи...

Мне приснилась осень злая,

С диким холодом ненастья,

И тоскливая такая,

Как предчувствие несчастья...»

Этот стих Зина знала раньше, но то, как он теперь зазвучал в ней самой, как выпевался, было уже выстрадано, она почувствовала кожей, горлом... «Давай попробую». А Кондауров тоже «открывал Америку». Сколько раз он слышал, как пели эту «Осень» девочки из городского клуба, и все они делали верно, только очень уж красиво выводили свое трехголосье, прямо

нимфы какие-то. Низкий голос Зинаиды поддевал под ребра, сдерживал волнение, срывался от подступающих слез. От своей же песни нутро замирало. Прямо как в детстве, когда в ночном дворе раздавалось: «Девочку с распущенной косой целовал он нежными губами...» Гена Кондауров тогда вообще был человеком сентиментальным – жуков ногой давили, он рыдал...

Так уж получилось, она выступила с ним несколько раз. Но не любила Зина этот конвейер, беготню по вечерам, развлекать зубную поликлинику или юбилейный цех. Она изредка заходила в клуб смотреть, как кто-то прибежал с новой песней. Счастливица так и распирало - вот оно: выдал... Такого еще не было! Но на концертах было просто дежурство, отбываловка.

Зине было некогда в учебном году. Работала на полторы ставки, да внеклассная, да к родителям насчет условий надо было ходить. То и дело Зина звонила маме, что задержится... Но Гена сам вырисовывался возле учительской. Он писал огрызком карандаша на батарее новую песню и посматривал хитро. Он был какой-то неистребимый. На них оглядывались. Зиночка - в ажурной самовязке, замшевой юбке, Гена - в драном тренировочном костюме, весь в мелу. Зина с сомнением изучала его черные руки с обломанными ногтями.

—Ты кто?

—Человек... А по работе – слесарь.

—Наверное, сильно устаешь?

—Почему? Видно разве? Устаю, но не так, чтобы трупом лежать. Жизнь-то какая! Всего охота.

—А настоящим композитором стать?

—А я и так композитор, даром что образование коридорное. Может, мои песни уже за «бугром» поют. Только вот гонораров не шлют, мерзавцы! - он оглушительно гоготал на весь холл.

—Тише! - Зиночке было стыдно. Но она не уходила.

Однажды их вот так застала завуч.

—Зинаида Федоровна, педсовет сейчас. А личные дела отложите на вечер.

—Какие же личные? - Генка честно выпучил глаза. - Мы планируем мероприятие.

—В смысле?.. - завуч засыпала от презрения.

—В смысле вечера романса - в десятых, да? - и шмыгнул носом.

—Из городского клуба авторской песни, - пояснила Зина. - Кондауров, дважды лауреат...

—Превосходно, - прошипела завуч и зацокала прочь.

Зина засмеялась. Конечно, она не верила ни в какой вечер. Но ведь он сделал ей этот вечер, не обманул. Десятые неделю

обсуждали, а потом трое клюнули и пошли в клуб. Вот так.

Когда Генка Кондауров не пел, он пил и говорил. Он столько говорил! И о чем! Не про сам концерт в деревеньке, не про то, какие были глаза у старух, которых согнали, а про то, что сломалось в автобусе, как искали воду, как курили, какие анекдоты вчерашние травили. Бабки спрашивали, нет ли акробатов.

«А почему ты, Кондауров, не акробат? Ты же все умеешь, ну?» Он не слышал. Он ставил локоть мимо стола и проливал свою стопку.

— Нет, - важничал Кондауров, — у меня дед был гениальный портной, я в него пошел! Я всю жизнь сам себе штаны шью, да еще и баские...

Надо же, всерьез принял. Весь вечер в этих исторических гостях он шумно чавкал, скреб в затылке, ложился грудью на стол и хрустел посудой. И говорил, говорил. О господи!

Барды такой народ, что они на вечеринке практически не пьют. Им что стол, что костер. Но не было того родства... Разве дело в горящих ветках? К тому же дети. Они дергали бардов и бардесс за полы и требовали зрелища.

И Гена Кондауров заблеял и пошел им навстречу на четвереньках, морща новый голубой костюм. Он надел его для Зины, но коль она закаменела, ушел от нее и стал жить на полу. И плюнул на это дело! Зину очень кольнуло. Она поговорила с девочками и стала править на выход. Где-то внутри она признавала, что дети зря не любят, но себя ей было все равно жалко. Разве с этим чудищем можно выйти в люди? Станет вилкой в зубах ковырять... В передней среди сваленных пальто отыскала свое и замерла. Мечта всей жизни, ушаночка, ее жемчужная норка была скручена сапогом и торчала из рукава... Все погибло. Форма сломана, и сотни тысяч рублей пропали даром. Это он, больше некому.

Ну, теперь никакой жалости, ребята. Пошел провожать? Напрасно! Стихи читать? Просто сме-ш-но!

— Ты хоть понимаешь, что такое жемчужная норка?

— Не-а, - отозвался Генка.— У меня вон, видишь, какая собака на голове? И ничего, живой. Да что ты, с ума сошла, о какой все хреновине думаешь...

«И это у него — хреновина?!»

— Ты никогда не сомневаешься, — бросила Зина, - в этом весь ужас. Другие должны жить по-твоему! Неужели твои мерки самые справедливые?

— Перестань мне вешать лапшу на уши. В чем дело?— Генка вытер лоб заскорузлой ладонью. Слышь, училка. Хочу тебе штуку одну показать напоследок. Послезавтра, а?

— Хватит с меня, Гена, твоих штук. Спасибо, но...

— В шесть я за тобой приду, понятно?

Это был диктат отчаяния... Зиночка сдалась. Ну, придется потерпеть еще разок... Пора вычеркивать из жизни лишнее... В троллейбусе ветер задувал в окно, и завитки Зинулиной прически скользнули по щеке дурака Кондаурова. Желваки заходили, но ничего... «Куда тебе, — мелькнула злорадная мысль у Зины, — ты не Чингисхан... Тот запястье поцелует — хоть в обморок падай...»

Добрались до мрачного дома, где по лестнице сновали крашенные девицы. Тесный зальчик, ящики вместо сидений. Полутьма и скрипы, приглушенный смех. Вышел усталый бледный человек в черном, похожий на Солоницына, и мягко сказал:

— Это пока не премьера, а прогон... Не совсем готово, правда, но зато вы скажете свои суждения, которые вплетутся в творческую ткань... Понеслась карусель, почти водевильная. Вышел в подтяжках и тапках наивняк Сарафанов. Его дурили до потери сознания, а он еще вдобавок себя винил — за то, чего не делал. Сарафанов соединял немыслимое. Он хотел, чтоб с ним остались те, кого он любит... Но все расплзлось по швам... Добрый до идиотства, прощал наказуемое. Что за жизнь он прожил, не желая знать какой-то страшной правды? Да, это был настоящий Кондауров, Сарафанов в своей жизни. Кондауров — не реалист, а костровик со сдвигом по фазе...

Зина смотрела из первого ряда, но не узнавала его. Кондауров — не шут на побегушках, а центр, к которому тянулись нити. И он был самый настоящий и простой, Нина — связанной, Бусыгин — наглей, а он как раз!.. «Плох я или хорош, но я вас люблю, это главное», — выдохнул опозоренный Кондауров, в смысле — Сарафанов...

Оглушенная Зина не осталась говорить суждение. Она сказала бы, но не залу... Она понимала, что он, как главный герой, не уйдет, будет ждать, пока обсуждение не кончится, но все-таки ждала, что он подойдет, должен же, ну как... Телефон позвонил лишь к ночи.

— Разбудил, да?

— Нет. Так, где ты обретался, Гена, ведь...

— Не поверишь ты, наверно, но пришлось домой Алинкиных детей тащить. К ней мать прикатила, она и поехала ее искать в аэропорт...

— Как всегда, тебе больше всех надо, и ты жутко любишь детей.

— Да ты не иронизируй. Они же хныкали, и все такое.

— Мне было что сказать... — нажимая на каждое слово, проговорила она.

— Да я чую, что упустил шанс. Ну, чего там.

— Как в тебе умещается столько? Не понимаю. Я забыла, где я нахожусь...

— Ты была на ящике.

— Не пытайся меня сбивать. У меня душа разрывалась.

— «У Зинаиды чайные глаза, и вся она орехового цвета! — запел не к месту Кондауров. — В платок посадский с розами одета. На тонком пальце камень бирюза...»

Зина бросила трубку, нервно улыбаясь. В принципе, если содрать с него этот поганый тренировочный костюм, эту латаную куртку с прикрученными проволокой карманами... В полутьме ночника Зина полезла в шкаф. А, вот он — с незапамятных времен отрез плащевки... Но отрез лежал и пылился, а Кондауров не шел. Нарочно! Почему? Звонила в театрик — дали адрес. Ехала с тремя пересадками с автобуса на троллейбус... В деревянных трущобных домах проживал этот сомнительный тип! Она уже жалела, что поехала. Искомая квартира второго этажа издавала грохот и вопли. Звонков там уже никто не слышал. Зина дернула ручку и вошла... Темная и затхлая прихожка, из темноты проступало цинковое корыто, а над ухом кричали:

— Да кто ж ты такой, слизняк! Ты мне советовать вздумал! Соваться ко мне! Да я тебя угроблю, не запнусь, понимаешь? Упало, грохнуло, завоzilось. Дверь сшибла Зину, и на нее затопало что-то невообразимое, низкое и хромое...

— Иди проспись, Танька, иди, — Кондауров стоял, закрывая лицо.

Мимо Зины продвинулась по стене женщина, вся выгибаясь и подпрыгивая. Жена-а? Зина встала с пола, и Кондауров отшатнулся.

— Вертеп, — сказала Зина. — Что с тобой? Я военнообязанная и умею перевязывать... Это жена?

— Это... Танька, сеструха, приехала из Казахстана... Дочку хочет забрать. А муж у нее этот, как его... пьет все, мать нашу замордовал за неделю. Я милицию вызвал, а Танька боится — другого не найдет, с ногой... Зина, не смотри!

— Я вот тебе дам «не смотри». Чем это?

— Феном... О... Да нет, вода не там. Вон графин-то!

— Не указывай... Одевайся, пошли.

— Да куда я такой? Зина оглянулась. Ей становилось жарко в пальто, но она не могла тут раздеться.

— Если ты сейчас же со мной не пойдешь, я тебя брошу, и на этот раз навеки. Зачем они тут хлещут-то тебя? А ты и терпишь!

— Так из-за дочки Танькиной. Из-за матери... Дома мамень-

ка Зины увидела страшного мужика с расквашенной физиией и в ответ на «здрaсте» немедленно юркнула к себе. Кондауров покорно сел в пальто на корточкк — возле туалета.

— Встань! — осердилась Зина. — Маменька пойдет по нужде, а тут такое безобразие.

— Я отодвинусь. Есть гитара?

— Решил выступить или так, слегка сбрендил?

— Это ты сбрендила, дорогая. Ты не понимаешь, с кем связалась?

— Иди, говорю. Кондауров прошел, сел в пальто на диван и сказал с тоской:

— У тебя тут слишком прибрано, я боюсь.

— Потерпишь... — Зина стояла перед ним, наморщив лоб.

И вдруг! «...Мне эта женщина нужна, не шей прошу, не полотенце, голодным сердцем отщепенца жду женщину, что гнать меня должна...» — с этими словами он неуклюже притянул ее к себе.

— До чего же ты странный... Тебе никогда не хотелось обнять меня раньше?

— А ты посмотри, какой я урод!.. И у меня никогда никого не было. Я даже целоваться не умею. Вот так!

— Ужас какой. В твои-то годы!

— А у тебя, наверное, был кто-то?

— Я... похожа на такую?

— Просто ты слишком красивая и... властная... Не по Сеньке шапка.

— Особенно, если Сенька с таким фонарем... Больно?

— От такого ротика на ходу заживает...

— Если я тебя брошу, ты пропадешь. Композитор. Слесарь. Уж слишком бестолков!

— Да, осел... Твоя правда.

Открыв глаза, Зиночка услышала, как ветер воеет и тарыхтит водосточной трубой. За окном был собачий холод, а в плечо дышал некрасивый чужой человек, и через это плечо у нее получалось с ним общее кровообращение... Кто он такой? Почему так страшно за него? На полу громоздились чьи-то пальто... Ах, да. Зина зажмурилась и застонала.

— Что? Что? — закричал дурак Кондауров, не учитывая, что за соседней стенкой маменька.

— Да тише ты. Прямо тошнит от тебя...

— Как, уже? — он простодушно упал с дивана. — Так я же тазик принесу. Тошни на здоровье!

Всерьез принял, надо же. Что с него взять?

## «АРЕСТОВАТЬ В ЧЕМ ЕСТЬ!..»

Первая неделя после больницы давалась дорого. Не успела Коринна выплыть «из-за острова на стрежень», как телефон раскололи звонками!.. Наборы с копченым хеком распредели, финские сапоги тоже. Рыба еще ладно, но польская косметика? Всем хочется вытянуть шампунь, а его мало, только третья часть. Прибежала Шарипа:

— Дай матпомощь!

— Сколько несовершеннолетних? Четверо. Получишь на двоих, на дошкольников.

— А школьники есть не хотят?

— Ты меня спрашиваешь? У меня, между прочим, один, и ему не положено ничего. Ломкая комитетская Катя пришла сниматься с учета, прямо сейчас, срочно... Всю картотеку дыбом подняли, а она и не стояла на учете, ломкая Катя. Пришлось ставить да снимать... До чего беспомощные все. Пока лежишь на операции — они согласны сидеть голодом и ненакрашенные. Собаки худые. Это только нагрузки, а уж про работу нечего и говорить. Вон какую стопу правонарушений накопили, да транспортный цех, да строители. Чем лезть в острую проблему, они уж лучше выставку цветов опишут. Усмехаясь сквозь клубы дыма, Коринна пыталась дозвониться до богом забытой военной части. Они там депутата решили из партии исключить. «Алло, девушка... Ну, не девушка... Связь-то в порядке? Тогда почему?» Коммутатор молчал, как мавзолей... Мазутный рабочий, гордо сидящий в изящно решенной зоне отдыха, щелкнул окурки в колокольчиковую урну и спросил:

— А кто ж тогда должен в ихней партии быть? Такие, как первый секретарь? Или как пузан, что в Москву смылся?

А те, что курили кучкой прямо на ящиках в коридоре, сказали так:

— Тогда мы им все трибуны на демонстрации попереворачиваем.

— В кутузку охота? — засмеялась Коринна.

Ей никто был не указ, и она зафитилила едкую статейку, даже первый секретарь из крайкома почитал. Пусть газетка мелкая, зато непродажная. В краевой такого сроду бы не разрешили. Хотя поинтересовались. И выводы сделали. И не только в печатных органах. Моросил мелкий дождичек. В голове уже шаяло от усталости, но радикалы, горя от честного гнева, раскопали незаконные квартиры. Пришлось брести по исполкомам, как бурлаку по Волге, и читать тома, валы томов бессильной лжи... Что, мол, все это честно! А хор завитых дамочек в комиссиях просто гремел дифирамбы закону. И чем громче и в-

дохновенней они пели, тем сильней болел незаживший бок... Так некстати проступила очередная махинация заводского начальства. Они, конечно, умели говорить на собраниях про народную боль, но сами, тем не менее, шустро обживали свои дворянские гнезда. А народная боль обреталась в подвалах, как и раньше.

Когда Коринна хмурилась над очередной острой темой, сотрудники мягко советовали очень-то не убиваться... Смехота. У Коринны вовсе не было мучительных нравственных исканий. У нее бок болел и дергал, да и вообще были заботы поважнее... Текущие долги перевалили за пятьсот, и не было им удержу. Мамуля собралась в Прибалтику, пока ее не закрыли окончательно. «Ол будет бегать на побережье и швырять камешки, а я буду пить кофе и за ним присматривать, — мечтала она. — Пасмурный день, и эти крохотные кафетерии на берегу... Купить там все равно ничего нельзя, тоже все по паспортам, и мы, слава Богу, будем только гулять...» Но на это «только гулять» надо хоть сотни две! Или три... В выходной Коринна сосредоточилась над тортом для сына. Она ножом ровняла крем и все высматривала в кремовых волнах, где эти сотни взять. Под какие гонорары? Она была большая женщина, заполняла кухню до отказа, и ей не надо было бегать от стола до плиты — удобно и практично. Конечно, если они уедут, то можно организовать целый месяц отдыха и блаженства. Кто же этого не хочет? В это самое тихое время возник возле кухни человек. Дальше двери он пройти не смог, потому что тоже был очень широкий и большой, а кухня уже была занята. Он тогда облокотился на хлипкую дверь и пророкотал:

— Кора, сладкая, ведь тебя почти месяц дома не было!

— А как ты заметил? — Кора даже не обернулась. — Ты сам-то три месяца назад был. «Сладкий»!

— О, у меня везде агенты... Ты знаешь, в какой конторе у меня друзья? Вот то-то: моя милиция меня бережет!..

— Тогда агенты, конечно, в курсе, что я была на операции. Не успели доложить, видно. Замолчал сладкий!...

— А по поводу чего?

— По поводу — как бы выжить! — отрезала Коринна. — На хирургии не валяются просто так.

— Ты ничего не говорила...

— А ты не спрашивал. Пришел, обнял и ладно...

И тут величественный тип наклонился и зачиркал спичками. Захотел перекурить новости, романтик самодельный.

— Дай, Геннадьич, руки в креме. Дай мне тоже. Затянулся, дал и ей из своих рук: кури — не жалко.

— Слушай, эдак мы торт еще пеплом посыплем. Наряду с -

сухарной крошкой и орехами. Боюсь, что Олененок не оценит.

— А как он, кстати?

— «Кстати»... Как все могучие несадиковые дети, которые сидят не с тетями, а с родной бабулей.

— Это не баба со мной, а я с ней сижу! — заявил Ол, просачиваясь на кухню. — Она же вообще ничего не помнит: ни где жемпер с ракетой, ни где джинсы дешевые давали... А вы чего тут? Что ли, Первое мая у нас? И торт стоит, и папа вдруг пришел?

— Не первое, а тридцать первое, — заворковал Геннадьич, перемещаясь от потолка к полу.

— Но это еще лучше!

— Почему?

— Потому что завтра открывают детский парк, и мы пойдем кататься на катамаранах, понял? Ол распахнул сверкающие очи... Парк был в солнце, щебете и свисте. Пруд резали стрекозы. Ола распирало ликование. В его жизни наступил тот редкий момент, который у других детей бывает каждый выходной. Он не так себе, а с папой пришел! К чести Геннадьича, который был папой по большим праздникам, он все-таки не боялся ходить в общественные места со своей второй семьей. Поскольку катамаран — это тот же велосипед, только на плоту, Ол от сиденья до педалей дотянуться никак не мог. Тогда он недолго думая вскочил, схватился за поручни и стал крутить педали стоя. Коринна ему пригрозила, чтоб он слишком не вертелся. Геннадьич безмятежно стоял на мостках и курился, как Везувий. Он часто себе такую картину представлял, а вот тут можно было в жизни узреть... Ол все равно похож на мамочку, а ухватки, что ни говори, его. Пацан до того живой, ну просто молния...

Коринна только открыла рот, чтобы сказать «сядь наконец», как вдруг Ол бормотнул: «Кажется, тону...» — и скользнул вниз между лопастями! Она качнулась, поймала за шиворот, чуть не перевернула всю колымагу. Ол тоже бился и царапался как-мог... Может, это были секунды, а Коринне показалось — никогда не кончится. Она же упиралась только ногами, тянула, а шов тянул ее в другую сторону... У мостков белый лицом Геннадьевич взял на руки мокрого сына. Вокруг глазел воскресный народ. Коринну шатало.

Дома она не успокоилась, пока не растерла ребенка водкой, хотя он выворачивался и сопел. Автоматически вылила в рот все, что осталось от растирки. Потом пошла и зачем-то стала прибивать полку в туалете. Из дверей полетели на пол молотки и гвозди...

— Ну что ты кидаешь? Унизить надо? Перестань, давай я с-

делаю... — Геннадьич пытался погладить. — Ты хотела, чтобы я в воду полез?

— Тебя никто не просил! — вспылила Коринна, прекрасно понимая, что хотела. — Дитя тонет, а он, как танк на балконе!

— Ну, а что тогда? Ты давай сразу семизэтажно, легче будет.

— А ты, Олег Геннадьевич, разуй глаза да посмотри. Ты посмотри, как все валится в доме, а я поднимать тяжелое немогу. Диван на табуретках который год! Телевизор в ремонт на такси переть приходится! Уж не знаю, что ты за шишка в своей автобазе, если не можешь мне машину раз в месяц выбить... Коринне было несвойственно зудеть, но тут ее как прорвало. Она говорила тронную речь, и лицо ее горело, руки продолжали что-то вытаскивать, складывать... Геннадьевич курил и уныло озирался на облезлый интерьер. Обои продраны во многих местах и заклеены Олежкиными рисунками. Странные рисунки: какие-то соты, конструкции, много мелкого народу. В серых туннелях красный взрыв... Везде наперекор судьбе летят ракеты.

— ... Долгу пятьсот...

— Сколько-сколько?

— А скоро будет семьсот!

— Ну хорошо, у меня с собой нет, но в конце концов деньги не самое страшное...

— Конечно! Святым духом жить должны!

— Но пойми, я к тебе приходил — забывал обо всем... Как молодой к молодой, как с работы в отпуск...

— Вот и считай, что тебя отозвали.

— Это... Ты отзываешь? Значит, все, что нас связывает...

— Нас связывает, знаешь, что?.. Когда я родила Олененка, и был мастит и горячка, ты отсасывал молоко... И еще бегал по морозу вызывать «скорую помощь». Без штанов.

— А Олененок?

— А что ты ему дал, кроме поцелуев? Сколько раз ты его видел за пять лет?

И стали они молчать...

— Ты права, Кора, что говорить. Конечно, я не мужик, а только и.о. Пора меня увольнять... Найдешь себе такого, чтоб и полки, и Прибалтика, и телевизор. Ну сильна ты, Кора... Только тебе тоже все не переиначить, я тебе так не дамся... Вертеть мужиком как хотеть, менять на телевизор... Ишь ты!..

Несмотря на свою флегматичность Геннадьевич понял, что момент настал критический. И что пора применить не только ласку, но даже военную хитрость... На другой день утром Ол сказал: «Если бы ты меня так укачивала, как папу ночью, то я бы все-е-гда быстро засыпал...» Когда начальство у Коринны

уходило в отпуск, она сама шлепала материал и сама отвозила в типографию. Сдать строчек на две полосы — это ей было раз плюнуть. Она снисходительно разрешала разнести на ключья какого-то начальника, давала разгуляться местным корневикам-светлякам и юным, еле вылупившимся поэтессам. Она только глупости не выносила, никак ее не пропускала, а баловство — на здоровье.

У Коринны пошел девятый вал квартирной эпопеи. Она откопала потрясающие факты, а в столовке от лица профактива ей сказали: ну и что? На то они и начальство, чтоб по сто метров с финской сантехникой иметь. А на лестнице сказали: ох, упадет кому-то балка на голову... Коринна медленно оглянулась, но эти брандахлысты невозмутимо курили, стоя все пригалстучках. Хоть бы один был мужик, и сказал не из толпы, а с глазу на глаз! Ну ладно. Пришла робкая сморщенная прозаичка показать повесть. Коринна пробежала повесть на обеде, отчеркнула в двух местах: «Поди, не хаживали на аборт. Тогда исправьте тут и тут». И за два вечера отстучала ей набело. И деньжат за это поимела малость. Надо было еще анкеты провернуть радиокомитетские. Людям — польза, тебе — деньги. А пока народ заполнял анкеты, она равнодушно и споро строчила свои шедевры. Запахивала торс в сиреневую жилетку, как в тогу, мощно курила и начинала палить на своей «Эврике». Потому что она была глыбища и акробат пера. Потому что она не училась этому делу, а просто родилась такой, с головой на плечах. И на эту голову было ниспослано что-то свыше. Даже в лице у нее появлялось что-то демоническое: впадины под скулами, глаза громадные, раскосые вверх и к вискам. И неподвижность черт казалась напряженной, холодной и насмешливой. Бесподобный Геннадьич, получив свое, романтически исчез на очередное полугодие, а Коринна наконец зашабашила в радиокомитете приличную сумму, да еще подзаняла, так что Прибалтика стала сбываться.

Новая эра в жизни Коринны началась с того, что она пошла и сделала облегченную «химию». Жесткие волосы обрели поэтическое великолепие, как от порыва ветра. Коринна стояла перед зеркалом и мерила только что раскроенное платье «под варенку». Сборка получилась равномерно, а с плечами что-то не нравилось. Что такое? В этот важный момент ее отвлекло тилибомканье входного звонка. В дверях оказались штатский и милиционер.

— Углова Коринна Юрьевна? Собирайтесь. Коринна всегда к этому готовилась. Привыкла распускать язык — отвечай. Но тут, в недошитом платье, в шлепанцах?

— Я переоденусь.

— Не надо. Приказано доставить как есть!

— Но наметка торчит.

— Это неважно. Да вы, может, быстро вернетесь. Коринна вроде и не дрогнула. Выключила газ, закрыла окно. Нашла паспорт, закрыла замок. Ключ — на шею, где медальон. И как это удачно, что домочадцы успели в Прибалтику укатить... В случае чего Ол в хороших руках... Мамуля выходит, не бросит...

В машине уже сидел водитель. С ним сел штатский, с ней мильтон. Неужели такое может быть за квартиры? Или за депутата? А еще орут, что свободная пресса. Посмотрели бы, как ее в платье с наметкой погружают «для расследования»...

Однако город проехали. Так что, не в органы, значит? Значит, арестовать в чем есть! Свернули на аэропорт... Одуреть. В особняк какой-то шишки, на беседу? Это хуже. Спрашивать у сторожевых псов — зря унижаться. Мимо понесли поля, куда ездили на картошку как шефы. В транзисторе заиграла знакомая песня. Опять Малинин?.. Чтoб его...

— Куда же вы меня везете? Ордер на арест у вас есть?

— Да какой арест. Сейчас все поймете.

Волнистой неасфальтовой дорожкой подобрались к лесочку. «Раздайте патроны, поручик Голицын!..» — заголосил Малинин.

— Выходите, Коринна Юрьевна.

— Пока не покажете ордер...

— Да что вы заводитесь. Себе только хуже делаете.

Но она сидела окаменев и смотрела в окно. Неужели тут, в этих пыльных кустах, и падать?.. Чтoб его, этого поручика...

— Выходите. Мы люди подготовленные, вытащим, но зачем лишние неприятности? Не понимаете?

— Да оттягиваю, не видите? Вы бы не оттягивали? Они переглянулись, замолчали. Нет, это не квартиры. И даже не гаражи обкома, и уж, конечно, не стадион, ровесник советской власти... Это, скорее всего, депутат... Коринна медленно и величественно выбралась из машины. Не глядя на этих, сделала несколько шагов. Куда?

— Куда идти-то?

Раздалось резкое хлоп!.. Странно, что ничего не больно. Коринна оглянулась. Машина в клубах пыли шпарила к городу. Что же они затеяли, собаки худые? В ослеплении побрела по лесу, поскальзываясь на неподходящих домашних шлепанцах. Особенно долго бродить не пришлось, потому что вскоре сквозь деревья засочился дымок. Обойдя странный фургончик, похожий на бронемашину, Коринна увидела изумительно ровную полянку. На ней прямо под деревом стоял ладно сколочен-

ный столик, где из помидорных завалов радостно и нагло поблескивала бутылка коньяка. Поодаль, ближе к берегу, на фоне сизой речки курился костерок. От него всем корпусом развернулся человек в защитной ветровке и широко развел руки:

— Кора, сладкая. Совсем тебя заждался. Жаркое как раз в той стадии, когда надо торопиться с первым тостом!..

## «СИНЕБРЮХОВ»

Никто не знает, так ли бархатны деревья, упавшие темно-зелеными гривами прямо на малиновую черепицу. Никто не знает, так ли шершавы бока старой крепостной стены, напоминающие цветом нежный загар. Но Прахова верила, что на самом деле все так и есть: горбатится улочка круглыми серыми камушками, и если ступишь на побелевшую от зноя кафельную дорожку — обожжет ступни. Хотя нет, не обожжет — там же нет зноя, там все мягче, приглушеннее, сдержаннее. Прахова подолгу вглядывалась в улочку незнакомого города и думала, что там, наверно, пасмурно, тихо, прохладно. Раскаленная голова должна отдохнуть в этом влажном и пьянящем воздухе, когда и солнца вроде бы нет и в то же время крыши так малиновы, деревья так бархатны, крепостные стены так высоки, что можно зайти с внутренней стороны и, постояв на краю, броситься прямо на улочку, которая стремится вниз. Этажа два будет или три. Голова разобьется, и никто ничего не поймет — подумашь, приезжая... Э, нет. Никакого негатива!

Прахова молча включила станок, едко запахло клеем. Движения ее были просты, маленькие руки крепко брали бумагу и картон, заправляли в станок, поворачивали рычаги. Из брошенных дорогих наушников на столе Макса взмыла «Энигма», точно дух вселенский, музыка захватила врасплох и без одежды... Голая душа отвергнутой Праховой залетала по маленькой подвальной типографии, стучаясь об стены, ища окно. «Хорошо бы отравиться клеем! — светло подумалось Праховой. — От него так болит голова, может, он вредный?»

— Как ты считаешь, Макс, — оглянувшись с надеждой Прахова, — это очень вредный клей?

Но Макс уже вышел. Потому что он считал: за такую зарплату и такая байда — это уж слишком. Затрезвонил телефон. Сердце дернулось. Был час утреннего астрологического прогноза. Любимый человек всегда звонил Праховой утром после планерки. Ну, и она сильно готовилась, записывала из телевизора и журнала. Она была Рак, а он Рыба, у них все совпадало. А когда не совпадало, они строили планы: что бы такое сделать, чтобы помешать звездам и совпасть. Потом любимый че-

ловец совпал с другим созвездием – с Близнецами, и Прахова отслеживала все как надо. Говорила ему простодушно – вот, дескать, полная синхронность, как при водном плавании. И почему-то ее гороскоп больше с Рыбами не совпадал. Никак! Что тут поделаешь – звезды. Прахова засматривалась на небо, как бы спрашивая его, как теперь жить, но небо молчало на этот счет, и Прахова стала медленно отмирать... Когда повитель не поливаешь, она сначала желтеет отдельными листочками, а потом вдруг целыми метрами облетает, и все, все... Остаются одни веревочки... Телефон звонил и звонил. Подбежала.

— Нет, Макса нет, он вышел. Нет, он здесь, но вышел. Куррит, наверно.

Надо же. Столько времени прошло, а ей все кажется – прогноз нужен, гороскоп не записала...

Заглянул человек.

— Здравсте, а кто здесь по сторонним заказам?

— Макс вышел.

— Подожду? — Подождите. Мужчина был в возрасте и легкомысленной курточке. Одежда на нем была дорогая, но будто выдернута из кучи и вся несколько набок. Его уставшие глаза чересчур печально тарасились через толстые очки, горечь в углах губ внушала беспокойство. Такой беззащитный Чаплин, грустный и толстый...

— А календари он делает? По готовым слайдам?

— А как же, — спокойно-насмешливо протянула Прахова.

Заказчик медленно листал лежащие на столе у Макса буклеты, потом положил на них неподходяще белую руку и постукал пальцами по ламиниру. Потом глаз его наткнулся на картинку над столом Праховой и сразу ушел вглубь. Это Прахова заметила.

— Интересно, бывают такие бархатные деревья? – глупо спросила она заказчика.

— Зависит от настроения, — ответил тот. — Как себя настроишь. Когда тебя предали и жить не хочешь, то не смотришь на деревья. А когда знаешь, что тебя помнят, то... да, возможно, бархатные, да.

— А вы... видели где-нибудь такие... бархатные?

— Прахова задрожала, представляя себе деревья в том месте, куда уехал любимый человек.

— Там, где я живу... – он прерывисто вздохнул, отвернулся. – Бархатные.

— И их можно... посмотреть? – понесло, понесло вдруг Прахову.

— Можно, только ехать далеко. А что вы так заинтересовались?

— Так, ничего-ничего.

Пришел Макс, и заказчик стал ему излагать. Мужчина усмехался, как бы извиняясь, что передает не свои капризы, дескать, ему заказали, а Макс усмехался, потому что данное оборудование иногда не выдает то, что надо, — говорили понимающие друг друга люди. Прахова была тут лишняя... И вообще зачем ей вникать? Что она пристаёт к людям с бархатными кронами? Только травить себя? Хватит уже Максовой музыки...

Станок плавил клей, потрескивал, дымил понемногу, амбарные книги шлепались под пресс, как горячие блины, голова набухала, превращаясь в гигантский непомерный земной шар, и весь он был заполнен кипящей лавой... Ну, как всегда, когда руки работают, а мысли в это время предательски бегут в запретную сторону. Внутри у нее все проваливалось.

«Иди-ка... — звала его рука, глядя ее волосы, грудь беглым жестом собственника. — Ты такая хорошая. Но ты меня больше не заводись. Уже месяц все по фигу. Да, она помоложе, но дело не в этом. Не могу торчать в этой яме всю жизнь. Мне нужна цивилизация. Буду писать письма, ладно? Ты же любишь письма. Душа моя останется здесь. С тобой. А ты будешь присылать мне прогнозы, так?» Душа Праховой была намертво припечатана к человеку, от которого осталась одна картинка.

Она не понимала роль души в ситуациях «заводишь — не заводись». И если теперь есть кто-то, кто быстро заводит, то зачем писать письма ненужному человеку. Да какая разница, что ему нравилось, душа или тело. Зачем только врать о прогнозах... Прахова дернулась к окну, потом к двери. Ничего-то здесь никогда не открывается! В коридоре, в самом торце, она дергала и дергала оконную решетку, забыв, что это же подвал, куда тут что открывать...

Мужчина-охранник и заказчик в легкомысленной молодежной куртке держали ее за плечи, говорили ласковые слова, давали выпить горькое в чашке, но Прахова застыла, и пальцы ее не размыкались на железе. Потом ее наконец усадили, ушли. Заказчик? Почему он здесь? Да, Макс не побежит ловить тетку, падающую в обморок, Макс брезглив... Заказчик календарей тихо бродил по типографии, проводя белой рукой по спинкам стульев, столов, по опоре клеящего станка.

— Все ваши обедать ушли, — сообщил он, заметив, что Прахова уже изредка моргает.

— Оставьте меня в покое.

— Я оставлю, но покой невозможен.

Да, покой невозможен теперь. Теперь все будет напоминать, и отовсюду будет тянуть сквозняком и дуть смертью. Оставьте все меня! Но нет, нашелся же один сочувствующий. Странно,

он в самом деле жалостливый такой или просто деться некуда? Большая белая ладонь взяла ее простонародную руку с клочками приставшего клея.

— Вы очнулись, синьора? Вы слышали? Ваши сотрудники ушли обедать...

Она молчала.

— Как вы себя чувствуете? Лучше?

— Д-допустим...

— А если так, то, может быть, и вы... Подкрепились бы. Знаете, я тоже не откажусь, но толком не знаю город. Вы не подскажите? Надо было сделать усилие. Не ради себя, ради этого странного заказчика. Прахова, тупо глядя перед собой, пошла. Почему ее, сорокалетнюю тетку со старой «химией», называют «синьора»? Синьора была в сатиновом черном халате поверх старого буклированного свитерка-тянучки, в таком виде и появилась в зеркальном кафе, куда фортуна привела ее за руку.

— Ой, сюда нельзя... Тут дорого...

— Вы тут были?

— Вроде была... несколько лет назад. Тут порция рыбы полторы сотни стоит.

Прахова тут же вспомнила, как она была здесь не одна. Как снег на улице мел, а они заскочили с холода — и в уголок. И с двух сторон за спинами, в стекле валит снег, а тут теплынь, уют, свет желтый, полосатый, искры цветомузыки по лицам бегут, а музыка орет так, что приходится наклоняться друг к другу, в ухо говорить. Он — только ей, она — только ему...

— Пожалуйста: сок, карбонад, салат с черносливом... Кольяк?

— Да я на работе.

— Хорошо. Баночку коктейля. Две. Имя ваше, синьора?

Барменша с полностью застекленным личиком, вьетнамская такая — та же самая! — равнодушно бегала пальцами по калькулятору. Жизнь бьет ключом, бьет по голове, по лицу, от слез под глазами вот эти следы, а барменши не меняются, несмотря на вредные условия труда. Узнала или нет? Да нет, конечно. Она могла б узнать по спутнику, спутник был — да... Все оборачивались: и барменши, и те, кто за столиками. Он высокий, очень высокий человек со светлым и смеющимся лицом...

— А? Геля меня зовут. А вас?

— Ксенофонт. Можно Сеня. А третьего у нас, знаете, как зовут? «Синебрюхов».

— Замечательно. Что-то мне это напоминает... Кто-то уже кормил меня, кто-то удивлял широкими жемами... Давайте перенесу что-нибудь на столик?

— Ни в коем случае. Садитесь во-о-н туда, в уголок. И Геля пошла в знакомый до дрога уголок. Только тогда, до ремонта, здесь не было так ослепительно, не было этих искрящихся наждачным снежком обоев, крохотных зеркалац, вставленных между цветами, но тогда и простой —то снег казался бриллиантовым... Извивались рыбы в большом аквариуме, извивались, сбегая по стенам, вездесущие повители. А у Гели не было никого, кто бы разбавил адский холод ее существования. Жизнь будто бы миловала ее, ну, вот же — подсылая хороших людей, но после истории с прогнозами Геля была точно заговоренная. Чуралась всех. Чуралась чудаковатого, диковатого Ксенофонта, который выручил ее из столбняка.

— Расскажите про то место, где бархатные деревья.

— Это заповедник. Но деревья там бывают и все... лысые.

— Отчего лысые?

— Болеют они. Они даже раком болеют, понимаете? И умирают, как люди.

— И тоже нет лекарства?

— Нет.

— А вы там один?

— Там целая лаборатория.

— Нет, я не в этом смысле... Ну, в личном.

— В личном вам не надо знать. Я живу один, потому что я... негодяй.

— Бросьте вы. Вы чураетесь людей? Могу понять. Значит, достали, — Геля почему-то испугалась, поэтому говорила много и давилась дорогой едой пополам с привычными слезами. В кафе над ними кружила непонятная стремительная музыка, и она была Гелина душа, метавшаяся без выхода. Может, «Энигма». Или «Моби»...

— Я бы тоже уехала, — говорила быстро Геля, не чувствуя вкуса богатых блюд.

— Чтобы жить там, где одни деревья, и больше ничего. А? Что вы так смотрите. -Я вас слушаю, синьора Геля. Я на вас смотрю. И насмотреться не могу.

— Да ну! А что вы делаете в городе, друг деревьев?

— В лесную академию приехал. Еще надо позвать Синебрюхова?

— Нет, но, правда, это еще лучше, чем «Балтика-лимон». Говорю вам, я знала, знала Синебрюхова лично, только не могу вспомнить — где, как...

— Да, да, «Балтику» вы тоже знаете лично. А как же.

— А... скажите... кроме деревьев, у вас есть что-нибудь?

— Нет ничего кроме. Даже стихи я у них ворую.

— Вы — стихи?! — она перестала есть и стала в него гля-

дываться.

Он мало ел, только сидел неподвижно, и цветные искры метались по стеклам очков. Его куртка по-прежнему висела на нем косо, а на свитере виднелась маленькая дырочка. «Холостяк», — решила Геля.

— Не пугайтесь, синьора Геля. Не собираюсь стихи читать в забегаловке средней руки. Хотите — потом пошлю. Я завтра уезжаю, если придете на вокзал, то... Впрочем, не нужно. Вы завтра уже все забудете.

Друг деревьев, видимо, боролся с противоречиями.

— Но я не хочу забывать. Я вам не магнитофон, не дискета. Те люди, что появились в моей жизни, уже не исчезают никогда.

— Но я посторонний, — сказал друг деревьев даже не утвердительно, а как-то вопросительно.

— Никто не посторонний, дорогой Ксенофонт. Как бы вы ни отнекивались, сегодня вы мне единственный человек на земле. Неповторимый, ни на кого не похожий...

Голос ее стал тише и как-то интимнее. Она перестала нервничать и повышать тон. Она ж синьора все-таки... Геля, пока говорила это, вдруг поняла, что, переключившись на собеседника, отвела от себя какое-то темное облако. Оно просто рассеялось над ней, как будто ветер разогнал. Ей лучше, лучше. Потому что ей стало жалко его, она поняла, что, похвалив его, поможет ему. Или хотя бы отвлечет от мрачных мыслей, чтоб он не думал про себя как про негодяя... А что он мог такое сделать? Убил кого-то? Бросил? В любом случае, он терзается, раз так говорит. А раз терзается, значит, нет, не негодяй он. А вот любимый человек из созвездия Рыб — он не терзается. Он даже письма не пишет, как обещал, он быстро вычеркнул ее из своей жизни, и все. Так что еще неизвестно, что хуже...

Ощущение слабого тепла охватило Гелю Прахову. Они вышли из кафе, и она пошла на работу, а он в свою академию. Ноги больше не подгибались, дышалось легко. А значит, можно было с успехом дотянуть до вечера. Ну кто, кто же такой Синебрюхов? Ведь это не случайный человек в ее жизни. Может, это начальник строительства, у которого она была на практике? Но практика обозначалась в голове абсолютно белым пятном. Геля поработала над собой внешне и внутренне. Она думала: нет! Я не хочу жить, мне неинтересно ни с кем жить. Не хочу. Но я не умру, я не для этого родилась. У каждого, кто родился, есть свои высшие задачи. Но я даже не успела понять, в чем мои задачи. Не в том ли, чтобы вздрагивать, когда меня гладит чья-то рука? Нет, не в том. У меня может быть любовь, может не быть. Но высшая задача явно не любовная... Если бы она

была в этом, так, значит, все бы люди были одинаковы. А они не одинаковы. Значит, я чем-то отличаюсь. Чем-то, что есть у меня, но нет у других. Чем же? Я все чувствую. Но какая от этого польза людям? Я чувствую, но мне не легче, а хуже от этого, потому что я не знаю, как им помочь. Что сказать, чтобы отвлечь от смерти. И вдруг внутри все вспыхнуло! Она догадалась.

Чтобы отвлечь себя от смерти, надо другого отвлечь от смерти. Вот как просто.

В руках у нее была цветная книжечка с гороскопами, за которые она хваталась, как за спасательный круг. Она ему растолкует его гороскоп, и он увидит, как у них много общего. Бывшая «химия» превратилась в елочные пружинки пушкинских времен с оттенком спелой сливы. А у Ксенофонта была сумка на колесиках и огромная коробуха с надписью «Телефаль».

— «Она думает о нас»? — улыбнулась Геля.

Когда нет слов, надо говорить рекламным слоганом.

— Помогает?

— А как же!

Они сели в зале ожидания и посмотрели друг на друга. Слова не приходили, но пришел Синебрюхов, подмигнул им, разломал шоколадищу с ромом. Они стали тихо смеяться.

— Прекратите хохотать, — сказал друг деревьев. — Смотрите, на нас весь зал ожидания смотрит.

— А в чем дело?

— Да мы же сели под телевизором... Все и уставились... Давайте перейдем...

— Нет, не перейдем. Мест нет больше.

— Как Синебрюхов?

— Изз-з-зумительно. Стой! Я вспомнила!.. Слушай, а где мой пакет?

— Что? Что знали лично? Это мы уже слышали. Просто невроз какой-то... Вон ваш пакет.

— Да, невроз! Не смейся. И хватит мне выкать. Да! Он был начальник строительства. А я там была мелким экономистом...

Ксенофонт хмыкнул как-то по-детски:

— Как — экономист? Трогательно. Чего же вы... ты... без гроша и бланки клеишь?

— Меня учили для командной экономики. Я не знаю рынка, не знаю финансов. «Долевое строительство!» «Время платить налоги!» Короче, плевать на командную экономику. Он приносил мне деликатесы. Не цветы. Мне было стыдно.

— А что тут стыдного? Женщинам всегда дарят конфеты! Вот и ешь шоколад, ты же любишь...

— Ты не понимаешь? — Геле стало приятно, что он сказал про шоколад.

— Мне двадцать лет было. Я красилась до ушей, в топах без лифчика по цеху стружки порхала. А на столе лежали шоколадки! А балык в промасленной бумаге. Положит и уйдет. Такой, понимаешь, индеец каменнолицый.

— Так-так, — он по-новому посматривал на Гелю, заботливо вскрывая очередную банку «Синебрюхова». — И все видели, и тебе было лестно...

— Нет, не лестно. Косоротилась... Боже, какое вкусное питье с этим грейпфрутом... Спасибо! Так вот. Поехали мы лагерь пионерский красить перед сменой. Море, слушай, бешеное море Азовское, жара, ветры одежду срывали. Питались исключительно ухой из красной рыбы, не уха, а просто желе какое-то. Утром, в обед — и все эта уха. Противно уже. Продуктов других не было, один хлеб. Вдруг утром смотрим — «уазик» Синебрюхова. Там, кстати, все начальство покупало только «уазики», по пескам грузовые не шли, садились. Он с утра примчался и понавез, понавез: черешня, сыр, пепси-кола — она тогда только появилась, делали в Новороссийске... Икра черная, уже на бутербродах, с маслом. Пятеро девиц, все руки в краске, даже плечи и грудь в краске... Все замели... Я и животно ела. Перемазалась икрой от жадности, а была в купальнике, так еще на живот ляпнула. К нему повернулась: спаси-и-ибо.

— А он? — Посмотрел и пошел. Зубами сверкнул, и все. «Бобер, твои зубы такие белые!» Фактурный индеец. Хороший он был. Но я тогда не понимала... Мне тогда все надо было напоказ. А вот ты, почему ты ничего не хочешь мне рассказать? Вижу, на душе у тебя тоже кошки скребут...

— Тише! Объявляют... Пошли. Какой опять пакет? Да вон он, пакет...

Он понес свои сумки и большую коробку с «Тефалью», а она все спрашивала:

— Слушай, она все думает о нас?

— А как же!

— А ты о ком? Ну, кому ты это везешь?

— А... Заказали. Вообще-то еду не домой, а на свадьбу к племяннице. Вот — подарок. Думаешь, пригодится?

— Ой, мне бы такое чудо на кухню... Хотя я не так чтобы очень хозяйка...

После загрузки они снова вышли на перрон. В наступающих сумерках светились лунами огни, сиреневое марево кипело и шло кругами, как на этой синей банке. Несмотря на морозец, было пьяно и жарко, как после вечеринки.

— Где же наш Синебрюхов, неужели правда ушел?

— Да вот он.

— Слава богу. Он тоже думает о нас, да? «Ощути лавину

морозной свежести». Хотя нет, это про дезодорант. У меня тут в пакете есть гороскоп...

— Ненавижу гороскопы, — спокойно сказал друг деревьев. — Полное вранье.

— А я думала... — И Геля замолчала, вдруг споткнувшись об эти слова.

— А ты что думала? Что буду тебе потакать?

— Да нет. Это просто как игра, для связки... Когда трудно найти слова.

— Но для чего их искать? — Друг деревьев оглянулся. — Если слов нет, их не надо искать. Ведь мы чужие люди, так?

— Чужие люди, да не чужие, — прошептала Геля Прахова, съезживаясь от лавины морозной свежести, — но я сделала новую прическу, потому что...

— Почему же?

— Потому что последние полгода я думала только о смерти. Твое появление сбilo меня с толку. Ты зачем повел меня в зеркальное кафе? Зачем позвал Синебрюхова? Я вспомнила его и себя! А ты даже не видишь!

— Это здорово! Не обижайся... — Он смутился. — Ты все время говоришь, как телевизор...

— Да, и это здорово! «Потому что я этого достойна!» Я не обижаюсь. Я часто смотрю телевизор, потому что больше сил ни на что нет! Ты спас мне жизнь. Потому что я не помню, когда была в парикмахерской, а тут — как эта... Даже ресницы покрасила! Знаешь, как жгло?

— Не надо про ресницы... Надо, чтоб я думал, что они настоящие.

— Нет, Ксенофонт, нет. Я начну новую жизнь с ресниц. Ты очень хороший. И мы с Синебрюховым понимаем, что у тебя что-то неладно. Ты не должен мне говорить, что тебе наплевать на гороскоп. Это мостик, ясно? Но ты очень замкнутый, ничего не говоришь. Все равно спасибо. Вон опять тетка объявляет...

— Геля, ты такая смешная... Давай хоть покурим напоследок. Ну?

— Нет! — закричала вне себя Геля с новой жизнью и новыми волосами. — Нет, меня стошнит от твоей папиросы! В институте меня учили курить, и пульс был сто тридцать...

— Брось... — Ксенофонт достал пачку «Парламента» и подал. — Они же мягкие.

А сам подумал: «И не притворяется. И прикурить — то не может...»

«Граждане отъезжающие! — загрохотал репродуктор. — Просим занять свои места согласно купленным билетам!» Он уже

сожалел, что ничего не рассказал ей. Она не стала бы смеяться, презирать, она не такая. Думает, что ресницами можно всякое горе поправить...

— У меня в жизни были одни потери, — вдруг сказал Ксенофонт. — Я еще ничего не обрел, но уже все потерял. Как бы заранее, да? Много читаю. Синьора — это из романов. Ирония в каком-то смысле. Начну читать — меня отталкивает. Точно бес какой дразнит, точно я отравлен навеки. Не верю ни во что. Наверно, конец света уже начался. Ну и пусть.

— Ах, вот что, — вздохнула Геля, — значит, ты неверующий. Ты же не знаешь, какое это спасение от себя!

— Ой, только не надо кликушества, — поморщился Ксенофонт. — Не надо прикрываться обрядами.

— Не обрядами. Не в этом дело. Ты потерялся! Ты думаешь, весь мир виноват? А ты сам не виноват? Ты хоть однажды смог вымолвить, как ты виноват? Это тоже помогает.

— Это я и один могу. Себе сказать — и все, — Ксенофонт сиделся нешуточно.

— Себе не стыдно, а другому — стыдно. Я-то знаю... Но ты бы мог и мне сказать. Ты не представляешь... Как мне жалко тебя. Потерялся в лесу, как маленький... Ну, не хочешь, как хочешь. Я могу помолиться за тебя, когда пойду в церковь. Мне не надо знать, что ты сделал. Не унывай. И пришли мне стихи, понял? Ведь ты взял буклет типографии, а там есть все телефоны и адреса. Не потеряешься. Он смотрел на нее с таким невыносимым удивлением, точно видел перед собой чудовище. Он тарашил глаза, не в силах понять: это все по правде или она кривляется. Но Геля не кривлялась. Она была такая настоящая. Потом он взобрался в вагон. Посмотрел на нее сверху, как обычно любят смотреть мужчины.

— Ну как, тошнит?

— Не-е-ет...

— А к решеткам больше не будешь подходить? А то я буду далеко.

— Не-е-т...

— А если я еще когда-нибудь приеду, то календа-аарь... приду заказать?

Вагон заурчал и двинулся.

— Да, да! А как же музыка в кафе? Что это было, а? Музыка!

— Миии-леен! Фаар-мер! Слышишь? Фар-мер!..

Проводница, свидетель многих разбитых сердец, морщилась и улыбалась на эту чушь. При ней еще не то выкрикивали. Колеса стучали все громче. Геля стояла на перроне в широком клетчатом пальто с бахромой, со второй сигареткой в жизни — и тоже улыбалась. Теперь никто не дал бы ей сорок.

## КАПКАН ДЛЯ АМУРА

Новый год для Таи был пыткой. Для таких, как Тая, все является пыткой, потому что ждут они от жизни слишком много... Так вот, в то время как за окном сквозь игривый новогодний снежок бежали люди, увешанные сумками и елками, Тая сидела с учебником технологии... Они бежали в свои шумные компании, где, наверное, яблоку негде упасть, где свечи, умные разговоры и последний двойной альбом «Биттлз», а у Таи... У Таи нет никого, кроме подруги Киры, которая — божество. Просто у божества роман, надо сидеть тихо и не мешать. Когда Тая увидела Киру в первый раз в колхозе, у нее чуть сердце не остановилось. Среди серых фуфаечных фигур Кира летела по боровку, как костер по стерне. Неуместная грива волос победно металась по ветру. Тая, как всегда, осталась одна на две гряды и отстала. И ведра ей было некуда ссыпать. Но подошла Кира и, не глянув, высыпала все в свой мешок. И стала рядом собирать. Тая просто задохнулась. Разве таких можно посылать в колхоз? Ведь царевна!.. Тая отрезала батон с колбасой, двинулась к телевизору, поддерживая локтем учебник. Телевизор можно смотреть всю ночь, хозяева уехали гулять в Задонск, это на неделю. Свобода на всю квартиру, на целую вечность... Ну и что толку? Некому тут гулять, некому колобродить, некому убежать на балкон целоваться, не с кем... Кто к ней может прийти? Один раз был Костя, лег на ковер у телевизора — и сидеть нормально не хотел. Он сказал, что любит на полу, а в заплеванной общаге это немыслимо. Он был очень грустный тогда, убивался из-за очередного фокуса Киры, а когда Тая пообещала с ней поговорить, то он сразу повеселел и ушел. А Тая думала: к ней пришел...

Но за окном наливалась новогодняя ночь, и Костя с Кирой уже наверняка доехали до лыжной базы. Кира разбирает рюкзак, Костя, шурясь, разжигает железную печку, и отсветы пляшут... Вон уже гремит поздравление советскому народу. С Новым годом, дорогие товарищи! С Новым годом, дорогая Кира... Куранты и серебряные елочки на экране угрожающе расплывались, а Таю все хватало и стискивало, будто ей нельзя жить и радоваться, как всем людям... «Гистерезис, — глотая поздравление советскому народу, учила Тая, — запаздывание, отставание, зависимость реакции на внешнее воздействие от того, было это воздействие раньше или оно впервые...»

С Таей такое было впервые. Она только встретила людей, за которых можно жизнь отдать, как тут же стала их терять.

Кира подошла к ней первая, а Костя подошел первый к Кире. Вот и отдавай жизнь, за кого хочешь. Только не требуется. ... На бухучете или на политэкономии Тая с Кирой устроились на своем пятом ярусе, как вдруг подошел маленький смуглый человек в необъятном полосатом свитере из овечьей шерсти и тихо произнес:

— Будь человеком, — и указал Тае глазами в сторону.

— Она и так человек! — вызывающе сказала Кира, придерживая Таину сумку за ремень.

— Но в человеке все должно быть прекрасно, — не унимался претендент на пятый ярус.

— Допустим. Только стоит ли так вас баловать?

Свитер ушел на нижний ярус и стал испепелять Таю издали. И она поняла, что общие лекции для нее потеряны... Кира кололась как иголками и проявляла гордость в различных формах. А Костя становился все изобретательнее. Когда у них с Кирой горел синим пламенем коллоквиум по высшей математике, Костя неслышно появился возле них в читалке и бросил цепкий взгляд кибернетика на их бледный конспект.

— Тут есть невосполнимые пробелы.

Но это было и так ясно! Тогда он положил перед ними свою тетрадь с мелкостружечными формулками за весь семестр. А поскольку состояние было не то, чтобы воображать, головы тут же склонились и застыли. Кира сдала на пять, Тая — на три, но тетрадь владельцу потащила Тая. Она простодушно пришла в Костину общагу и спросила:

— Так какая тебе требуется награда?

Костя сел на прогнутую кровать и стал беззвучно смеяться.

— Ты из-за этого ехала сюда сорок минут? Отпад... награда должна исходить не от тебя, дурашка.

В день рождения Киры Костя явился, как привидение, сразу после первой смены блюд. На диване шел бурный просмотр журнала мод «Силуэт», Кира, кося горячим глазом, ставила тарелки в раковину, Тая мыла, и над всем этим пел Рафаэль!.. Вошел человек, как две капли воды похожий на Рафаэля — черные ласковые глаза, темные длинные волосы, белая водолазка. Он недоуменно приподнял плечи и спросил у всех: — А мне, скажите бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Все застыли, как при игре «море волнуется раз». Потом он вручил Кире косматую хризантему, потушил свет и стал читать стихи... При свечке. Стихов Костя знал море. Он так долго читал, что на заднем плане стыдливо попили чая с тортом и разошлись, а он остался. Вот какой он был хитрый, когда надо... Наверно, это он придумал сделать из Таи телефон... Он — Тае, Кира — Тае,

а информация циркулировала. Вроде между прочим... Но Тая, глупая, на все согласна, лишь бы они не исчезали совсем... Вся группа смеется: Кира, вон твой хвостик...

Надо сдать зачет по технологии. «Гистерезис — это зависимость...» Утро застало Таю спящей в кресле перед слепо мигающим телевизором. Она честно прибралась, сделала яичницу... Ну и как они там, не заоченели на своей лыжной базе? В Боровом, конечно, очень красиво, все в инее, пологие холмы с голубой полоской елей. Но у Киры слабые легкие, это такое ухарство, кошмар...

И Тая не выдержала и поехала Киру проведать. Все равно надо вместе идти на зачет, так, может, Кира и не знает, в какой аудитории, и вообще... Но Кира была еще в халате!

— Скорей одевайся! Не успеем в свое время, пойдем с четвертой группой, вечером...

— О чем ты?

— Как?... Зачет по технологии! А ты, что, не идешь? Да у тебя температура, что ли? Опять простудилась!

— А ты... не простыл? Без шапки? А тебе ведь тоже сдавать программирование...

Тая застыла: «Она думает, что я Костя»...

— Я только лоб потрогаю, ладно? — протянула руку Тая. Кира отвела ее ладонь...

— Ты зря волнуешься, всего лишь тридцать восемь.

— А ты врача вызывала?

— Колдуньям не помогает. Отлежусь. А ты лучше о себе подумай, тебе сильнее досталось, хоть ты и деревенский.

Тая неслышно заплакала. Она стояла одетая у окна и с высоты пятого этажа читала протоптанные в снегу гигантские буквы: ЛЮБЛЮ КИРУ.

— Не сердись, маленький, я пошутила. С Новым годом. Сними свой палантин, и мы выпьем по глоточку диброя.

— Но как же технология?

— Опять за старое! Пойми, зачет — не жизнь. Сидишь, уткнувшись, получаешь закорючку, а жизнь уже прошла. А что там было? Неизвестно!

— А что там было, правда?

— Все было феерически, — Кира подала фужер. — Товарищ сделал мясо и костер для любимой. Танцевали вокруг транзистора, и харизматические ели испускали сияние. — Какие ели?

— Поезжай, посмотри, — Кира оперлась на руку с фужером и стала рисовать рожицы. Она всегда выводила в задумчивости то, что недоговаривала. На листе запроступали химеры.

Холодная красавица, из глаз торчат ножи. Бородавчатая харя в двух шапках.

— Кто это, Кира?

— А это сама жизнь и есть. Можно даже сказать — лик счастья... Ладно, ты бери свои ключи и шубы, мы отчаливаем.

Тая сбежала за своей затерханной шубой и Кирочкиной дубленкой... И помертвела от страха. Подружка лежала ногами на спинке дивана со свернутой набок головой, словно ей хребет перебили...

— Ма-а-ма!.. Помогите! А-а!

— Что стряслось, маленький? — Кира повернула голову.

— Ты опять? Ты можешь хоть раз пожалеть, не добивать?

— Ты очень впечатлительная. Я тебе уже втолковывала, что занималась акробатикой, там и научилась. И потом без слов понятно. Кукла сломалась. Особой трагедии нет, но для ребенка расстройство.

Запыхавшись, они проникли в автобус.

— Знаешь, у меня раньше на акробатике бывало: пойду крутить колесо и вдруг застряну, с головы на ноги не перейду... Вот и сейчас так. Неслась себе, катилась, а потом стоп!.. Яма.

— Кира, какая яма? Опять накручиваешь?

— Обычная яма, на зверя. Только попал туда не кабан, а мы с Костей.

— Живы, покалечились?..

— Как видишь. Только заоченели очень.

— Но ведь мы приехали не на зачет... Это Костина общага. — Да, могут не пустить, поздно. Ну ничего, есть черные ходы и подземелья.

И они полезли через ведра и швабры. На лестничной клетке веселые пацаны загородили их от вахтерши:

— И кому это так повезло на ночь глядя? Вы в какую, девочки? Может, завернете в семидесятую? Мы как раз сейчас разливать будем... Или вы к Берегу Слоновой Кости? Костина дверь нехотя открылась, и сам он, лохматый и дикий, произнес:

— Думал — утюг принесли, а это не утюг, а вовсе даже наоборот...

И они с Кирой пошли друг другу навстречу, как сомнамбулы, а Тая...

Тая могла уходить, она свое дело сделала. ...

Ни свет ни заря зазвонил телефон... Далекий голос Кости, едва слышный через треск и хаос коммутатора, просил ее срочно приехать... Таю снова стиснуло, и она заплакала не к месту.

Один раз он попросил ее приехать, и она долго ждала его в парке, совсем замерзла. Он пришел как будто между прочим, весело улыбаясь, вытер ей нос и, поговорив минут пять о том о сем, проводил на остановку. Знакомая девочка из бухгалтерской группы, которая тоже жила в этом общежитии, клялась и божилась, что видела около парка... Киру. Тая ей не поверила, потому что эти два факта связать между собой не могла. Но главное — ей и в голову не приходило, что Кира может разобидеться... Просто ей показалось, что звал Костя Киру, а за неимением... Ладно, если человеку плохо, о чем рассуждать?

Бросилась как миленькая в аптеку закупать анальгины, ампициллины и прочую горечь. Костя лежал поперек кровати в одних трусах и выл от боли. Он вытряхнул на пол Таину сетку и стал рвать зубами упаковку таблеток.

— Тридцать девять, помираю, — пробормотал он, — да зачем врач, не надо мне его, это гайморит, я знаю... Отпустит, ничего... Вода вон, в чайнике...

Костя скрипел зубами и метался, весь мокрый от пота. Тая намочила вафельное полотенце и положила ему на голову. Он прижал его вместе с ее руками сильно-сильно... Бедный Костя, продолжают ему лоб когда-нибудь... А на зачет и сегодня не успеть, придется идти с бухгалтерами. На часы лучше не смотреть.

— Ты, Костя, терпи, ты у нас самый сильный, — дрожащим голосом говорила Тая, — ты ленинский стипендиат, а это кое-что да значит...

— Дай одеяло, — очухался вдруг Костя, — дай трикошки. Прости, что я голый, совсем очумел.

— Костя, а кто это в косыночке?

— Первая любовь, Рамзия. Татарочка.

— А ты разве из Татарии, из Казани?

— Нет, я из простой тамбовской деревни. Тамбовский волк мне товарищ.

— Раз ты такой волк, как же тогда в яму упал?

— Да как... Поехали на лыжах, Кира завоображала, рванула вперед — и загремела туда. Ну хоть бы крикнула, так нет! Я испугался — и за ней. И оба туда.

— А почему вылезти не могли, глубоко?

— Да уж метра три и края под наклоном. Лапником поверх жердин закидано специально...

— Так как потом-то?

— Потом лесник вытащил, иначе бы каюк. Жуткий такой лесник, весь в шишках. Опять, говорит, мелочь пузатая попала.

— Да он, что, специально?!

— Кто его знает... Может, он хотел зверя покрупнее, а может, побогаче... Вот я ему шапку-то и отдал.

— А сам простудился!

— О чем речь. Иначе она бы погибла. Ты бы пережила?

— Ты что? Когда я... Да я не знаю, она...

— Ну расскажи мне, что тебе в ней нравится, ну? ..

— По-испански умеет, по перилам съезжает, верхом, я видела, умеет ездить, рисует... Когда в сквере, помнишь, сидели — пацаны пристали, и один хотел чикнуть Ленкину косу бритвой, а Кира подставила ладонь... Пацан испугался, и ей только по пальцам попало... Вот за это, когда она к другим...

— У Киры был любовник, которого посадили. А? Тая дрогнула и замолчала. В комнатку ворвался тщедушный парень в штормовке на голое тело.

— Константида, ты дома? — с размаху встал, как стукнулся. — Э, да у тебя женщина... — Он прямо скис.

— Чего надо-то?

— Да похавать...

— У меня только чеснок и повидло... Без хлеба — надо?

— Давай.

Костя достал из тумбочки банку, Тая пошарила в сетке, вытащила батон, крутые яйца. Тщедушный честно отломил полбатона, и его ветром сдуло. Костя тоже пощипал еды и осторожно сгреб скорлупу в бумажку.

— Ну что ж ты молчишь? Или нельзя про любовника?

— Да я не знаю, Костя. Любовник или как. Лескин, художник. Его загребли за что-то антисоветское.

— Ну что тут может быть? — рассуждал Костя. — Не спору, может, она до меня прожила длинную жизнь. Может, я одноклеточный. Не сидел в тюрьме — это на женщин действует. Но отступать все равно поздно.

— Почему?

— Потому что я все ступени унижения прошел, во мне все одеревенело. Да и что я перед ней такое? Технар, собиральщик... В ней все непостижимо, гармония бешеная, она и сама не понимает...

— Костя... Ты море стихов знаешь... Тебя весь курс боготворит. Программирование никто лучше тебя не постиг. «Препы» тебя боятся и автоматы ставят... И ты единственный меня за человека считаешь, несмотря на то что...

— Ну что уж ты реветь сразу... — Он погладил Таю по голове, шатаясь, попил из чайника. Хотел вернуться на койку, но промазал, сел мимо.

— Знаешь, — поглядел он снизу на Таю, так тепло и уютно, как только мог, — может, я ошибся с ней на всю жизнь. Может,

с тобой бы я был как у Христа за пазухой. Я знаю, ты жизнь отдашь, а преданные женщины теперь редкость... Но меня уже повело, за нутро потащило... Есть какой-то рассказ: там влюбленных связали друг с другом надолго, чтобы они выдали тайну. И когда их выпустили — все, смотреть один на одного не смогли. Поэтому яма ускорила то, что я оттягивал. Знаешь, как мы от нужды мучились в этой яме? Я-то деревенский, а она глупенькая, стыдится, шарахается... Рамзиюшка — вот была дитя природы, и во всем с ней не было проблем... А эта фея скорчилась и стала отходить в мир иной...

Таю била дрожь. Сам великий Костя сидел у ее ног. Не задушевная подруга, а недосыгаемый Костя не скрывал своего горя, не боялся быть жалким. Все равно наступал конец истории. И кто знает...

— Я не давал ей засыпать. Сделал вид, что пристаю, она мне влепила пощечину и упала. Тогда я взял распутал свитера — и ее ноги к себе за пазуху... И сказал, что никогда ее не брошу, даже если мы свалимся в нужник...

— А она, Костя, что она?

— Она сказала, что «люблю, сохну, обожаю». Ерунда все это. Когда один другому что-то может дать, лишь эта связь чего-то и стоит... Значит, антисоветчик ей что-то дал. Что же? Запретные книги? Картины, которые никому неизвестны? Многолинейное мышление? Но за этим за всем человек. Какое же искусство без человека? Ну и где он сам? В местах не столь отдаленных! А я вот он... Ну потом — мы были в таком состоянии, когда не очень-то порассуждаешь. Я думал, что загнемся мы тут навеки, приготовился конец достойно встретить, так сказать, лицом к лицу... Но пришел этот хозяин капкана...

— Костя, стой. — У Таи пересохло горло. — Он что, твою шапку на свою напялил? — Ну да. А мне-то что?

— Как что? Кира рисовала рожицы. Ну, девочку с ножами из глаз, так это, наверно, она — как глянет — пронзит. И еще рисовала мужика страшного, бородавчатого, в двух шапках. И вдруг сказала, что это лик счастья! Представляешь?! И мы на ночь глядя поехали к тебе...

— А еще? Что еще помнишь? — Костя так и взлетел весь.

— Больше ничего. Так и сказала: лик жизни, лик счастья...

Костя как замороженный смотрел сквозь... Потом медленно снял с Таи ее позорные очки в черной роговой оправе и поцеловал долгим неверным поцелуем. Тая даже задохнулась... Но нисколько не обиделась и на свой счет не приняла. Потому что все понимала.

## НАЙТИ И УТРАТИТЬ

Лера любила залечь в тихом месте с толстой книгой про дворцовые интриги. Школу она ненавидела, а хорошо училась только потому, что полученные пятерки гарантировали ей относительную свободу. Она была тихой идеальной девочкой и лишь изредка обнаруживала перед учителями свою строптивость. Например, в сочинении про Наташу Ростову она написала, что этой Наташе все равно на кого повеситься, она мизинца Андрея Болконского не стоит. Таких Наташ у них в околотке десятков штук, и таких лопухов, как Безухов, тоже достаточно. Ей поставили тогда за грамотность пять, а за содержание два. Дома состоялся скандал с проработкой. Разве Толстой это имел в виду? По программе требовалась именно его Наташа, а не околоточная... Но чтобы понять Толстого, надо самой не быть одноклеточной...

Лера сидела, низко нагнув голову, чтобы родители думали, что она убивается, а сама читала сквозь шелку выдвижного ящика «Шевалье д'Арманталь». Лера пряталась в шкафу и под кроватью, она читала романы даже со стенной полки, стоя на цыпочках на диванном валике. Как только слышались шаги, она тут же садилась на диван в обнимку с учебником. Но все-таки иногда ее отлавливали и отправляли на очередной факультатив или химическую олимпиаду. Кроме этого, надо было ходить на каток и в музыкальную школу, и все это мешало жить, а все вокруг твердили: это поможет жить. Лера не могла бороться с этим потоком воспитания, у нее был мягкий, слабый характер. А вот у младшенькой сестры Леры, наоборот, было слабое здоровье, но очень сильный характер, она что не хотела, то не делала. Часто она ложилась и стонала, а вокруг нее задергивали шторы и приносили в чашке бульон. Лере при этом полагалось молча мыть посуду и идти в сарай за дровами. И Лера по глупости злилась, но потом пожалела об этом.

Лера была на пять лет старше сестры, но в обиходе считалась младшей, потому что была рохля и не умела жить. А младшенькая, напротив, умела жить и заботилась о Лере не меньше родителей. И даже замуж вышла раньше. Лера ездила к ней на свадьбу и смущалась, считая себя перестарком. Она мало танцевала с гостями, в основном чистила языки и резала салаты. Родителей мужа сестры на свадьбе не было, так как муж был интернатский. Но он пришел к Лере на кухню и зачем-то подарил тяжелый янтарный браслет. И Лера совсем смутилась.

Несмотря на факультативы она не стала ни музыкантшей, ни переводчиком, а кончила мединститут и работала в глазной больнице. Она во всех отношениях была человеком неизбалованным. Через короткое время младшенькая, будучи в каком-то престижном круизе, сильно простудилась на теплоходе и, пролежав в горячке неделю, умерла. Зареванная Лера приехала на похороны и обнаружила на руках мужа сестры полуторагодовалых двойняшек. Как взяла Лера одну из них на руки в первый же день, так с ней вместе домой и уехала. Муж сестры упросил: «У меня родителей нет, а тебе я верю». Думаете, Лера тут же оформила опеку? И не подумала! Потому что это было не главное. Просто она привезла домой писклявую Сабиночку и стала с ней мучиться, как нормальная неумелая мать. Девочка оказалась болезненная, из бронхитов и лимфаденитов не вылезала. На работе качали головами, но доставали детское белье и устраивали к лучшим врачам. Однажды, когда Лера билась с температурой и полночи делала Сабине уксусно-водочное обтирание, в отчаянии возникло вечное: «Ма-ма». Вот это было для Леры главное!

Лера так гордилась, что никуда не может ездить, и даже взгляды смуглого доктора с третьего отделения... В их игольчатой колкости что-то было, было, но и это Лера запрещала себе. У нее теперь Сабиночка, нельзя. Но вот жизнь повернула на хорошее. Осилили садик, санаторий и первый класс, сообщество засели за шитье сатиновых сарафанов. Они предвкушали лето!

Сабина уже рассуждала, что в городской лагерь не хочет, а вот если бы вместе в лес... Тут вошел виноватый муж сестры в изумительном финском костюме. Он поставил посреди уютной Лериной семиметровки груды гремящих пакетов с подарками и стал гладить Сабину по голове. Пока Лера таскала из подселенской кухни сковородки и чайники, муж сестры отрывисто рассказал, что женился, ждет прибавления, но, прости, мол, девочки должны расти вместе, мы так решили... Так тихие едкие слезы сделали Сабину взрослой, а Леру снова молодой и бездетной.

Лера долго просыпалась по ночам и смотрела на деревянную кровать с зайцем. Потом отвезла ее в комиссионку. Слезы кончились, а жизнь еще нет. Она настигала ее через то же третье отделение, через те же игольчатые взгляды. И теперь у Леры начались престижные путевки, турбазы и круизы. Смуглый-божественный насмешливо курил и терял за борт искры, а Лера теряла последний разум. Как он был хорош в хлопающей на ветру белой варенке, как смешно хотел казаться циником и нигилистом. Лера чувствовала себя старше и умилялась.

Он преклонялся перед Лерой, но семью бросать не хотел, а потому просил «обойтись без последствий». Вот Лера и скрывала эти самые последствия сколько смогла, а уж когда скрывать стало бессмысленно, смуглый-божественный, как говорят, «вернулся в семью». Не то чтобы он исчез абсолютно, но проходя из операционной мимо, теперь не узнавал Леру с животом, как будто это была не она. На работе крутили пальцем у виска, а Лера продолжала жить чисто механически. Ей все виделось, как через стекло. То, что раньше нравилось, теперь отвращало. Еда потеряла вкус, цветы — запах. Лера неспособна была ни с чем бороться, а тем более с токсикозом первой половины.

Крохотная Глашка, заменившая загорелого бога, все стеклянные стены быстро поразбивала. Поэтому Лера опять стала ощущать окружающее с небывалой остротой. Руки стыли от мокрых пеленок, душу грела недавняя радость. Сладкой стала скудная еда, легкий ветерок сдувал боль с бессонной головы.

И тут приехала суровая мать Леры, похоронившая папу. Она всегда приезжала неожиданно, как ревизор, и делала беспощадную инвентаризацию в шкафу. Завидя орущую Глашку, стала медленно валиться на пол... Проговорили обе в голос: «...Не писала тебе про это...» Хотя все было понятно и так. Глаша не дала им погрузиться в оцепенение, и они, сгребая ладонями бегущие слезы, побежали варить курицу и греть воду для купания. Искупали и уложили, пошли за кастрюлей на подселенскую кухню, но курицы в ней уже не было. Пять хозяев, поди разберись — кто так сумел...

Суровая мама покачала головой и пообещала, что займется разменом квартиры, чего бы ей это ни стоило. И слово свое сдержала. Их домик в районе поменяли на хорошую двухкомнатную, а потом ее да семиметровку — на трехкомнатную, правда, с доплатой. Только мама пожила в новой квартире совсем недолго, и ей, бедной, не удалось увидеть Леру замужем.

...  
Лере с детства внушали, что человек без искусства ущербный, и она хоть изредка, но заглядывала на выставки. В тот раз были копии икон. Конечно, она не могла отличать копии от подлинников, но у одной скорбящей были такие толстые щеки, и сама она так лопалась от довольства в своих струящихся шелках, что Леру покорило. «Ну и скорбящая, — уронила Лера вполголоса, — и глаза сухие, и слезы отдельно». «А вы хоть интересовались древней живописью?» — отозвался рядом некто бородатый. — «Если так задумана икона, при чем тут копия?» — «Может, и ни при чем, а только это не скорбящая». Вокруг Леры и бородатого сгущались любопытные и расширяли глаза. Весь их вид показывал, что Лера сказала не то, а Ле-

ре было почему-то обидно. Она ведь знала, что такое обливаться слезами и не спать ночь и какое после этого бывает лицо.

Бородатый оказался Рома Малков, автор копии. Он работал оформителем в ДК только для того, чтобы прожить и заниматься любимым делом. А любил он писать мощные густые натюрморты с разной фактурой, с предметами роскоши. Копии икон остались с ним после реставрационных мастерских, делал их — очень редко и не для денег. Он не ставил себе цели добиться в жизни чего-то сверхтакого. У него остались двое пацанов от умершей жены и плохонькая квартирка, хрущевка двухкомнатная. Деньги иногда появлялись, раздетый у него никто не ходил, а как ему, вдовцу, удавалось не отвыкнуть от модных рубашек и мяса по-монастырски, было дело его. Лера ничего этого не знала, и когда, гуляя возле ДК с Глашей, столкнулась с бородатым, не сразу и вспомнила. Тот пригласил взглянуть на одну вещицу. Она доверчиво потащила в комнату оформителя чуть ли не на чердак. Там ее ожидало потрясение. Там оказалась знакомая скорбящая! Но, несмотря на блестящие шелка и стоящую колом парчу, это была совсем другая богоматерь, с родным и узнаваемым лицом. Под глазами залегли тени, сложенные ручки прозрачно-белы, а глаза человеческие безутешные, полные слез.

Лера глотала комок. Ей хотелось крикнуть: «Отдайте ее мне!» А Рома молчал, курил и наблюдал.

Так столкнулись люди, во всем разные. Лера — беднота, смиренное нищенство, Рома — гордыня и барство. Он любил, чтобы в мастерской сидел его любимый эрдель и приносил ему трубку. У него было английское твидовое пальто, высокая велюровая шляпа и большое достоинство в манерах. Лера надеялась, что в картинах она хотя бы как зритель что-то понимает, но Рома ее быстро убедил, что искусство изучают не по местным выставкам, а по польскому журналу «Штука». Лера боялась голых вырожденных карликов, женщин без лиц, но с вывернутыми ногами, автобусов, в которых все давно умерли... Лере было скользко, а Рома, посмеиваясь, выдавал пять точек зрения на эти сомнительные картины. Но они друг на друга никогда не давили.

Лере казалось, что она счастлива, а что казалось Роме, это было его дело. Несколько лет они жили на две квартиры. Пока Глаша привыкала к папе, да пока родился Дема, да пока пацаны Ромины изучали, что такое семья. Они все смотрели на Леру исподлобья, а потом до них дошло, что Лера невредная, признает тяжелый металл и отдаст последнюю пятерку из кошелька.

В противоположность многим людям искусства, беспомощным в быту, Рома был не слаб и не робок. Он задумал комбинацию по обмену: хрущевку и Лерину на две-три квартиры на одной площадке. Сначала жили в Лериной, ремонтировали и перегораживали хрущевку, потом стали отделять Лерину, перейдя в хрущевку. Лера относилась к процессу уважительно. Она понимала, что Рома урывает время на ремонт, хотя должен заниматься высоким. Но ее вечное любопытство и тяга побыть с Ромой лишние минуты однажды обернулись ой чем. Шла Лера с работы и решила зайти на свою прежнюю квартиру, чтобы пойти с Ромой домой. Она не волновалась за детей, потому что старшие пацаны всегда забирали Дему из садика, а Глаша уже умела делать омлет и лапшу на молоке... Лера позвонила в свой звонок, ей открыла ослепительная особа с малышом на руках. «Вы по обмену?» — «Д-да, мне бы хозяйна». — «Его нет, он в мастерской. Обратитесь еще сюда». И протянула Лере ее обычный адрес, где хрущевка-то. Чмокнула малыша в макушку и с улыбкой закрыла дверь. Лера чуть не упала. Вот и стежка поперечная ромбами... Она повернулась и пошла по указанному адресу. После этого Лера не покончила с собой и даже не развелась.

Да и как она могла, боготворя этого человека... Она же ни с кем в жизни не чувствовала себя женщиной, только с ним. Да и он продолжал носить еду и деньги, ходил с нею в гости. Для посторонних вообще ничего не менялось. Просто в мозаике сдвинулось стеклышко, а узор остался. Так незаметно Лера стала любовницей своего мужа. Она и доньше живет в той же хрущевке, работает в той же больнице. У нее четверо детей и маленькая зарплата. Приходит она домой поздно, ставит в духовку чан с кашей, пьет одну чашку заварки и курит только одну сигаретку, она решила — не больше одной в сутки. Проверяет уроки, листает толстый журнал, который все рвут из рук, пытается кроить модные штаны, а поздно ночью пишет письмо Сабиночке, которая вышла замуж... И так каждый день...

## КАМЫШИН В ПЕРИГЕЕ

Слишком долго всплывал Леха. Отключенный, выпученный, он не соображал, почему всегда легкое и упругое тело перестало слушаться. То ли занырнул глубоко, то ли на сильное течение попал, и его тащило в сторону, но он шел по косой. А вырвавшись на поверхность, захотел глотнуть воздух, и никак. На ногах ласты, на голове маска. Понес руку к маске, но -

рука не шла, на ней висело очень тяжелое... Лодка затонувшая, сундук с образцами. Леха скопил глаза и не узнал руку в потеках крови. Завыла опять собака, не виолончельно, а низко, с хрипом, в три голоса. Слабое животное не могло издать такой стереофонический звук. То был зов потустороннего, звук ада...

Леха Камышин вынырнул из реки в аккурат на свой диван. Времени, чтоб не окочуриться совсем, было в обрез. Коченеющими руками потащил к себе телефон и, извозив его в крови, вызвал себе «скорую».

— Да, потери крови. И большие потери вообще. И алкоголь... обязательно. Да, адрес... Адрес мой — юдоль печали. Парковая, два... Пострадавший звонит. От своей дурости пострадавший... Девушка, биографию не надо? Ведь сдохну.

Может, он говорил так, может, не совсем, но близко к тексту. Сознание уходило. Ему потом все рассказали: как приехали медбратья на «скорой», увидели внизу нежилые двери, а вверху его запертую дверь, не долго думая взломали ее, и хорошо сделали, потому что Леха Камышин был совсем уже тепленький, уйма порезов, да и бритвы валялись неподалеку. Приедь к нему не медбратья, а медсестры, ну что бы они сделали? Дулю. Картина была унылая.

Светящийся аквариум, в котором он, видимо, так долго всплывал, остатки пира на журнальном столе, диван, пропитанный черной кровью, и поперек него атлетический бородастый мужик без признаков жизни. И тоны сердца слабые. Но сделали обработку порезов, ввинтили два укола и перевели на хирургию, и тут стало ясно, что вынырнул! Когда отверз вежды, в окно залетали алмазные капли дождя, и рядом хлопотало что-то белое в коконе.

— Это... тот свет... или еще этот?

Кокон ойкнул и засмеялся:

— Надо записать, во сколько очнулся... Надо же. Такой видный и порезался.

— Я в тот день разводился с женой, — скорбно сказал Леха.

— Надо же.

— Но это специально, чтоб увидеть вас. Пока такие бабочки-боярышницы будут порхать, можно смело разводиться...

— А неизвестно, кто бы дежурил. Но здорово. Значит, любовь. — Кокон поставил диагноз, воровато оглянувшись, поцеловал...

Женщины обычно сдавались Камышину в первые десять минут. Тут хватило и двух, Камышин прогрессировал. Но, конечно, это был не апогей. К вечеру появился худой практикант из следственного отдела и версию Лехиной любви забраковал.

— При осмотре обнаружена пачка лезвий «Жилетт». Сколько

порезов, столько использованных лезвий. Если бы вы были в состоянии аффекта...

— Был, был в состоянии аффекта.

— ... Вы обошлись бы одним...

— Мог и не сообразить в таком состоянии.

— А почему? Вы ссорились с женой?

— Зачем ссориться? Мы обо всем уже договорились. Кто где будет жить, с кем, куда высылать деньги...

— Но Римма Камышина при разводе выступала истцом. Значит, имела претензии.

— Имела, имела. У меня... другая женщина.

— Так-так... Значит, вы разлюбили жену?

— Кто вам сказал? Женщину в высшей степени? Ни-ког-да. Просто ей было обидно, что она не единственная.

— И когда Камышина узнала об этом?

— Да все время знала. Каждая моя женщина знает об этом с самого начала. Чего тут обижаться? Но я не хотел разводиться и после развода сказал, что теперь, когда мы не женаты, начнем все сначала как любовники. Купил коньяк и привел приговор в исполнение.

— Но она же уехала. Значит, что-то случилось.

— Ну да. И я как бы... отчаялся. Отпечатки есть?

— Отпечатки ваши. К сожалению. И вы вправе настаивать на самоубийстве. Получите нехороший диагноз, печать на лоб поставят. Но не думайте, что я вам поверил, будто вы вялотекущий шизофреник. Решили выгораживать — валяйте.

Практикант следственного отдела не производил впечатление тупицы. Но и Леха Камышин, не будучи шизофреником, не пошел у него на поводу. Он слишком хорошо знал Римму, он познакомился с ней перед экспедицией и поехал в экспедицию из-за нее. И ее бешеная татарская страсть держала его столько лет, и столько бы еще держала, но... Устаешь любить в боях. Конечно, тяжело только первые шестьдесят лет...

Но Альбинка ведь никогда не прыгала, не бросала громких слов: «эта шлюха», «убью»... Сынок, ты хорошо живешь среди конного табуна? Тебя увезли к татарской бабушке в степь, поди найди там.

Камышин думал, опечатывать квартиру или нет. Если опечатать и Римма захочет вернуться за вещами, она все равно взломает, к ней пристанут, опять начнут ворошить... А если не опечатать, кто знает, что здесь найдешь потом. Здесь столько собрано за годы странствий. Хотя бы взять камни из последней экспедиции. Ими никто не заинтересовался, а камни теплые. И форма у них...

И эти книги с ятями, которые развалились, — из сторевше-

го деревянного дома. И картины, которые создал друг Ерохин. Куда с этими картинами сейчас? Альбинкины тряпки на первом плане... Хотя неизвестно, брать ли саму Альбинку... Леха сбегал к Ерохиной, попросил заходить и хранить ключи.

— Ближе вас с Еней, тетя Ань, у меня никого.

— Да что ты, Лексей, мне нетрудно, — тонко возразила Ерохина мать. — Но вот не ухраню?

— Кому нужны мои каменюки. Если Римма примчится, она все равно к вам придет. А золота там никогда не было. Можете сами ночевать, Еньке скажите, пусть живет, пусть холсты расставит и так далее...

— А ты, Лексей, неуж не вернешься?

— Не знаю... Потом когда-нибудь. Я диван вынес на помойку. Не бойтесь. Да я скажусь, если надоест мотаться. Еньки нет? Попрощаться.

— На этюды отбыл Еня, говорил же... Ну ты-то после больницы... Не рано спорхался? — Все прошло, тетя Ань. Только колотит. Почему? Никогда невротиком не был.

— У тебя, Лексей, нервный стряс. Ты тихонько смотри...

— Дайте поцелую...

Леха съездил, обчистил сберкнижку и половину перевел на аккредитив. Что ждет впереди — неизвестно.

Альбинка егошила лоскутной ковер. Перед ней лежала здоровая книга, где было описано, какой цвет к какому приставлять. Леха разложил ковровые лоскуты в своем порядке, потом взял швею и разложил на ковре. Швея была сладкой и ванильной. Ток, сотрясавший Леху, ушел в землю.

— Прости, что я так на тебя свалился.

— Я привыкла. — Хорошая у тебя работа, Аль.

— Всегда к вашим услугам.

— Не только поэтому. Хочешь, пойду — тобой работать? Ты в одном вагончике, я в другом.

— Ты не сможешь. Это грязная работа. Скучная и грязная.

— А ты?

— Я терпеливая.

— Аль, поехали со мной.

Она молчала. Загнув руки назад, застегивала пряжку на спине, пряжка соскальзывала. Он взял двумя пальцами — шелк, готово. Какая жемчужная спина, какие белые волосы, какое все у нее — черемуха, не тело.

— Аль? Ты слышишь?

Она молчала. Кажется, любит. Но такая тугодумочка!

— Аль. Ты последние три года натерпелась. Но теперь я твоей — с макушкой. Свободен.

— Ты сам не знаешь, куда едешь. А я брошу работу, дом, буду ночевать на вокзале...

— Да брось ты. Поеду на Волгу, там есть старые друзья, зацеплюсь с работкой. А то могу опять в экспедилочку.

— Какая мне разница, где ждать.

— Аль, я уеду. Подумай.

— Дал бы уволиться.

— Лишнее. Вышлют по почте.

Она опять замолчала, взяась с пуговками. Невозможно оторваться от такой.

— Ну, чего ты?

— Да устала.

— Отдайся... на волю случая.

— Да боюсь.

— Боишься — значит, хорошая.

В сильных потемках того же дня к Лехиному дому подходила запыхавшаяся женщина с чемоданом. Само то, как она шла, выдавало ее с головой — то ли дороги не знала, то ли сильно трусила. Она неуверенно пересекала парковые аллеи, пугливо озиралась и перекидывала из руки в руку свой груз. Тоторопилась, то топталась, словно шла на попятную. Добравшись до трех деревянных домов, хлопнула дверью и заскрипела лесенкой наверх. Позвонила. Ничего! Еще, еще. Глухо. Ну где же он, где? Дверь молчала. Молчал черной слепотой глазок, молча скалились желтые плахи нового дверного косяка. Бывшая женщина Камышина бросилась на грудь чемодану и тихо заплакала. Растоптали черемуху.

А в это время будущая женщина Камышина, а пока еще юная девушка Лиза, шла по улице в обнимку с друзьями: мальчик из параллельного, она, потом ее сосед по парте, потом того соседа подружка и ее подружка... Все-таки Лиза в классе была выше всех и смеялась громче всех, однако это не помешало ни соседу, ни параллельному, взяли ее в кольцо. Они посмотрели в парке классный боевик про подводные ужасы, причем параллельный дал ей половину куртки — такая широкая, что мальчик и девочка влезли оба и верх сошелся, все на резинках. Лиза думала: а что, кино на улице, лето же. Но в открытом парковом кино оказался налет комаров. Лизу толкало в бок бешеное сердце мальчика из параллельного класса, но он вел себя кротко, только под курткой положил твердую руку ей на плечо, и она стала, как Геракл. Подружка адски завидовала и плохо следила за подводными страстями, а все косилась на Лизу в куртке на двоих.

Лиза хоть и высокая, но ровненькая, и волосики шелковые.

Вот такие были переживания. Десятый класс позади, поступать нескоро, а любовь — бери, вот она... Но когда Лиза пришла домой и попыталась узнать себя, такую чудную, в зеркало, за спиной раздался гром и сверкнула молния.

— Пришла, полюбуйтесь. Пришла домой проститутка Лиза Которгина!

В передней стояла Верховный Судья Мама.

— А чего я, чего...

— Времени сколько? — прибавляла децибеллы мама.

— Не зна... Нету ча...

— Одиннадцать! А тебя нет дома! Соображаешь?

— Так мы были в кино...

— «Они!»! Все понятно. Я мечусь по окнам, по стенкам, а «они»... Ужас! — она снизила голос и расширила глаза.

- Ты пошла в отца, который шляется всю свою жизнь. Я уже не удивляюсь. Сегодня ты пришла ночью, завтра в подоле принесешь. Аминь.

И откинула назад вымытые волосы. И вышла. А Лиза тоже хотела голову мыть, но раз головомойка уже случилась, пошла к себе, обняла медведя и заплакала. Мягкий бархатный медведь, подаренный отцом Которгиным, с хорошую собаку ростом. Отец, как обычно шлялся, и медведя оставлял дома вместо себя.

Утром мама гордо уехала на субботнюю дачу, а отец пришел домой и тоже стал куда-то собираться.

— Почему моя ласточка такая пухлая? — спросил он рассеянно у Лизы.

— Потому что вчера ревела. Мама опять говорит, что проститутка...

— А? — отец скручивал спальник и пихал его в рюкзак.

— Проститутка, говорю.

— Надо же! Какая категоричность. А что, у тебя есть мальчик?

— Откуда! Я самая высокая в классе. А ты куда?

— На регату. В институте, понимаешь, никого, одна приемная комиссия сидит. Смотаюсь-ка на недельку.

— А почему ты на дачу не едешь?

— А? Потому что я тоже этот... Проститут.

— Ага, значит, у тебя есть девочка?

— Ага.

Лиза завздохала.

— Ну что ты, ласточка. Я с тобой, как со взрослой... Одевайся.

— А куда?

— Так кто со мной матросом пойдет? Не мама же.

— Ура, на регату пойдю! Пап, давай нашу лодку назовем

«Проститутка»?

— У нее и так хорошее название — «Ласточка».

Когда пришли на лодке в Ольинск, отец велел хорошо все вымыть, а сам пошел за продуктами и зарегистрироваться в яхтклубе. Лиза все выдраила, потом стало смеркаться, и она смерклась ждать, оголодала. Но как тот пионер, не могла оставить вверенный ей пост. Теплый летний вечер на воде — это совсем не жарко. Волны плескали, толкали в борт, так толкало в бок мальчишечье сердце в кино...

Отец пришел ночью, увешанный покупками, и не один. С ним рядом на палубу ступил бородатый мужик с завернутыми в белое руками. В темноте он светил зубами и этим белым.

— Ласточка, — позвал отец нетрезвым голосом, — где моя голодная ласточка? Смотри-ка кто! Мой друг! Он недавно чуть не умер, но его спасли потусторонние силы. Он сидел на пригорке и начинал жить заново. Он же планета, а планета на орбите. То апогей, то перигей...

— Ты еще меня не видишь, а кричишь на всю реку. Может, я ушла, — грустно отозвалась из ватника Лиза.

Она включила фонарь и направила на вошедших. Те зашуршили.

— Матрос не оставит судно, — оправдывался папа Которгин. — И в тебе уверен. Я долго все покупал, а потом, знаешь, всех своих ребят встретил. Это же люди какие! Как у Джека Лондона. И вот этого шалопая...

И пока он это говорил, указанный шалопай достал батон и круг колбасы, протянул в сторону фонаря.

— Ласточка, на, покушай. Где ты? — Очень хриплый, очень тоже нетрезвый голос.

— Ладно уж, пьяницы. — Лиза взяла ужин из рук незнакомца и стала вкусно жевать.

— О, простила. — Отец засмеялся. — Я говорил. Знакомьтесь — Алексей Камышин. Моя ласточка. В смысле Лиза Которгина.

— Мы долго будем так стоять? — спросила Лиза. — Комары летят на фонарь. Можно в кубрик спуститься.

— Это невероятно, — повторял отец Которгин, роняя сетки. — Я встретил его на том же пригорке! Я сто лет назад пришел на регату один, ласточка еще в колясках ездила, и он там сидел. Говорю: пойдешь матросом? — Пойду, говорит. И пошел, без вещей. Я ему заметил потом: хорошо держишь парус, где учился? А он мне: первый раз в жизни парус держу. Все умеет. И опять я иду — он на этом же пригорке... И опять без вещей. Да я тебе рассказывал.

— Но на этот раз, Витя, у тебя уже есть матрос. Эй, матрос, возьми меня юнгой.

— Не возьму, — набычилась Лиза.

— Отчего же?

— Ниотчего. Нам таких не надо.

— А каких? Как Витя Которгин? Против Вити не тяну. Он прожил в браке семнадцать лет, я только семь.

— Так ты думаешь, это реалья? Леша, ты крепкий, может ли слабая женщина погубить твою могучую статью? Мистика.

— А как? Я раньше вообще не болел. А тут как пошли хвори мучить: и сердце ноет, и почки жуют, и спина в разлом пошла. И башка чугунная, ничего не помнит, и... Этот последний случай тоже. Я слышал, что собака воеет, как сирена. «Скорую помощь» — сам не знаю, как вызвал. До «сдохнуть» оставалось совсем немного. Но она уехала, и я свой диванчик спокойно унес на помойку, еще старинный был диван, большой. Только боюсь, что сухожилия она тоже задела.

— Кто она? Ты что? — дрогнул Которгин.

— Ну бритва, бритва прошла по сухожилию. Но парус я смогу держать, не бойся... Ласточка, дашь парус?

Ласточка сладко спала, держа в руках колбасную скобу.

— Не надо бы килограмм-то целый ребенку. Живот заболит. — Леха осторожно взял колбасу и укрыл Лизу.

Так началась регата. Так начались приключения Ласточки...

— Возмутительный случай. Как у нас говорят, стряс, — Леха взял сумки и поставил на цементный пол кафе.

— С регатой все хорошо, пора и в обратный путь. Возмутительно другое...

— Что «Ласточка» не первая пришла? — осведомилась Лиза с набитым ртом. — Или что?

— При чем тут это! Ты, ты меня невзлюбила. Ты у меня единственная женщина, которая не согласилась в первые десять минут.

Лиза перестала есть.

— Я вам не подхожу. Я выше всех в классе.

— Я не собираюсь с тобой за одной партой сидеть! — Помолчал. — Вспомни, как я изгибался на палубе, досочки драил. Хотел выслужиться. А ты?

— А я вас толкнула в воду.

— Вот это и запомни. Возвратимся в яхт-клуб порознь. Я пириношу поклажу, приношу извинения и еду берегом, ясно?

— Вот папа расстроится.

— Ничего, переживет. Если я останусь, то он расстроится больше.

— Как это?

— Так. Меня опасно вводить в семью. Волга большая. И по всей Волге живут у Лехи Камышина дружки... Ешь, говорю. Вашу замечательную лодку надо бы назвать не «Ласточка», а «Зажротка-2». У вас политика жратвы на первом плане.

— Вы, что ли, серьезно?

— Нет, нарочно.

Дядя Леша Камышин исчез с борта «Ласточки» так же вдруг, как и возник. Снялись с якоря без него. Отец вздыхал и отмалчивался. Лиза испуганно смотрелась в мутное кубриково зеркало, трогала себя за уши, за щеки, за грудь. Разве это грудь для женщины? Складка на тельняшке. Потом села на корточках, деловито порылась в продовольствии, задумчиво откусила огурец. Зажротка? И выронила все...

В Ольинске папа Которгин отпустил Лизу только в магазин — туда и назад. А Лиза нахмурила ровные бровки и взяла курс прямо на яхт-клуб. Никто не видал Камышина? Никто. Может, на баркасе? Да нет, это пивнюшка, вон там, за станцией. Да нет, не там... Отвечали лениво, спросонья, потому что было еще утро. Лиза побродила среди тех лодок, которые стояли на ремонте. Потом вышла к какой-то развалине без мачт. Интересно, как туда входят, если сходни в воде? Завернула штанцы, пошагала по воде, взобралась на ломаные сходни. Кругом был развал, и бочки катались. Войдя в полутемную конюшню, скривилась от перегарного духа. Там человек двадцать спали в разных позах. А некоторые даже по двое и в обнимку. Притон какой-то. Она постояла, постучала босой пяткой о ящик. Кто-то закашлял, кто-то зевнул.

— Доброе утро. Начинаем пионерскую зорьку, — звонко сказала смелая Лиза.

— Доброе утро, пионерка. Тебе кого?

— Дядю Лешу Камышина.

— Подъем, — засмеялся кто-то. — Ну, чей это еще может быть луч света в темном царстве? Только Лехи...

Все зашумели, затрещали досками, а через десять минут в конюшне никого не было, только Леха Камышин голый по пояс, в каком-то жутком трико, как дикий запорожец целовал Лизу.

— Ласточка. Пионерская зорька. Господи...

Потом прервался, выбежал на палубу и закричал:

— Мужики, дайте срочно джинсы. Мне в загс надо...

На «Ласточку» Лиза приплелась только к обеду. Говорить про дядю Лешу ничего не стала. Вечером они пришли в род-

ной городок, поставили «Ласточку» на прикол и вернулись домой. Неделя регаты кончилась. Начиналась обычная жизнь, в которой ничего хорошего не ожидалось. Папе Которгину было пора на работу, а Лизе ехать в Москву подавать документы. Мама за три дня собрала ей сумку, записала адрес тетки и проводила Лизу на самолет.

— Что ты так торопишься? Экзамены не завтра.

— На курсы пойду, — уныло ответила Лиза. — У меня с математикой фигово.

На курсы она поехала прямо после аэропорта. Курсы располагались в старом каменном доме на Красной Пресне, в коммунальной квартирке на пять хозяев. Так называемый руководитель курсов, бородатый мужчина в тельняшке, обняв абитуриентку за плечи, показал расположение удобств и объявил кухонной пожилой красотке с папирскойкой:

— Лиза моя приехала поступать. Прошу во всем помогать! Несете личную ответственность.

Красотка томно улыбалась руководителю.

— Вам такие нравятся? Она тоже была вашей? — глупо спрашивала Лиза.

— Ни-ког-да! Зачем мне эта кастрюля?

Но он говорил так обо всех прошлых женщинах. Так что можно было не спрашивать! На другой день они отвезли документы в институт и катались на американских горках. Смотритель все перекрикивался с кассиршей, потом пошел недоплату выяснять, а на Камышина оставил обслуживание. И тот не остановил эту штуку ни на минуту. Все продолжало ползти и грохотать, пока смотритель не пришел... Лиза смотрела на него, выпучив глаза. Потом поехали и они. Он пристегнул ремни намертво, а когда кабинка прошла апогей и полетела в пропасть, она крикнула дурным голосом. Услышала его веселое «не кричи» — и руку под юбкой. И от этого крикнула гораздо сильнее... Вот как подкрался этот хитрец...

Так и понеслось вскачь. То в небо на американских горках, то на землю в дорогой ресторан. То в Сокольники — и пиво с раками, и чебуреки есть целый день, то двое суток голодом, не вылезая из постели. То в пропасть на спину, то над ним в самый потолок. То два часа мертвого молчания, неслышных девочкиных слез, то целую ночь песен, с перерывами на любовь. То перигей, то апогей. То километры по ВДНХ, по чешской ярмарке, в громкой жаркой толпе людей, то часы в пустом планетарии, где Леха нашептывал рокошуще про созвездия, а потом посадил себе на колени, прижал и... До обморока. То на ипподром в адский дождь. Тогда же, посинев от холода, они вдруг остановились как вкопанные перед финскими сапогами...

Залюбовавшись на ее нечеловеческую зависть, Камышин тихо заплатил деньги и стал мерить, присев на корточки. Подставив коробочку, он вытирал носовым платком ее красные ледяные ступни и помещал, как статуэтки, прямо в белое финское нутро. И продавщица, кутаясь в прозрачный упаковочный кокон, неслышно плакала — не то от радости, не то от внезапной прибыли, не то от привычной утраты.

И поплыла по московским улицам великолепная Лиза Которгина, в черной промокшей американской футболке и белых финских сапогах, жуя на ходу фисташки и цыпленка-гриль. И текли по ветру, как по воде, ее тонкие шелковые волосы, и, изумленные, застыли кверху ровные бровки. Что она понимала в жизни? Когда так называемый руководитель курсов, он же Леха, заглатывая школьницу, как питье в жару, бормотал «жизнь моя», «пионерская зорька», — она же верила! Месяц пролетел незаметно.

Математику только сдала на три, а остальные вообще прилично, подготовка сказалась. Как-никак Лиза была профессорская дочка, и аттестат у нее был без единой четверки. По всем предпосылкам она экзамены сдать не могла! Но сдала. Без курсов. Потому что ничего не учила, не страдала, икру не метала. Что всплыло, то и всплыло. Лиза ошалела от безнаказанности.

— Давайте скажем папе. Маме нельзя, а папе можно. У него тоже есть девочка.

— Все равно нельзя, я не поеду, не такой я подонок. — Леха разглядывал свою записную книжку и похудевший бумажник.

— Да почему же подонок? Я же сама решила на обратной дороге...

— Потому что меня ввели в семью, а я нагадил! «Но ломать тебе жизнь я не стану... Приставать я к тебе перестану...»

— Нет, не сломали, а...

— «Нет, не к морю хочу я, не к югу, — зарокотал над гитарой Леха, — а хочу я уйти босиком! В синий край, есть холодную клюкву, чуть покрытую хрупким ледком...» Завтра мы купим тебе билет к папе Которгину, чтоб ты смогла его порадовать. А потом я поеду в город Мирный на работку, а ты останешься в Москве.

— Что же я тут буду делать? — слезы брызнули с Лизы, как дождь со смородины.

— Кружить в вихре вальса! У тебя будет много е... мальчиков.

— А в город Мирный...

— В город Мирный ты приедешь после института. Я к тому времени перестану быть перекаати-полем и начну с тобой счастливую семейную жизнь. Вот как сейчас.

— Ну... Когда это настанет...

— Скоро, жизнь пролетает незаметно. Вот не успеешь съездить к папе, как тебя отправят на картошечку. Не успеешь вернуться — экзаменки. Не успеешь сдать — институтик кончился. Не успеешь оглянуться — у тебя двое детишек.

— А у вас?

— А у нас в квартире газ. Я все успеваю. Я, Лизанька, шустрый. Вкалываю с экспедицией, скважины бурю, если геологи чего найдут, а то прокладываю линии вдоль дорог. Денежек заработаю. А как отпуск — у меня хождение за три моря. В Европе был, на Канарах. А в этом году у меня облегченный вариант. Круиз по Волге.

— Так всю жизнь и бурили?

— В каком-то роде да... Да! Если не считать американских горок, сапожного дела, столярки и театра.

— Какого театра? Ну уж тут вы слишком...

— Нет, зачем. Когда у меня начиналась тихая семейная жизнь, я не мог шляться по заграницам. Я приезжал домой и шел оформляться плотником сцены. А там случилось и поиграть. Не первых любовников, эпизоды. Я фактурный, инструментом владею, видишь? А в финале, где ликует русский народ, я шел со своим сыном на шее. Супруга торжествовала... Ну ладно...

— Вы, Алексей, прожили до меня целую жизнь, — затуманилась Лиза, — и неужели ничего лучше...

— Да не было там ничего! Ничего, кроме потерь.

— Наверно, вы слишком тратитесь... Не для себя живете.

— Ой, ради бога. Я не знаю, куда растратиться так, чтобы ничего не осталось. Уж как только в распыл ни шел... Да все не то! Все равно что гонишься за блоковской незнакомкой, а настигнешь — весь огонь в утробу гулящей девке...

— Ой, Алексей...

— Ладно-ладно... У нас есть еще ночь. И почти два дня! Иди сюда. Глупо заниматься самокопанием, когда в твоей комнате занимается пионерская зорька... «Пять чувств кормил всю жизнь я до отвала! Шестое чувство вечно голодало!» Гийом дю Вентре — не слыхала такого, ласточка?

— Поэт какой-нибудь? Как вы их запоминаете?

— Из-за метели. Метель долго не кончалась, а кроме Гийома, никого не было в вагончике. Это такой ехидный француз. Он выдавал себя за приятеля Генриха Наваррского, а на самом деле...

— Ну подождите. Когда вы так делаете, я же ничего уже не понимаю... Ой...

— Да и черт с ним, с дю Вентре... Ты вот так подвинься...

Пари, пари как ласточка...

Они парили и плыли, из апогея в перигей, и обратно, и дальше по кругу, ведь когда есть орбита — это неостановимо, их обнимала вода времени, как на водохранилище в Химках, где они готовились к экзаменам, питаясь случайными пирожками и пивом. И они питались друг другом, пропитывались насквозь, потому что после пива не хотелось пива, а после друг друга этого хотелось сильнее.

Лиза даже не успевала подумать, что у нее должен быть стыд, она только помнила, что спихнула, спихнула его тогда с лодки и могла бы в жизни больше никогда не увидеть. Поэтому она торопилась исправить ошибку и, исправляя ее, чувствовала радость, как прощенная двоечница. И шрамы на его руках хотелось целовать, казалось, так быстрее заживут. Но она, конечно, не знала, что от нее у Лехи заживают не только порезы на руках, но и вообще все... А порезанный бритвой Камышин вел себя хорошо, особенно если исходить из кодекса «ни одной не упускать» и из шестого чувства дю Вентре — тоже. Это самое шестое чувство уже потихоньку тянуло его в синий край есть холодную клюкву и кормить комарье. Но пока он, выплывший из смертной глубины, лежал на солнечной глади, качался и вертелся в ней мячом. Ему казалось — вот он, апогей радости, он всплыл и теперь на самом верху жизни. А что это за поверхность, что это за жизнь, если он «всплывал» из одних трусов в другие, — над этим думать не хотелось. Он давал то, что просили, хотя и чувствовал, что в общем-то бабы — народ ограниченный, а то, что оставалось в нем не востребовано никем — он про то и сам не знал... Было ли оно вообще?

Когда тебя солнце палит и сжигает, а потом дорвешься до прохладной толщи — качка — будь здоров. И выползешь пьяный совсем, но такой чистый и гулкий, что слышно шум крови в каждой жилке. У него много крови утекло в диван, в никуда, может, в Риммулю. Конечно, она не могла его отпустить, она же питалась им; ну вот и оказался сухим до донышка, так что ничего удивительного, что, начерпав новой крови в Волге и в Химках, он услышал посвист ласточки. Ничего не спросила ученица десятого класса, ничего не испугалась. Она такая же природная и водяная, как он, как речной, только в водной среде и может жить. Это же прекрасно, что она ничего не понимает, что не подходят друг другу, что разница в росте и возрасте, что перекаати-поле не мед, что придется в лучшем случае обживать деревянный дом на Парковой, травить тараканов и знакомиться с таежными камнями, черемуховой Альбинкой или даже черненьким, как жук, сыном Ерусланом... Бабка же даст его хоть на месяц обнять... Нет, нельзя этого ничего... Там была

Риммуля, это все ее зона, она еще вернется... Ведь был же случай, когда она нашла их за городом, раздувая тонкие ноздри от гнева. И стояла перед шалашом и чехвостила их с Ерохиным за побег и бутылки! Они трое суток лазали по лесу, прикинувшись грибниками, это был повод поговорить раз в год основательно про камни из экспедиции, про тяжелые пророческие сны, про Енькины картины и болезни, про Лехины уходящие силы и космическую подпитку, про то, как все это связано. А пока Римма проверяла, нет ли баб, они с Енькой моментально вырубались и заснули. Вот как она умела качать энергетику. Ласточке туда нельзя никак... Ее вообще некуда девать.

— Смотри-ка, уже ночь. Мы опять в магазин не сходили.

Ласточка засмеялась.

— Скоро утро, светло будет. Сходим, - он вздохнул.

— А пока не открыли, я в ванную, а?

— Что ты все бегаешь в эту ванную...

— Так вся же мокрая...

— Дай поцелую мокрохвостую. Только не кричи, если сильно...

Лиза зажмурилась, выгнулась... Ой, невозможно, слишком сильно достал... Неужели она вытерпит? А когда через полчаса вернулась из ванной и никого в комнате не увидела, то уже правда не вытерпела, закричала. Достал... сильно.

\*\*\*

—...Знатного бурильщика, бригадира шестьдесят третьей бригады Камышина Алексея Матвеевича. И прошу поддержать мое предложение, потому что у него доверенных лиц пока еще нет, а два участка на трассе уже за него проголосовали. Не мне за него агитировать, поскольку он с вами проработал не одну экспедицию и человек безотказный. Вы его знаете ой-ей-ей.

Красный как рак Леха Камышин, в дорогом костюме, смотрел в черное окно барака и молчал. Лес рук! Главное, все заодно, а!

— Мы, конечно, за. Но как же проходка? Не закончили проходку, Алексан Сеич. — С Перепечко кончите.

— С ним кончишь. Наутро после семидневного запоя.

— Может, пока идет предвыборная кампания, он еще поработает?

— А не надо, мужики, меня выбирать, — встrepенулcя Леха. — Я по коридорам не могу ползать, какой я депутат. А трансформатор старый, ломается. А я новый достану.

— Нет, Алексей Матвейч, не дергайся. Ты привык смотреть не дальше носа. Смотри шире. Сейчас какое положение в об-

ласти? Никаких ресурсов. Договоры не заключены. Развал. В магазинах ничего. Мэр с губернатором в полной дисгармонии. Нам надо Думу усилить такими, как ты.

— Кому вам?

— Нам всем, народу. —И поправил благородные седины.

— Вы, Алексан Сеич, хоть и главный инженер управления, но еще не весь народ.

— Чего ерепенишься? Народ свое слово уже сказал. Поздравляю. Еще два участка, и половина голосов твои.

— А вы?

— А я по другому округу. И не первый раз замужем.

Бригады, треща хлипкими креслами и грохоча матерными анекдотами, стали расходиться. Леха вздохнул и тоже встал. Идти одному, без страховки, через болото, да на ночь глядя? Вот, кажется, увяз, как никогда... Картины недавних таежных будней заслонили от Лехи стол с красным бархатом, бригады...

Бульдозерист у них был пожилой и совершенно железный человек. У них все ребята были железные, но в тот момент все уехали на праздники в поселок, остался бульдозерист, его молодой напарник и мастер. Быстро все выпили, и пришло в лихие башки все то, что приходит людям, когда не хватило: надогонять в поселок и затариться. Бульдозерист с мастером стали спорить, кто меньше пьяный; мастер сказал: шас принесу тебе то, что ты днем искал, не нашел, я впотьмах найду. И вышел. А бульдозериста заело такое, он выскочил, завел бульдозер, развернулся и погнал. И очень радовался, что сейчас, пока мастер шарится в кондейке, дурак, уже и спирт привезен. Будет за что выпить... Приехал затаренный, напарник спит, а мастера нет. Ну и хрен с ним! Выпили, попели. Где же мастер-то, неужто допустит, чтоб без него все выпили? Вышли с напарником на территорию, глаза продрали, светать уж начало, а мастера нет нигде. Напарник говорит: «А что там у нас валяется у леса, опять стекловата, что ли?» А бульдозерист: «Подумаешь, стекловата, студентов на практику пришлют — они приберут». Пошел, а это куски мастера растянулись на том месте, где он разворачивал бульдозер. Выбежал мастер до ветру, а назад не пришел. Так они сели, сидели, пока день не настал, пока радист не приехал из поселка да милицию не вызвал. Бульдозериста увезли, от мастера что осталось — схоронили, Леху поставили за обоих, несколько смен за них отмахал, чтобы дело не встало. Леха сел на бульдозер, самому же пришлось и за горючим отправляться. Пока ездил, оказалось, что надо вместо мастера в управление по сырью-материалам. А там главный инженер: ты, мол, нам и нужен... В конце концов, что он сде-

лал не так? Он, по крайней мере, никого бульдозером не крошил. Наоборот, ложился пластом, чтоб помочь. Допомогался! Идешь людям навстречу. Заходишь очень далеко... Ну если вы хотите так, пошел во власть. Слыхали, н-народ?

Неизвестный художник Еня Ерохин был в неловкости, потому что оставил у Лехи в квартире много холстов, бутылок и разного барахла. Он поднял к ушам остренькие плечики и обхватил себя длинными ладонями за голову. Он был, как австралийский лемур, маленький, большеголовый, с глазами в разные стороны. И он не знал, что сказать Лехе, который уехал навсегда и вдруг зашел...

— Ты, что, Енька, заболел? Или ты меня не узнал? Я так изменился за какие-то два года?

— Нет, Алексей, почему не узнал. Да я вот насорил там у тебя, а теперь настал ночной мрак. Ты оставайся у нас нынче, я утром там все... улажу.

— Чем ты мог насорить? Красками? Ерунда.

— Нет, я нехорошо насорил. Давай оставайся. Я, правда, унес туда свой тюфяк, мы ляжем на полу, мама постелет. Иди на кухню. О, да у тебя в сундучке-то. Ты стал богатый?

— Я разве был бедный когда? Ни-ког-да. Енька, ты там бордель устроил, признавайся?

— Ну... немножко. А ты... совсем вернулся?

— Да вроде. Наливаю. На площади буду сидеть, на пятом этаже.

— Ух ты. Вкусное... Но там же правители.

— Да я нечаянно, Еня, я не хотел. Веришь, весь, как в дерьме, в этих выборах. Народ вроде выбрал.

— Так это я, что, за тебя, выходит, голосовал?

— Енька! Ведь ты знаешь, как меня звать-то. И биография там была. — Да ведь я не читал. Я думал, вот друга моего лучшего так звали. Только не знал, так ли тебя по отчеству.

— Енька! Мне хреново совсем. Надо помочь, говорят. А меня выворачивает, противно... Я ж другим — всегда готов в лепешку. В чем дело?

— А если тебя просят невозможное? — Еня мягко, ласково улыбался. — Ты же не свят Бог, чтобы все уметь? Невозможное даже.

— Да нет такого.

— Как же нет. Вот я хочу картину нарисовать небывалую. Какой нет еще на свете. Значит, я хочу того, чего нет. А я того сильнее жажду. Остается ждать да молиться.

— Так, что ж, мне тоже молиться? Не вкалывать? Само упадет?

— Зачем же кричать с такой злостью? Эдак ты не просишь, а требуешь. Оттого еще хуже будет.

— Еня, а ты никогда не злишься? Я вообще-то тебя знаю, ты добрый. Но неужели никогда?

— Нет, не злюсь. Если озлюсь, меня карать начнет и я не вынесу... мук. — Значит, у тебя смирение. И ты ничего, кроме картин, не хочешь. И тебе дается... свыше? — Не знаю. Я при моем здоровье давно бы умер, но живу непонятно как. И рисую еще чего-то. А мог бы всю жизни в койке пролежать прикованный. Милость какая ко мне! И к тебе, Леша, милость. Не помнишь?

— Да было вообще-то. Ну я, наверно, просто везун.

— Да нет, не так просто. Ты из тайги камни нес, не умер неделю без еды. Так? Так. На шатуна напоролся, он тебя не тронул. Кровью истек на своем диване, а спасли тебя. Ты ведь должен радоваться. Девчата любят тебя, хотя, может, это тоже испытание...

— Тебе бы таких испытаний, а, Енька? На Волге одну встретил, Еня, друг мой сердечный... Это не девушка, а росное утро.

— Да ведь ты и ее бросил, Леша. Плачет, небось, тоже. Ты бы ее с собой взял, приголубил...

— Где, в Мирном? Или в тайге возле буровой вышки? Среди матюгов? Хотя саднит нутро. Я писал ей, не ответила...

Пришла хмурая Енькина мать с дежурства в больнице.

— Опять пьешь, Еня? Бог накажет, гляди. Я не в силах... Настало время каяться, а ты, Еня, все пуще грешить... Опять некуда ложить в больнице! Некому вступить за нас, грешных. А это кто с тобой? Снова спонсор какой, прости Господи, зашел?

— Мама! Да глянь же ты!

— Теть Ань, это я.

Она встала, заперебирала губами. Мотнула головой.

— Алексей, миленькой. Со спины широкий ты, как спонсор, — тонко принесла, сдавленно. И обнимать его, как травинка вокруг пня. — Ить как начнет Енька квасить, так все, никшни. Мол, спонсор это, угождай. А они заберут картины, напоят и геть отседова.

— Деньги-то давали?

— Куды деньги! На спертизу, мол, сначала надо, а где она, спертизы нет у нас.

— Не плачь, теть Ань. Чего-ничего придумаю. Я в апогей вхожу. А, Енька?

— О, я не знаю. Если тебе слишком трудно, значит, не так, не туда пошел. Всевышний тобой правит, а ты не слушаешь...

Леха Камышин еще долго не мог зайти домой и посмотреть, чем насорил Енька. Он, как депутат, сразу поехал по районам смотреть телефонные сети, потому что ему досталась печать и связь, а в администрацию пришла угрожающая нота от иностранной фирмы по поводу ухнувших средств. Сидел три часа у мэра, мэр про что угодно говорил, только не про сети. Тем временем Леха сходил к директору музея и спросил заключение о работах Ерохина Е.Д. Директор оказался в курсе и сказал, что это редкий автор с неканоническим цветоощущением, только эклектичный. Трудно жанр определить. Что две картины уже музей приобрел, но денег больше нет, вот если бы отдел культуры вмешался... Леха пришел в отдел культуры, а там сидели хорошо одетые высокомерные женщины. Он понял, что тут будет работать как рыба в воде. Он сказал им пятиминутную речь о народном творчестве и плотно закрыл дверь к начальнице. Как и чем он ее убедил, в приемной не видели, не слышали, а зато деньги для музея были перечислены. Через неделю там открылась персональная выставка, и робкого Еню в белой косоворотке снимало телевидение. С больницей оказалось хуже. Сданный несколько лет назад роскошный корпус пошел под реабилитационный центр афганско-чернобыльских дел, а вся областная система томила в клетушках. И пока Леха ужимал центр до одного отделения, а хирургию и кардиологию переселял из клетушек, на него стеной пошли афганцы. Они написали ряд статей и собрали подписи. Много подписей. Ночью кто-то поджег дом на Парковой, и тут Лехе пришлось поехать посмотреть, как он живет. Самое странное оказалось в том, что дом весь почти сгорел, а лестница наверх и Лехина хата остались. Леха с Енькой аккуратно туда вошли и все перенесли к Еньке. Особенно камни. Но это неважно. Он и тогда в экспедиции еду выбросил, камни понес. Из-за них и он цел, и хата цела... Один самый маленький камень он положил в карман. Отобрали двухкомнатную квартиру у скромного труженика коммунального хозяйства, отдали Лехе. Тут же пошли жалобы, посыпались анонимки... Леха отказался от квартиры и ночевал в гостинице. После визита на переговорную станцию взорвалась во дворе Лехина машина, административная «Нива», еще даже не оплаченная. С мэром утомительно было возиться.

Добился после долгих мытарств приема у губернатора. С пеной у рта рассказал о том, кто и как принимал участие в реализации иностранного проекта. Часть ухнувших денег он обнаружил, а часть могла просочиться в госструктуру, ведь проект размещали на уровне администрации. У губернатора сидел тот мэр и первые люди Думы. Вопрос был ясный как белый

день, и губернатор вздохнул.

— Ничего нового вы нам, Алексей Матвеич, не сообщили. Коммерческие структуры будут наказаны. А в остальном ваши домыслы не выдерживают никакой критики. Что значит «могли просочиться»? Документируйте как-то свои слова.

Леха видел, что у него нет ничего против переговорной и это счастье для губернатора. И если начать документировать, то будет что-то страшное.

— Хорошо, я привлеку соответствующие органы.

— Увы. Для этого нужны основания.

— А машина? Вы, что, не понимаете, что это силовое давление?

— Это всего лишь личный вопрос.

Алексей Матвеич вышел из кабинета губернатора и пошел вниз по коридорам власти. Его корежило во все стороны. Он же бурильщик. Но он никак не ожидал, наивный, что его глубокое бурение тут ни к чему. Его народ, видите ли, попросил. Ну, н-народ... Лучше бы тогда поехал доставать трансформатор. А? Он бы достал его, привез, они бы обмыли его всей бригадой и за несколько дней закончили проходку. И как бы тогда на душе было легко, а то ведь, Господи, как проститут какой идешь. Баб тут у них полный дом, только заходи, бери на выбор. Бордель устроили на высшем уровне, ничего не скажешь, не придерешься. Одеты, благоухают, завитки-ноготки, все в высшей степени... И ни одной похожей на девочку с Волги. Легкая моя девочка, воздушная, ненакрашенная. Волна речная, пионерская зорька. Не после нее ли он потерял ориентацию и сорвал резьбу? «Моя дорогая, не ты ли, не ты ли последнюю каплей была...» Показался себе всемогущим и полетел с катушек долой... Может, Еня прав, и он полез не в свое дело? Алексей Матвеич понял, что опять тонет, но уже не во сне. Что тот сон или бред был предупреждением. У него все получалось всегда просто. А тут не получилось ничего, кроме позора. И он потерял равновесие. За ним беда прямо по пяткам пошла. Еще недавно собирался в «деревяшке» ремонт сделать, а она уже сгорела. Только сел на сиденье «Нивы», а уж она распалась на детали. Что касается личного... Пришла пора проведать Альбинку. Он раньше подсознательно себя накалял, не боялся съехать крышей, ведь она всегда была рядом. Она его всегда понимала. Он отлежится у нее, не в гостинице, не в новой хате, где его любой найдет, не крикнешь. А у нее, в задрипанном частном секторе, в заросшем сиренями дворе... Вошел со своим ключом, как когда-то, на кухне обнял сзади и целовать, целовать. Она всегда дома, когда требуется, всегда разнеженная, сонная, бело-розовая, черемушка такая... Сколько бы лет ни п-

рошло! Вот на какой жениться нужно... С такой яростью ее целовал, так судорожно прижимал к себе, что не заметил, что она, как ни дико, сопротивлялась. Что такое, реветь? Еще новости.

— Ты чего, черемуха?

— Любила... — шепотом.

— А теперь? Попрошло? Забыла?

Не ответила. Он пошел в комнатку и увидел. Там была картина с голой смешной Альбинкой, которая ехала на крыше вагона на своем лоскутном покрывалке. Недалеко она уедет. Так ей и позволили...

— Это Енина работа? Чего молчишь?

— Боюсь.

— Боишься, хорошо. Он тоже боялся, что я пойду к себе домой в тот вечер.

Это и был мусор, который он прибрать не успел. Понятно.

— В общем, я останусь у тебя пока, а завтра придумаю, что с вами делать, ага? Но он понял, что ничего с ними не сделаешь. Он даже не лег в Альбинку — пуховую перинку, а на топчан в кладовке, где она белье гладила.

Никогда не задумывался Камышин, что стало с теми, кого он бросил. А тут задумался, и оказалось, что, когда он их наконец бросает, начинается у них нормальная жизнь. Альбинка, конечно, пошла потом к нему на Парковую, а там Еня такой блаженный, весь в картинах, в молитвах... Она была в горе, а он ее приголубил.

— Так или нет было дело? — окликнул он в темноте Альбинку. И она опять ничего не сказала. Плакала, плакала, как ненормальная. Только зацвела, опять заломали. Он утром опять поехал на новую АТС, куда пошли страшные миллионы и миллиарды. Толстый веселый начальник по фамилии Вэн рассказал ему много интересного о том, как приходили контейнеры с импортом, а ставить надо было сразу, прямо ночью занимались монтажом, иначе наутро уже нечего было монтировать. Сначала даже прошляпил несколько контейнеров, подписал накладные, а ящики тью-тью. Сказали — в районы, только в какие? Хотели из него перевалочную базу сделать.

— Слушай, Вэн, давай мы тебя посадим. Для сохранности.

— Не надо. Я им тут нужен. Да ты пока убедишь их всех, это тысяча одна ночь. Губернатор не разрешит никому против.

— А что так? Уверен в честности междугородки?

— Его без уверили — будь здоров. Как будто сам не знаешь.

Камышин не знал. Вьетнамский добрый начальник АТС опять вернул Алексею Матвейчу веру в людей. Посмотри-ка, не все ведь такие бульдозеры... Есть нормальные мужики, ко-

торые не делают из тебя идиота, не пинают, им нечего скрывать, даже папки с документами в руки дают... Даже началось какое-то просветление. Все везде было глухо, ватно, и на тебе — забрезжило. Камышин пошел проникаться движением основных средств — и за голову схватился. Это ж месяц надо сидеть, да не одному, с бухгалтером. Неужели губернатор не в курсе?

Через два дня начальник строящейся АТС — веселый Вэн — скончался от сердечного тромба. Камышин оцепенело поехал на похороны и ему казалось, что все родственники, дети, друзья, все смотрели на него, как на фашиста. Зря поехал хоронить! Никому не помог и сам засветился. Белый свет перевернулся в глазах Алексея Матвеича. Мелкий дробный дождичек делал лица и землю свинцовыми, жирно блестящими. По вьетнамскому обычаю в грязь густо сыпали мелкие деньги. Духовой оркестр сдавливал уши и горло, хотелось орать от этой сдавливающей боли, но все онемело. И вот когда он вышел с кладбища, два низкорослых восточных мальчика в очках его достали и насовали рожей в глину, ногой в пах. Видно, было указание не убирать, просто извалить — типа «не лезь куда не надо». Он приполз на карачках в гостиницу и долго лежал без движения, зажав в кулаке свой камень. После побоев, от пульсирующей боли сверху — ему стало легко внутри. Вскоре областная газета напечатала мелкое извещение о лишении Камышина А.М. - депутатских полномочий. Мол, собрались трудовые коллективы такой-то трассы и отозвали товарища, который не оправдал их надежд. Всего полгода жевали коридоры власти. Наконец выплюнули.

Тогда Алексей Матвеич в полном недоумении взял водку «Московскую», пошел на городской рынок, сел у забора на ящик рядом с седеньким нищим в соломе и стал петь под гитару. Ему казалось — так переполнен, что рванет, ой как рванет. Хотел успеть что-то выкричать. «То скользну под горку юзом, вспомнилось ему, — то по рытвинам, ну куда с таким-то грузом, может выкинуть? Широка душа бродяжья, без обочины. Так и сгину мимо каждых, между прочими...»

— Глянь, е-мое, депутат.

— Да вот, мы его выбирали, верили, а он...

— Столько обещал, падла, ничо не сделал. Все они такие.

Стали кидать в него огрызками да всякой дрянью. Он подумал: а что, долго будут кидать? Отряхнулся. И дальше запел. У него под глазами были мешки после кладбища, но он бодро держался. Отхлебнул из пузырьчика — и дальше. «И губы от имени бога устали, и воля смертельно больна... Моя дорогая, тогда не тебя ли я выиил из фляжки до дна...» И пояснял походу дела:

— Это сочинил не я. Это парень один на трассе Уренгой, звали Андрюша. Двадцать почти песен его знаю, сразу схватил, а фамилию — нет, не помню. Может, слышали? Услышали или нет, но перестали кидать. Он дальше пел. Часов шесть. Он много песен знал, голос был, инструмент тоже. Стало темнеть, осенью подуло. А он в костюме... Кто разошелся, кто стоял, человек пятьдесят, может, сто. Сторожу ворота рынка не дали закрыть. Это родной ведь город. Был. Его тут все знали. Ну, на что он надеялся? Что придут «супруги Ерохины», тетя Аня, Алексан Сеич, плотники из театра... И что? Обнимут за плечи и уведут? Но никто никогда не скажет тебе спасибо, даже если сделал что хорошее. Ведь ты не ради этого рвался. А ничего хорошего Камышин и не сделал, не успел! Хотел, видите ли, но хотеть мало. Теперь поздно. Куда теперь? Есть только одно место на земном шаре, куда бы он приполз перед смертью. Это не какой-то райский оазис, это просто бетонная московская общага... Там живет одна пионерка, которая умеет ездить на американских горках в финских белых сапогах. Она ему дверь фанерную откроет и закричит, а он ей скажет, что вот и все. Мол, правда, я быстро ходил в магазин?..

«Мне не выплыть,- думалось ему. — Я уже не на плаву, наде. Уже не поднимусь». В окрестных дворах завывала собака нечеловечьим голосом. Совсем так же трубно, как тогда, когда умирал после развода... Над его головой колыхалось что-то темное. Надо наверх. Ведь рак же водяной, плавучий...

— Пьяный вроде... — говорили зеваки. — Может, вытрезвуху вызвать?

«Прощай, вот уж кровь загустела, как камень, — беззаботно пел Леха, — и я, холодея, пойму, что там где до дна не достанешь руками, последний глоток ни к чему...» И смотрел, кидают мусор или нет. Но нет, утихли. Денег зато — как нищему — накидали. Полный целлофановый мешок смятых денег. Ну, кто его поймет, народ этот? Нну, народ... Так с этим мешком, с песнями, избитый и ушел. И больше его здесь никто не видел. Даже Ерохин, его близкий друг, приголубивший чужое счастье. Ведь для него Леха Камышин оказался слаб в своих мыслях, а потому и в своих деяниях. Успех, как казалось теперь Еньке, все равно пришел бы к художнику своим путем, никакой Леха Камышин судьбу не заменит...

Путь же самого Камышина неисповедим, как бы его душа ни принадлежала Господу. В тот момент, когда он решил, что пропал, его уже уносило в иные сферы. Его высшие силы уводили от этого места, от этих людей — к себе... Упование надобро легко оборачивается злом. А дух еще не окреп, а молодость бушует, и «партбилет любви оказывается пробит навы-

лет», и наши ласточки витают в кругах ада... И приходится вспоминать старые старты, даже если сгорело все, кроме лестницы. Но пускай хоть она-то цела, хоть одна ступенька, шагни. Это и будет начало подъема. Выход из перигея.

## АЛЛЕРГИЯ

Тревожный свет заполнил ночь. И темнота, разбавленная небом, и теплая заварка лампы. Ребенок все не спал, гудел, как трансформатор, а Гера все качала и качала. Стояла босиком, не чувствуя холодный пол, глаза не различали стрелки, время. Тут дверь открылась тихо, не скрипя, как крышка от катушки. Конечно, благоверный на пороге. Опять под утро и опять в парадной форме.

— Мадонна с мадоненком... Ну однохренственно... Отставить ужин. Если только чаю...

— Опять с мальчишника? И сильно перебрал.

Он медленно наставил автомат.

— Не смей перечить. Я женщину воспитываю плетью.

— Разбудишь мне ребенка.

— Укачаешь.

Шарахнул выстрел, а потом другой. Ребенок сразу же захныкал.

— Ну ты с ума сошел, ведь тут не полигон. Давай убей, потом удавишься от горя. Осколков-то... О Господи... Да почему же ты в крестах немецких, Боря?! ...

Как подло жизнь вырастает в сон. Девчонкой Гера видела кино с любимой Роми Шнайдер в главной роли. Ее сжигали огнем, а муж потом все мстил, «снимая» фрицев из старинного ружья. У Геры страх наоборот: муж вроде фрица, с автоматом и в немецкой форме. А жар у сына вовсе не во сне... И забываясь судорожным сном, сползая на пол, вскакивая с криком, он мало походил на человека. Укачивался жалобным «а-а», звал мать, но весь в горячке, хлопал по лицу. «Ну что ты, маленький?» А маленький ее не узнавал, да и она его. Свет лампочки-гриба выхватывал из тьмы лишь маску — широкое тупое переносье, буграми кожа, волосы прилипли... А был до хвори сладкий и красивый, реклама — не ребенок... За непереносимость сульфаниламидов, а может, эритромицинов — лекарственная аллергия, вот дракон семиголовый. В слезах она бросалась снегом к сыну...

Трое суток шла температурная осада, незаметно переходя из ночи в день. Гера боялась оставлять ребенка в стационаре

и сама колола его по часовому графику. Приехали участковая, лечащий аллерголог, оценили обстановку. С трудом лавируя среди слов «кризис», «лазикс» и «синдром Симпсона-Джонса», Гера пыталась понять, насколько все плохо.

— Сегодня последний литический и супрастин... Шприцы в порядке?

— А? Что? Да, сделаю.

— Так вот, страшное позади. Сегодня мы постараемся сестру прислать, чтобы вы поспали.

— Да зачем, я сама...

— Вы у нас, мамочка, молодцом держитесь, но передохнуть надо. Очаги уже локализовались. Поите обильно и не волнуйтесь...

Участковая погладила Геру по плечу и вышла. Гера стояла как в столбняке и не соображала, что делать. Напряжение многих часов не отпускало ее. Так, сначала надо вынести сброшенные Тимкой битые чашки. Мокрые полотенца. Не нужны теперь. Прокипятить шприцы... А где коробка с ампулами? Она на диван опустилась, как в омут. Отдохнуть бы... Но тут же ахнула, вскочила: показалось, что позвал ребенок. Подбежала и взгляделась — спит.

Часы давно стояли. А за окном тихонько разливалось неуместное в горе солнце. Гера напилась воды из-под крана, отыскала плед. Укутываясь, Гера вспомнила, как беременная ходила на пляж и чтоб не перегреться, закапывалась в песок. Она старательно рыла углубление для себя и будущего Тимы, она была как будто бы большая черепаха, которая выводит потомство в песке. Она так хотела ребенка, который все не получался. А она знала, что получится. И может, состояние тихого упорства и покорности одновременно ей помогло... Она боялась и надеялась, лишь Боря Багрецов ничего не боялся и все воспринимал как должное. По случаю крещения первенца он закатил громкую пьянку, назвал десяток своих вояк. Ночь целую не смолкал тогда в квартире хохот и грохот. Новоявленная мать смиренно качала первенца на руках и думала: «Как же так? Велено ведь на руки не брать, а он только на руках и спит... И что-то Боря расхотелся? Уж будто всем хочет свое счастье доказать! Все и так понимают...» Под утро пьяный и великолепный Боря Багрецов сам вымыл всю посуду и заявился в спальню требовать свое. Он заставил положить ребенка в кроватку. Распутал поясок халата. — Я тебе пеньюар купил или нет? Сколько раз говорить? Поставил лампу-грибок на пол и стал смотреть, как женщина ежится и покрывается пупырышками. Потом накинулся с хрипом, как с горы свалился. Бесплезно было отстранять, умолять, мол, погоди, не сразу... Это у него твердо

называлось — любовь, и никаких там. А эта женщина боялась насильного, боялась сивухи, отворачивалась. Но стоило ей замереть, отрешиться — делай что хочешь! — он еще больше стал грубел и грубел. Таких, как он, покорством не разжалобишь.

— Теперь вот так. — Ну хватит, Боря, хва... А...

Но нет, ему не «хва», он ее кидал и узлом завязывал.

— Боря, стой, он же плачет. — Еще чего.

Ребенок заливался, мать рвалась к нему и всхлипывала, а Боря работал, как насос, даже с ритма не сбился. Когда она наконец наклонилась над кроватью, набросив халатик на одно плечо, дите уже совсем развернулось и дрыгало озябшими ножками. Пришлось на скорую руку в темноте пеленать. Лампа, сшибленная в спешке ногой, закатилась под кровать. Но Боря лишь пророкотал:

— Неженка ты у меня.

И тут же заснул. Он свое захотел — он свое взял. А Гера опять проснулась и вынырнула из слез, из той жизни — в эту. Она стонала от унижения, которое началось, началось несмотря на штамп в паспорте. Она выгибалась как лук, забыв, что это уже как бы прошлое. Ведь вытаивало, уходило восхищение, толкнувшее ее к этому человеку. Как это пережить? Чем тушить сжигающую горечь?

— Мама, — раздельно сказал голосок, — мама, дай сок.

Это Тима! В себя пришел и запросил попить. Ну, мы теперь живем, ребятки! Сил будем набираться, выздоравливать, пора и в магазин сходить, а то еда вся кончилась. Папа служит в гарнизоне, там все пески да пески, целые горы песка, не пройти, не проехать. Мы должны все сами, сами...

Поздно вечером Гера прибиралась и мыла полы впервые за эту страшную неделю. Тимины рубашки развесила над плитой на кухне, и осталось только вынести на мусорку ведро. За гаражами на асфальтовом пяточке слишком высокий человек вешал белье, веревки ему были на уровне плеч. Днем она, наверно, не обратила бы на него внимания, но в сумерках он показался ей не просто грустным и одиноким, но и знакомым. Где-то виденным! Но память до конца не срабатывала. И вдруг он сам обернулся к ней, точно расслышал ее любопытство.

— Простите, «скорую» видел у подъезда, это не к вам?..

— Да, это я вызывала, сын у меня с аллергией. Тяжело было, но кризис прошел, кажется. А почему вы решили, что ко мне?

— Вы такая бледненькая, пережившая. Намучились, наверно. Я вас понимаю, у меня самого мама после инсульта. Куда деваться?!

— Вы из нашего дома? — Гера была уверена, что да.

— Нет, из углового. А этаж один, и у нас с вами балконы напротив.

— А что это вы делаете с пододеяльником? Дайте.

— Что-то не так? Право, мне неловко с моим тряпьем...

— Да нет, нормально. Только давайте я это сама повешу, а вы пока подержите это синее, оно может полинять на белый пододеяльник, и весь ваш труд — насмарку.

— Спасибо огромное, я редко стираю без мамы. Сегодня, знаете, сестру ждал с уколами, вот и замешкался до вечера. А она так и не пришла во второй раз.

— У вас проблема с уколами? Так давайте я сделаю, я сына сама колола...

— Вы для меня спасение! Провидение! Судьба! Простите, впрочем, я слишком...

— Не извиняйтесь, — Гера внимательно посмотрела на собеседника. — Дело житейское. Я пойду, у меня ребенок один, хоть и спит...

— Так я буду ждать вас завтра? Шестнадцатая квартира, не забудете? — Разве можно? До завтра...

Последние слова они проговорили шепотом. Потому что светлая северная ночь была поразительно тихой. Им ничто не мешало встретиться, переброситься первыми незначительными фразами. Никто не гремел, не шумел, не подглядывал. Пододеяльники важно надувались прохладным ветром и покачивались, как парусники судьбы. И темные тяжелые волосы женщины вздрагивали крылышками при каждом шаге. О легкость шагов, когда смотрят тебе вслед... О радость пасмурного утра, когда все тело ломит и глаза щиплют от недосыпа, но через окно видно полоску тюля на раскрытой балконной двери. Там, конечно, уже встали.

— Мама, дай сыр-р. Кот-летку. Яблочко.

Победные позывные ожившего Тимы неслись по квартире, и Гера, улыбаясь, летала по кухне с тарелочками и сковородочками. Долой токсины. Долой печаль и горе. Живем, живем! С балкона поклонился давешний сосед.

— Иду, иду, я только Тиму покормлю.

Она торопилась, а сама себе думала: «Ой, какой старый. Сколько же ему лет? Хотя какая разница...» Тиму пришлось взять с собой, и он тут же шмыгнул в глубину квартиры на разведку. Пока Гера кипятила иглы, он успел исследовать балкон и одежный шкаф в прихожей. Сосед как ошпаренный убежал в магазин, предоставив Гере самой знакомиться с больной матерью. Слишком уж доверчивый... А недоверие — свойство низких натур, написано в календаре.

— Ты бабушка? — бесцеремонно спросил Тима больную.

— Бабушка, — проскрипела старушка, — а ты кто таков будешь?

— А я серый волк, — не растерялся Тима. — Уколов боишься?

— Нет, не боюсь. Я от них вылечусь и встану.

— А вот мама тебе сделает лазикс — ты тошнить будешь, — наставительно произнес Тима и удалился.

— Уже знает, что такое лазикс, — поразилась старушка, — бедное дитя! Северин говорил мне, что вы помогли ему с бельем.

— Ну, ерунда.

— О нет, это чутко с вашей стороны. Вы так добры, что согласились прийти. Не придумаю, как вас благодарить... И колете небожно. Вы разве учились?

— Да нет, сама. Ребенка жалко мучить по очередям.

— А матушка ваша...

— Ой, они далеко с папой. А муж — в Средней Азии, в гарнизоне. — Гера зачем-то вылезла с этим мужем, кто ее только за язык тянул. Но старушка сочувственно закивала.

— Да-да, вам нелегко приходится. Но это временно, вы крепитесь, дорогая, мальчик подрастет, все уладится... — она поправила ветхую ночную рубашку из фланели, вздохнула: — А вот и кормилец наш пришел. Что, Сева, достал ли сливок? Тогда сделай мне чай по-английски. И гостью попоишь.

Чай со сливками был густой, ароматный, невероятно вкусный даже без сахара. А тут еще был колотый рафинад и щипчики малюсенькие, мельхиоровые. Бутерброды, варенье...

— Но, Сева, ваш чай остыл уже.

— Вы сами пейте, я успею. Кстати, как вас зовут?

— Георгина, а по-домашнему — Гера.

— Женщина-цветок, — он покачал головой. — Тревожное имя. В нем одновременно и яркость, и увядание.

Привыкшая стоять на кухне во время завтрака мужа, Гера сильно смущалась и краснела. Здесь все делалось и говорилось ради нее. Она, забитая, тут царила.

— Ой, вы ничего не едите.

— Да не тревожьтесь вы об этом. Вот когда сидишь и в одиночку чай пьешь — о, да, все съешь и выпьешь, куда деваться. А ведь настоящий чай, как в старину, — это не еда, но прежде всего беседа. Радость встречи друг с другом. И утренний чай, когда времени не так много — дневные заботы впереди, и тем белее чай вечерний. Это праздник. Почти всегда — гости. И какие диковинные истории приберегались для этого, какие споры закипали... «Сила нечистая — наказание, ниспосланное свыше, или простое продолжение порока, его материа-

лизация? Кто победит в дискуссии западников и славянофилов? В чем задачи искусства — зеркально отражать реальность либо вставать над ней, стремясь к вечно недостижимой истине? Переводить ли сельские уголья на иноземные рельсы или искать своих путей?...» Но горячность в дискуссиях никогда не перехлестывала через край. А какие чудные романсы пелись в старых гостиных! Боже мой. «Она у вас просить стыдится — подайте ж милостыню ей, подайте ж милостыню ей...» «Печаль и свет из лабиринтов памяти...» Наслаждались каждым звуком, как яблочным ароматом. «А как вы варите варенье из китайки? Такой густой сироп, и в то же время такая крепость плода... Да, варенья много сварили, но что касается меда с новой пасеки...»

— Да вы просто Левин какой-то! — засмеялась Гера. — И от вашего чая голова кружится.

— Левин? — усмехнулся Сева. — Без Кити Щербацкой.

Она внутренне запнулась обо что-то. Это он делает знак ей? Она сразу испугалась, заторопилась. Верней, засобиравалась уходить, маскируя полнейшее нежелание уходить. Она выбралась из кухни и увидела, что больная мирно спит после чая по-английски, а Тима вытащил все пластинки и книги и построил из них домик.

— Тима, что ты наделал? Немедленно...

— Нет, Тима, ты молодец, — Сева заслонил безобразную гору на полу. — Хорошо поиграл. А я все уберу потом.

— Нам пора.

— Да-да, понимаю. «Что он понимает? Что я не хочу быть за Кити?» — подумала Гера.

— Нам еще надо гулять, варить обед, в магазин, в поликлинику...

— Конечно. Только вот это возьмите.

— Что это? Зачем? У нас есть деньги, мы ходим...

— Возьмите, это молоко, ромштексы, хлеб ржаной. Я же только что из магазина, мне нетрудно, а вам меньше заботы...

— Но мне неудобно.

— Все удобно. Вот еще болгарский компот — маме выдали как ветерану, но она не переносит слив.

— Спасибо. Как бы я без вас...

— А как бы я? Как бы мама? Они там в поликлиниках совсем не волнуются, жива ли пациентка, что с ней без укола стало.

Гера укладывала пакетики в чужую сетку и нарочно долго возилась, чтобы отдалить уход. И тайно смотрела на него, запоминала, чтобы унести с собой. Слишком длинные русые волосы, как у поздних «Битлов». Большие глаза с тяжелыми ве-

ками, глубоко посаженные под сумрачным лбом, в резких складках худое лицо. Весь какой-то долговязый, продолжительный, практически неподвижный, хотя все время что-то делал. Рубаха на нем была большая и линялая, потерявшая цвет и смысл, похожая скорее на старый парус. Рукава завернуты. Один рукав развернулся, и стало видно постыдную бахрому. Может, бедность. А может, равнодушие к материальному. Кто знает.

Через несколько дней Сева зашел и предложил погулять с Тимой. Оказалось, к его маме приехала из Норильска сестра, тетя Броня. Стало быть, присмотр маме обеспечен, да и поговорить им есть о чем.

— Когда я выходной в одном месте, могу и должен приносить пользу в другом.

— А он пойдет с вами? — озаботилась Гера. — Он все с мамой да с мамой.

— Договоримся. Тима, ты куда больше хочешь — в зоопарк или просто в парк, на карусели?

— Я — к бегемоту.

И пока они ходили в зоопарк, потом к тете Соне-тете Броне на обед, Гера тихий героизм проявляла — белила кухню. Она боялась, что такого хорошего случая больше не выпадет. А вечером Сева пришел и помог ей все мыть. Он высоко доставал, полки вешал без табуреток, при минимуме усилий был так легок в движеньях. Гера на это удивилась: как будто от рук все само летает. Он ответил, что привык все делать сам. Но и Гера все делала сама, и Боря все делал сам. Хитрость в том, как уповательно то же самое делать вместе. Она мыла залитую побелкой газовую плиту, он скоблил решетку.

— Сева, это не надо. Вы самое тяжелое сделали, остальное уж ладно. Ну мне неудобно, я и так...

— То я извинялся, то вы теперь начали. Сколько можно? Вам не приходит в голову, что мне вовсе не хочется отсюда уходить? До утра бы стал эти решетки скоблить. — Но ваша помощь уже зашла за границы простой вежливости. Вы же...

— Мне кажется, помощь вам нужна не только с решетками. Он наклонился со своей башенной высоты к ее губам. Невозможно, немыслимо... Боря всегда втягивал по плечи, до полного отключения кислорода. А тут — тихо-тихо, робко-робко, ворожа, обволакивая. Тело стало тяжелым и теплым.

— Я... Я в побелке, — выдохнула Гера.

— На вас грубые следы бытия. Но сами вы совершенство.

— Почему?

— Разве надо доказывать? Потому что у вас в лице нет ни одного колючего угла, ни одной ломаной линии. Где слезинки выступают — тоже овал. Глаза, рот — все круглое, губы пух-

лые, как у негроидов, смуглая кожа мулатки... Так и видишь, как пробирается это грациозное существо через буйную зелень сельвы...

— Ничего себе мулатка. Ходит по вечерам на мусорку с полойным ведром. А вы скучно вешаете пододеяльники.

— Но с тех пор я полюбил нашу мусорку. Хожу туда по делу и без дела. Я в бешенстве, что мусорное ведро заполняется слишком медленно.

— А мне нравится белить. Полки вешать. Решетки чистить...

— И ничего теперь не мешает, верно?

Гера засмеялась.

— Совесть мешает.

— Совесть всегда мешает получать удовольствие. А вы преодолевайте преграды. Давайте, например, ночевать на этой кухне. Здесь так чисто, это очищает...

— Ночевать мы не будем. Трах. Повисла пауза.

— Как хотите, дорогие девятиклассники. Хотя мне казалось, что вы уже перешли в десятый.

— Я вас обидела, простите как-нибудь. Но с вами говорить так приятно. Не хочется останавливаться. Знаете, пойдете сядем в комнате. Тима спит за дверью, он не проснется. В баре есть какая-нибудь красивая бутылка. И поговорим.

В баре действительно оказался финский клюквенный ликер. Сева не любил ликер, но не стал признаваться. Он видел, что человек изголодался по людям. И хотя у него на уме было совсем другое, он улыбался. Пусть стихии отбушуют. Видно же, что она сильно заинтересована, но что-то ее держит. Что? А Гера и сама не знала. Она попала на конвейер и неумолимо двигалась. Иногда ей казалось, что ее двигают против воли, но чтобы как-то воспротивиться — ни сил, ни времени не было. А тут конвейер выключили. Можно соскочить и увидеть, что же происходит-то. Прожила на свете двадцать пять лет, а без толку. Одно горе беспросветное.

— Тогда мы еще всей семьей тут жили. Это потом мама захотела разменять квартиру, и они уехали на родину. А я была обычная домашняя девочка, никуда не ходила. Институт здесь же кончала, но по танцуйкам было бегать лень, не люблю такое тра-ля-ля. Зато Лина Столова везде, везде мелькала, это подруга моя. Она и билеты в Дом моряка принесла. Еле уговорила пойти! А там — столько народу! Багрецов — в парадном обмундировании, цвет индиго с золотом, на погонах молнии... Конечно, он и сам был красивый. Жгучий брюнет, украинец, крутая бровь, баловень всеобщий. Все вокруг таяли, вот и я... Массовик-затейник придумывал всякие глупые игры, напри-

мер, подбрасывал незаметно золотые часы, потом якобы находил. Багрецов стоял с завязанными глазами, потом по сигналу пошел ко мне и вытащил часы из моей сумки. Все засмеялись, я чуть не провалилась. Пошли танцевать...

— Польку или краковяк? — участливо спросил Сева.

— Какой краковяк? Вы издеваетесь? — опешила Гера. — Никто теперь не помнит... Буги-вуги помнят, а это... Нет мы танцевали танго, вальс... Багрецов партнер хороший... Ой, вы просто с толку меня сбили.

— Да я пошутил. Продолжайте. Танцевали танго, он вас обнимал...

— Ну да... Спросил, как зовут. А как услышал, так сразу — «Георгина Багрецова, звучит!»

— Георгина Краевская. Тоже неплохо звучит.

— Вы опять. Сева, вы разве не понимаете, что мы это не должны обсуждать?

— Почему? Поговорить — и то сладко. Больше не буду. Дальше.

— Дальше Лина Столова стала нагнетать, мол, не упускай свой шанс. Маме разболтала. Родителям он сразу понравился, одобрили. Как такого не одобришь? Любил нагряться, засыпать подарками, блистать, быть в центре. Он и сейчас такой, знаете, победитель. Гремит, как «КрАЗ», — и прочь с дороги.

— Значит, все хорошо? Сильный самец, победитель, все верно.

— Нет, не все, подождите. У меня было нехорошее предчувствие, но я не могла это ничем подтвердить. Все твердили: не капризничай, чего еще искать. А я и не искала, знаете, мне хорошо было и так. Это родители с ума сходили, что я одна останусь. И Лина тоже. Мне надоело это тра-ля-ля про последний шанс, я решилась.

— Разочаровались?

— Сначала — нет. Боря умеет ошеломлять. Как поженились, велел с работы уходить: на пивзаводе технологом была. Заявил, что не позволит мне в таком злочном месте находиться. А чем оно злочное? Линия по розливу пива и безалкогольных напитков импортная, халаты на всех белые. Может, он думал, что там все сусло из автоклавов цедят? Смешно. В общем, ушла с работы. И по дому строгости проявлял — готовь ему вкусно, пеньюар переодевай. Пеньюар из немецкого дедерона, скользкий, холодный, я сразу его возненавидела. Я холстинку люблю, батист — простое, к телу льнущее. Свитер себе связала из лоскутов, юбку сшила из пестрого драп-хохотунчика. А он кричит — выкинь одежду старушечью, не позорься. Должна соответствовать. Но я, наверно, не гожусь в идеальные жены.

Особенно если учесть сегодняшнюю побелку... А вы как думаете?

Но Сева быстро ответить не мог, потому что он целовал, целовал ее руки, колени, забрызганный побелкой халатик, он не хотел парадно восседать в кресле напротив либо рядом, он сидел на полу возле ее ног, похожий скорее на побежденного, чем на победителя. Но он и не хотел ничего другого. — Бесценная женщина, вы сама не понимаете, какая вы... Георгины появились на месте последнего угасшего костра. В царстве мрака и холода, когда по земле угрожающе полз ледник, полыхание цветов было знаком, что этот холод не вечен. Что жизнь и радость воскреснут когда-нибудь. Это такой символ... А вы все время думаете о внешнем, о том, как это со стороны. Но главное — это вы сами. Как вы ощущаете, лучше или хуже от этого вам.

— О себе думать грех, надо думать о тех, кто рядом. Чтобы им жизнь облегчить.

— А если ваш супруг думает не о вас, а о своем реноме?

— Нет, обо мне, он на свой лад меня любит. Как та девушка у Лавренева, которая застрелила своего белого офицера. Как матрос, что ударил женщину утюгом. — Оригинальное толкование любви, ничего не скажешь.

— А это не я придумала... Ну вот вы. Вам понравилась женщина, у вас сразу мысли — целовать, ночевать... Вы же не о женщине думаете, а о том, как ее... победить. А она думает совсем не об этом. И если не будете разбираться, ничего для себя не добьетесь.

— Надо же, Гера, вы такая юная, когда вы успели так ожесточиться? Добиться, интересы... Ведь это не война, не торговля... Вы рассказали свою историю, теперь послушайте мою. Вас не оскорбит, что я при вас говорю о другой женщине? Все-таки я немолод, полжизни уже прожил... Я обнаружил ее в филармонии. Полупустой зал, вечер скрипичных опусов. Она нахохленная, в белом свитере. Прозрачные виски и вены на запястьях. Ненадежное, хрупкое существо. Комок из нервов, прикоснуться было страшно. Ходили по концертам и по мерзлым паркам, и разговоры наши были страшнее холода. Я мог после вечера в ее общежитии уйти совершенно раздавленный. Мне трудно было угадывать ее капризы. За грубости и ошибки она наказывала меня, прогоняла... И я учился понимать по мелочам — по возгласу, по жесту... Однажды мы сидели у нее, она опять хворала и лежала вся в жару. Она вообще болела слишком часто, добывая себя коньяком. В тот раз я обложил ее горчишками, грелками, сел рядом. Она наслаждалась, видя, ка-

к вожусь с ней, прикоснуться к ней не смея. Гладил руки, волосы, целовал — смешно сказать — ее одеяло. Тогда она, постанывая от горчичников, вся мокрая и горячая, вдруг указала мне лечь, глазами указала. Я забито стал раздеваться, я слушался ее, а тут еще и то, о чем мечтал. Через минуту она сама упала мне на грудь прямо в этих горчичниках, мы обезумели, все перемазались... Великодушно извините... Когда такое повторялось, я не сомневался, что нужен. Она умела дать понять. Известие о ребенке потрясло, я тут же сделал ей предложение. И получил отказ! Умолял ее как только мог, но бесполезно. Мне не хотелось дальше жить, вы знаете... Даже матушка не догадывалась, насколько я был близок к тому, чтобы ее покинуть. Все оказалось просто: не любила. Лишь только так, чтобы забыть другого. Ну как горчичник. Маленький ожог, потом выбросить. И самое горькое здесь то, что она все же вышла за того, кого пыталась забыть. У нее остался от меня ребенок, но любила она не меня. А его. Который издевался, бил, но «имел на это право»... Я неопасен, уверяю вас. Ну да, я тут у ваших ног, но ровно столько, чтобы не наскучить. Скажите, о чем вы грустите? О пестрых юбках? Но, золотая моя, вы еще такое дитя. Конечно, вы устали уступать, забудьте. Но если он вернется, все пойдет по-старому. Все только так, как захотите вы. Гера неслышно убирала капельки со щек.

— Нет, я не хочу так. Так нельзя... Жестоко. Но у вас, как у меня. С чем столкнулись — то и стало застить всю жизнь. А может, не все такие, как она, как... Должно когда-то пресечься наказание... Я раньше думала: высшая жизнь, в которой смысл и жалость, — она только в книгах и кино. А с вами говорю, и получается, что эта высшая жизнь прямо тут, настоящая и есть. И вроде даже не вы ее принесли или сделали, а идет она из меня, из глубины моей. Ничего не понимаю! Всегда была глупой, никчемной, мне все указывали, я слушалась. Но вот сейчас как будто и меня спрашивают, как будто и от меня что-то зависит. Я тоже могу казнить и миловать! Так приятно, радостно это. И почему я ничего сама про себя не знаю, а вы чужой, и говорите мне про меня же? Про георгины вы раньше знали или специально стали искать, когда имя услышали?

— Нет, раньше я не знал. Я тогда после первого вашего укула достал из завалов книгу под названием «Легенды о цветах». Там стал искать георгины, а потом еще много чего нашел. Прелестное издание. Вам ничего, что я так бесцеремонно разлежусь на ваших коленях?

— Это — бесцеремонно? Впервые вижу, как высок человек, опустившийся на колени. Не спускайтесь же оттуда... И вот так они просидели всю ночь. Она — в кресле, он — рядом на полу.

О, оборванные, неприглядные влюбленные, чистые люди в грязной одежде, руки не могли расцепить. И ночь жалела их, не кончалась, она струилась и лепетала. Являлось простое, хотя и самое зыбкое на свете чудо: когда начинаешь вдруг ценить не себя, а чужого. Не свою, а его усталую и беззащитную жизнь. Когда это случается, какие обстоятельства сопутствуют — никакой разницы! Люди встречаются на белой корабельной палубе, на закуренной тамбурной площадке, в театре или на помойке, как в этой истории, но разъединенные половины сближаются, и вспыхивает дуговая сварка. И они уже одно, где бы ни находились. Одно, даже если не слились в любовном объятии. Одно, даже если расстанутся. Раньше Гера торопилась на кухню прибежать, галопом сварить суп и еще быстрее убежать. Ей было некогда разводить пожиже, ее утро уходило на магазин и гулянье с Тимой, а после обеда, когда он спал, хотелось и пошить, и почитать. Но на сей раз Гера на кухне застряла. Суп она варила на две кастрюли сразу, чтобы облегчить жизнь тете Соне и тете Тоне. А потом ей хотелось поварить варенье из китайки, попалась дешевая в овощном. Может, уж — не такое царское варенье с усадьбы, про которое ей вещал Сева Краевский, но все же. За Тиму тоже можно было не волноваться, Сева взял шефство и строго следил, чтобы Тима и общался, и не дрался, и рыл норы в песке, и не был мокрым.

Гера как раз мыла яблочки и раскладывала на газеты сушить, когда пришла Лина Столова, кудрявая душенька нового времени. На ней всегда было все новое, модное, и вечно на ней лопалось. Вечно она приходила с ворохом новых шмоток и новых сплетен! Веселая и загорелая, она обняла худую, в облезлой цыганской юбке Геру. И сразу начала энергично хрустеть упаковкой.

— Ну и Зверев, ну и отколол коленце... Представь: идет сегодня по проспекту, рядом вертихвостка. Он ее за плечи держит... Кстати, что ты ко мне не пришла в выходной, как обещала? Мне бы не пришлось всю эту гору к тебе тащить по такой жаре.

— Как бы я пришла, если Тиме «скорую» вызывала? Аллергия опять.

— А сейчас?

— Сейчас уже все. Так что там Зверев с вертихвосткой? — Гера удачно вспомнила, что Зверев у Лины — последняя любовь.

— Вот слушай: он ее за плечи, она его за талию, вообще прижались. Бесстыдство. Но я хоть бы что, ты мою выдержку знаешь. Поздоровалась — и дальше. Пусть подлец перед женами отчитывается. А через десять минут зашла в кафетерий

попить, он ко мне пилит — познакомься, говорит, Лина, это моя дочь. Я чуть с катушек не полетела.

— Почему? Подошел, признал... — Гера отставила супы и начала наводить сироп.

— Как почему? Неужели ему в момент зачатия пятнадцать было? — А ей сколько? — заинтересовалась Гера.

— Наверно, столько же! Ему же недавно тридцать отмечали! Нет, это провокация. Хочет на мой возраст намекнуть. Старуху из меня делает.

— А если, правда, дочь?

— Тогда мне придется в ящик сыграть... Рубахи мужские тебе не надо...

— Нет, покажи.

— Зачем? Борька всегда сам выбирает, а его нет.

— Вон та сколько?

— Цена ручкой написана на пакете. Детский трикотаж — конфетка. Не берешь? А вот это для тебя, крепостная. Шелк с люреksom. Лиф слишком открытый, правда, голые плечи — это для детей миллионеров, но зато и накидушка есть, смотри. А юбочка плиссе каймовая! Предупреждаю: при стирке не расходится, у меня черная такая. И зеленое тебе идет.

— Лина, ты откуда знаешь, что зеленое платье — это моя мечта?

— Так я тебя не первый год знаю. И в тряпках кой-чего волоку. Меня просто возмущает, что жена офицера лучшие годы проживает в затрепанном джинсовом платице. А эта зеленая хламида делает из тебя даму... Да меряй скорей, влезай на мои шпильки, ничего, у нас один размер. На лиф не обращай внимания, блузон запахни... Волосы можно на одну сторону, подчесать и приподнять... Ну как?

— Лина, это не я. Ой, не могу, не я, а дочь миллионера. И тут Гера заметила стоящего у косяка двери Севу. Он смотрел на женскую возню благоговейно, в глазах переливалось что-то в роде слез.

— Что случилось? Тима?..

— Тима построил дорогу и отправил меня за самосвалом.

— А-а... А как я вам в зеленом платье? — Как смуглая наяды в солнечной листве. Как божество, явившееся смертному, после чего сердце его разорвалось. Наяда сморгнула каплю и покачала головой. Лина смотрела, смотрела, ничего не понимала, потом вспылила.

— Герка, что происходит? Кто этот сумасшедший? Что он несет? Да вы оба, наверно, рехнулись.

— А почему вы допрашиваете меня, сударыня, по какому праву? Вы, что, Всевышний?

— По праву близкой подруги и наперсницы! —

Ах так. Тогда я вам отвечу: трагедия началась с пододеяльника...

— Лина... — Гера вышла из обморока. — Лина, это Сева. Он гуляет с Тимой, потому что я делала уколы его маме. Сева, это Лина, не обижайтесь на нее, она мне помогает жить. Лина, у меня к тебе просьба — никогда и никому...

— Да, что, я не человек, что ли? Так бы и сказали. Ф-фу, ну и напугали. Стоим столбами, в то время как ребенок там один.

— Да! И его кормить пора. И кстати, варенье надо выключить, оно, наверно, выкипело совсем... — Гера заторопилась.

— Стой! Куда в парче на кухню? Герка, с этикетками... Послушная Гера, у которой транзисторы замкнуло на массу, взяла и тут же зеленый пышный наряд сбросила. Она не учла тот фактор, что в квартире находится чужой мужчина, вернее, чужой для нее в глазах Лины Столовой. В ее-то глазах он был уже не чужой. Но Лина Столова расценила этот рывок по-своему и ринулась прочь из комнаты. А для смертного человека Севы Краевского это было уже слишком. Больше он оставаться у косяка не мог, у него тоже замкнуло на массу. Он шагнул, поймал руками этот ветер, эти ребрышки, глотающее нежное горло, нырнул в него и стал его пить взахлеб. Теряя сознание от счастья и от боли, он услышал прохладные пальцы на своем затылке и как они скользнули по спине. Загремели симфонии, отпевая их грешные души. Гром и молния. Сильнейший разряд прошел их бедные тела одновременно.

Боря Багрецов, как и положено путевому мужу, прибыл домой неожиданно. Зорко оглядел квартиру. Ковер вроде вычищен, в холодильнике — борщ и ромштексы. В баре сухое вино, ликер. Кухня свежей побелкой сияет. Остался доволен: «моя школа». Раскрыл чемодан, кое-что выложил и пошел в ванную, не заботясь о хозяйке. Где, что — придет и сама все скажет. Гера с Тимой пришли домой поздно.

— А-а! — Тима схватил себя за щеки. — Кто-то к нам приехал.

— Это папа-герой с войны приехал, — сказала застывшими губами Гера, — беги к нему скорее. Боря сидел и улыбался, ни слова не говорил.

— Боря... — голос у Геры осип, — прости, мы засиделись у соседей. Это рядом, в доме напротив. В глазах у нее все качалось. От такого — даже если ждешь — все равно жутко.

— Да ладно, — Багрецов покровительственно сгреб ошалелое семейство в стальные ручищи, — что-то раньше никакие гоштини ты не любила. Приличные люди хоть?

— Там тетя Соня, тетя Броня и дядя Сева, они раньше были полячки. Мама тете Соне колола уколы вместо врачихи, — затрещал Тима.

— Ну, это не одобряю. Сын — дело родное, а перед чужими не позволю. Жена офицера не должна...

— Да старушка, ветеран войны, умирала. Что ты, Боря...

— Коханые, приехал спешно, без подарков. Только казахстанский мед, пакованный на экспорт. Все завтра. А сегодня краткий ужин и здоровый сон.

— Ты в отпуск?

— Не совсем. Возможен перевод по службе. Но вот и ужин, и сухое, и мед подарочный на пробу — все позади. Конечно, Тима расхотелся, он не хотел ложиться спать, завелся от вида живого отца. Гера бормотала ему сказочку и кажется, впервые не хотела, чтобы он вообще заснул. Но вот и маленький затих. Роскошный Багрецов склонился над женой.

— Ты как всегда без пеньюара.

— Но ты ведь неожиданно.

— Наверстывай весь пропуск на ходу.

— Сегодня бы не надо... И ты устал, и я.

— Устал? Да я соскучился как черт.

— А вдруг у меня женские капризы? — У тебя, милашка, могут быть только обязанности.

— Да, Боря, я ведь не рабыня. Он выпрямился:

— Бунт на корабле. Попытка свергнуть капитана. Слушь, ты развинтилась без меня. Но мое мне отдай.

— Как ты можешь? Я была влюблена в тебя... — И будешь.

— Не буду. И руки убери.

— Женщину воспитывают плетью.

Он взял лежавший рядом пеньюар, ловко захлестнул вокруг диванной ножки и связал ей руки.

— Но это подло.

— Подло то, чем ты тут занималась без меня.

— Закричу ведь. — Не закричишь, ребенка жалко. Придется пручить...

— Это тебе учиться надо, ты, солдафон такой, только и можешь, что... А...

— Поговори еще. Университетов захотела? А я тебе без книжек... Без книжек, вот так. Теперь вот так. И он ее мотал и мотал, пока не выбился из сил. Потом встал и в плавках ушел на балкон курить. И думал: «Хороший шанс судьба дает, а эта фря мне может все испортить. Туда без жен и не пускают... Сейчас взовьется — к маме, к папе. А я не глупый, я не дам».

Пришел и отвязал:

— Можешь сходить, если приспичило. Она встала и упала.

Он глянул на нее с презрением.

— Брось дурить, Герка. Погорячились, бывает...

— Насильник.

— А ты не доводи. Строптивя.

— Наоборот, я размазня. Но тут придется от тебя уйти.

— Только попробуй. И набыю.

— И убить можешь, только все, потерял ты меня.

— Посмотрим. Оделся Багрецов и вышел. У Геры же — ни сил, ни слез. Никогда еще так больно не было. Горящая, растоптанная, в разодранной комбинашке, с опухшими губами, прислонилась к балконному косяку. Кому жаловаться? Какими словами? Кому падать в ноги? Для всего человечества она была подсудимой, а Багрецов — правым. Не придет больше жизнь ее, не защитит, не забавюкает. Ведь и его предала она, отдавшись этому... Пришел повеселевший Багрецов, красивый, в капельках дождя.

— Звонил твоим, предупредил, что могут тебя, шлюху, забирать. Да стерегут пускай получше, может, и прощу.

— Ты — маме? Такое ночью? Господи!

— А пусть получают, раз такую воспитали.

— Да какую?

— Гулящую.

— Но ведь это наши дела! Зачем стариков? Сердечный приступ может быть...

— Сама виновата. Так что можешь ехать, они в курсе.

— Это безумие. Тебе не жалко никого. Тиму выписали в садик, мне на работу.

— Ничего, отпросишься. Сейчас шагом марш в постель, поспим, дела отложим на утро. Ухажера твоего подождем. Не выдержит, прибежит. Посмотрим, на что ты клюнула...

Все было так, как он сказал. Утром Гера в похмельном состоянии собрала Тиму в садик. Стараясь сделать для него хорошее, будто заглаживая перед ним настоящую и будущую вину, она достала ему васильковый трикотажный костюмчик, узорчатые гольфы с помпонами. В зеркало на Геру глянула заплаканная мордашка. А шея — с ума сойти. Придется Борины выходки крем-пудрой... Именно в этот момент пришел тот, кто не должен был приходить.

— Здравствуйте, Георгина Викторовна. Собогаволите представить меня супругу... Здравствуйте, сударь... Одну минуту, я только вручу цветы. Примите их, Георгина, возможно, вы не любите гладиолусы, но здесь без них не обойтись. Видите, они бушуют как вселенский пожар, в языках их пламени — жертвоприношение. Они выросли там, где гладиатор отказался от -

боя, там, где не было места ненависти... Не надо плакать. Держите их, вот так. Не опоздайте в садик. Счастливо, Тимофей.

Гера шла по улице в пламенеющих стеблях. Это было невыносимо и дико, хотя, в сущности, что тут дикого? Это нормально. Просто кто-то обожал Геру, и это стало явным для всей улицы. И улица оборачивалась ей вслед.

— Тимочка, ты думаешь, дядя Сева хороший или плохой?

— Хороший.

— А ты с кем хотел бы жить — с папой или дядей Севой?

— С папой.

— Почему?

— Потому что он солдат и герой. Он нам все покупает. А дядя Сева бедный.

— Как это бедный? Плохо одетый?

— Да, и у него страшные бабки-яги.

— Да что ты, Тима, просто они старенькие, больные.

— Все равно. Дядя Сева плакса и ты стала плакса. А папа никогда не плачет. Он герой.

— Ну, я не буду больше плакать, умница ты моя. А ты иди себе в садик, живи хорошо.

На работе Геру сразу отпустили. Начальник собеса настолько редко видел ее на работе, что с трудом вспомнил, а как вспомнил, заявление на отпуск подмахнул не глядя. Обратную дорогу она прямо пролетела. Она думала: «А что там могло произойти? Мордобой?» Дома никого не оказалось. Что до холодного трупа, то это уж совсем больное воображение. Нельзя опускаться до галлюцинаций. Багрецов мог просто уйти за билетами. А Сева — тот не позволит ничего, никогда... Она побежала до квартиры Краевских. Их дверь была открыта, точно ее ждали. Навстречу ей медленно выплыла с палочкой тетя Соня, бывшая пациентка.

— Тетя Соня, вы встали!

— Да, Георгиночка. И хотим, чтоб вы тоже не упали, удержались. Мы ведь с Броней все видим, все понимаем. Вам и так сейчас тяжело. Но для нас Северин — единственный ребенок, единственная радость и надежда. Мы видим всю романтичность и всю горечь вашей встречи, и мы тоже полюбили вас. Вас обоих с Тимошей. Если уж встанет вопрос о разрыве с супругом, то поверьте... — она задыхалась!

Тетя Броня, отставив блюдо с перебранной крупой, поспешила к ней, обняла утешительно:

— Поверьте, мы готовы теперь же... И станете вы венчаться либо изберете гражданский брак, это дело ваше. Помните

только, что вы нам не чужая и мы на вашей стороне.

— И вы не считаете меня... плохой?

— Ну где же плохой... Вы просто золотая... Гера, дрожа, обняла тетю Сою.

— Спасибо, конечно... Только я недостойна ни вашего доверия, ни его... Кстати, где Сева?

— Где ему быть. На службе, сидит в своем ПДБ, обхватив руками голову. Вряд ли он теперь способен нормально работать, но есть долг, обязанности... Он ждет вашего решения, ждем и мы...

— О чем вы, тетя Соня? Для меня нет никого, кроме Севы.

— Герочка, золотая, вам приходится думать не только за себя, но и за сына. Сыночек — это свято. Помните это, как бы ни было горько. Когда-то и я проявила характер, и Сева остался без отца, ведь это грех. Понимаете?

— Хорошо, — Гера как-то вся опустела и отрешилась.

Она простилась с тетей Броней, с тетей Соней, героем войны и всей своей жизни. Тетя Соня перекрестила ее перед пыткой... Дома дверь квартиры тоже была открыта. Что такое? Полчаса назад никого не было. Дрожа все сильнее и удерживая себя от дрожи руками, Гера несмело продвинулась в прихожую. Под ногами хрустело. Цветы! Гвоздики, розы, гладиолусы, даже ромашки... Их были снопы. Наступать было неловко, все ж таки живые, у каждого своя легенда... Она раздвигала их носком туфли. Было тихо. В комнате сидел Багрецов с рюмкой в руке и смотрел телевизор.

— Иди, не бойся, Гера. Я не буду с тобой спать.

— Сначала скажи, что здесь было утром. Что ты с ним сделал?

— А тебя не волнует, что он со мной сделал?

— Что тебе сделается, бугай. А главное — он бы и не сделал. А вот ты...

— Ну-ну, как мы голосок на мужа повышаем. Могу сказать одно: мордобоя не было. Бить такого облезлого...

— И оскорблять он не умеет. И ты его подошвы не стоишь.

— Ладно, ты не кидайся, сядь, поговорим. Возьми вот, глотни рюмку. А то все на крике.

— Пить с тобой, сейчас? Ты соображаешь?

— Глотни, говорю. Как лекарство. А то ударишься опять в истерику — и все. Возьми себя в руки.

Она молчала. Багрецов вел себя слишком заботливо. От этого было еще страшнее.

— Ты знаешь, Герка, как мне все дорого доставалось. Я сирота, пробивать меня некому. Но я сам все делал, о других забывал. Ты знаешь, сколько у меня друзей.

— Это не друзья, а собутыльники.

— Детали. Всяк оттягивается по-своему. Так вот: меня учили умнеть и выживать, но каким местом сильнее любить — это в детдомах не проходили. Тебе опора в семье есть? Твердая рука, достаток — есть? Есть. Так тебе тонкости подавай! И ты ради этого до прямого б... ства...

— О, ты же у нас простой. И слова у тебя простые. Я все это наизусть знаю.

— Да ладно подкалывать. Ну, может, перестарался я на стороне, ну, может, от меня полгарнизона парней...

— Меня не волнуют твои шашни с буфетчицами!

— Опять дергаешься. Что ж тебя тогда волнует? Тряпки — не отказываю. Цветы — завалю. Вон полная прихожая. Гладить перед этим самым? И всего делов?

— Тебе не поможет гладить, слышишь? У меня на тебя аллергия. Бесплезно.

— Тогда ставим койки в разных углах и кранты. Не притронусь. Чтобы ты отошла...

— Я отойду, когда отойду подальше. Ты скажешь, наконец, что тебе надо?

— Прости меня, такую сволочь, но...

— Что? Ну что? Не могу больше...

— Не разлучай с Тимофеем. Хлынули слезы. Она смахнула их, глотнула из рюмки раз, другой. Надо же, коньяк купил.

— Ты так любишь сына?

— А ты? — он смотрел пристально, видимо, сомневался.

— Не надо торговаться. Оба любим, дальше что?

— А то. Есть возможность кое-что для него сделать. И сделаю, если не помешаешь.

— Что ты можешь сделать? Воспитать его своим подобием!

— Увидишь.

— И он увидит в конце концов, что мы чужие, пропасть между нами. Такое не скроешь.

— А мы не себя должны кохать, а его. Я тебе — свободу. Ты мне — ребенка. Чуешь? Только не надо этих скандалов, разводов, хренота все это. Людям на потеху.

— Ты хочешь сказать, что...

— Говорю: малый добрый, тебя любит до соплей, черт с вами. А меня есть кому утешить. А?

— Родители, родители...

— А родителям отстукаю телеграмму, что, мол, помирились. Идет такой вариант?

— Не знаю. Если только как перемирие.

— Уже дело. Бачь, как очухалась после коньяку. И глазки

блестят, и котелок варит. Так я поеду за Тимой, мы заскочим в пару магазинов — игрушки купить. Кстати, этот сад где?

— За венгерским рестораном, как на зоопарк поворачивать. Если сойти после ресторана, то по улице назад вернуться...

— Разберусь. Ты отдыхай пока, допей, если хочешь. А туда, — он мотнул головой на балкон, — хоть сегодня не шляйся. Успеете еще.

И с грустным видом вышел. Что-что, а грустный, честный вид он сделать мог. Только зачем? Как будто уж и правда отпускает. Так она и поверила. Гера наклонила голову, ничего не ответила. Одна ее половина так устала, чуть не задохнулась от ненависти. И теперь бежала спасаться по лестнице туда, в соседний дом. А другая ее половина собирала с пола цветы, распахивала в ведра, банки и кастрюли. Цветы не виноваты, что купил их этот... Ведь все не сам, списал у Севы. И его гладиолусы такие важные, нисколько не измялись, как будто помнят, чьи руки их держали и что наказывали... «Устали уступать», «забудьтесь», «только бы не наскучить», «жертва»... Он знал все наперед? И знал, что она предаст его, и разрешал, чтоб совесть не мучила. Другой бы и не сунулся, коль муж приехал. А он романтик, обречен на гибель. Он слышал, как она звала, он о себе не думал. А может, теперь он ее зовет, а она, дура, хоронит его заживо. Глянула — балконная дверь закрыта, света нет... Невыносимо видеть столько цветов — обилие и густота букетов, как в ритуальном бюро. Впрягайся, смуглая наядя, забудь свою сельву. Душа разваливалась на куски, тело немело и отнималось. Рисовые ежики шипели в масле, Гера смаргивала капли с глаз, чтобы увидеть сковородку... А платье зеленое не сняла... «Герка, в парче на кухню? С этикетками...» Нет, надо снять... Пришли мужчины Багрецовы, покрасневшись от покупок. Машина на ножном приводе, луноход с пультом управления, индейская одежда с перьями.

— Мама, думаешь, я кто?

— Ты чудо в перьях.

— Нет, я Чин-га-чук. Большой Змей.

— Тимофей, не трогай маму. Она устала.

Гера со страхом понимала, что надо приласкать ребенка, он не виноват... Но не могла выйти из столбняка, заставить себя что-то сказать. Руки падали, голову затягивала горячая боль. В ней все ревело, так что она глохла. Губы запеклись, глаза провалились, можно было подумать — воспаление легких. Багрецову и тому стало не по себе. «Теперь и будет ходить как с креста снятая. Об этом кобеле думать, о перестарке. А обо мне она так убиваться не будет. Меня бы там засыпало песком в Казахстане — ох не сказала бы. Дрянь такая. Ну, уделаю».

Но он понимал, что как ее не уделявай, она от этого не станет ласковой. И какая она вообще может быть в любовной горячке — он, Багрецов, теперь никогда не узнает. А тот, сукин сын, кобель — знает. Почему так устроено? Страшная тоска напала на ясного, прямолинейного Багрецова.

— Да ты ничего не тронула в бутылке! А ну-ка давай выпьем еще по маленькой. Они молча допили бутылку. Телевизор верещал, Тима скакал по комнате, махая перьями, томагавком и луком со стрелами, ездил на педальной машине. А они сидели как манекены в галерее Тьюссо. Памятники самим себе.

Пролежав полночи без сна, Гера встала, зачем-то села перебирать крупу. Утром тихо оделась, отвезла ребенка в садик. Собирать чемодан или не собирать? Перебирая одежду в шкафу, она вспомнила вдруг, что у нее четыре платья сдано в военное ателье знакомой Лины Столовой. Надо бы их забрать, столько денег отдала за реставрацию. Одно — крепдешиновое, с вышивкой листьями на плечах, одно — с вологодскими кружевами, да еще трикотинные — скомбинировать. Багрецов молча посмотрел на ее возню, одобрительно покивал головой: самое женское дело. Взял из старой косметички какие-то бумаги и быстро ушел. Ателье стояло на том же месте и, что удивительно, даже работало. И очереди там не было никакой, только знакомая Лины Столовой уволилась. Гера долго стояла у примерочных, потом пошла к заведующей и честно все рассказала. Как четыре платья сдавала такой-то, как не пришла за ними в срок и сейчас не знает, как найти... Заведующая, пепельная блондинка в металлизированном трикотаже, накрашенная без единого живого места, слушала Геру внимательно, изображала сочувствие. Потом потребовала амбарную книгу с заказами принести. Гера боялась этого, потому что помнила, что ее платья никуда не записывали. Наконец сиреневый маникюр заведующей застыл против столбика на «с». — Так это вы, милочка, под кодом «Столова А.Ф.»? Ну конечно, вот четыре платья. Одна из многих! Как совать заказы без очереди, так вы тут как тут. А как ревизия и полная подсобка неоформленных тряпок, так вас нет! Да вот вы где у меня сидите, женушки офицерские. Только и знаете ходить по магазинам и скупать косметику, в карманах денег полно. И в холодильниках набито. И мужей годами дома нет, и трахаетесь с кем хотите... Нет уж, милочка, хватит. Заказ записан полностью как шитье из наших тканей, и расценки сейчас десятикратные, сами знаете. Если бы Гера была в здравом уме, она бы этого не вынесла. Столько тут вложено труда, да и памяти о ней, молоденькой жене. И все достанется чужим теткам. Но она была слегка тронутая, и потому только плечами пожала. То ли виноватой себя считала,

то ли расценила это как конец жизни вообще. Повернулась и, опустив голову, вышла из этого ателье. Все, пора прикрывать богадельню. Боря тоже не терял времени даром. Пока Гера занималась своими дамскими проблемами, он оформлял документы на выезд за рубеж. Ему повезло — он попал в охрану нашего посольства в Швеции. В случае развода все сорвалось бы. А так — что хотел, то и получил. И не без помощи этого ненормального ухажера. Хоть подсказал, как Герку, козу, обуздать. Вспоминать будет? Да на здоровье! Тише себя вести будет. Меньше на других будет тарашиться.

## СЫНУЛЯ

У вас была романтическая история любви, не так ли? Даже в повесть не побоялись вставить. Я сразу ее вспомнила, узнала. Особенно этот эпизод с куклой, как стояли под окном, как дарили. Вас не смутило то, что вы уже употребили однажды эту куклу? Да что там куклу, ведь и героиня была та же, и замуж вышла за учителя...

Уникальность первого порыва! Да, получилось и светло, и щемяще. Так бывает только один раз. Смотрите же, я понимаю, но для многих читателей повторы губительны. Захлопнут книгу на той же странице: я это уже читал. А судьбу, судьбу не изменишь. Даже если потом что-то не сложилось, угасло. Иногда думаешь - надо же, не понимает...

Знаю, знаю, вы не станете ворошить, вы старомодный. Именно потому я с вами и говорю. Почему вы так стараетесь для других? Все для других, ничего для себя? Потому что надо думать о вечной жизни, о прощении. Потому что это для вас естественно! О... Для других естественно другое.

Вы нянчите своих друзей, как мы своих детей. У нас особенные дети. Сейчас, как никогда, много ненормальных семей, и дети из этих семей задерганы и заброшены дальше некуда. Они к нам приходят, когда у них уже невозполнимые пробелы! Которые переходят в физические изъяны! А это не скроешь. Представляете? Заики по речи чаще всего - заики душевные. И нам приходится их исправлять, додавать то, что родные люди недодали.

Сначала я всегда смотрю, впитываю: что с ними? И чем хуже состояние ребенка, тем безумней твержу: они так не останутся... Если я опущу руки, отстану от них, горемык, - то все, больше им никто не поможет.

Да, можно отправить в другие руки, спихнуть. Но поймите: время уйдет, пока я занимаюсь очисткой совести. В общем, тут

психологии больше, чем техники. Тепла больше, чем упражнений.

Ну, а если эти дети карнавала начинают ясно говорить? А значит, и думать? Вы как считаете: речь человеческая — достаточное доказательство разумности? Видели вы когда-нибудь четко и красиво говорящего безумца? Иногда так выглядят шизофреники, но они рано или поздно срываются.

Вот привели к нам мальчика. Три годика, пухлый ребенок, глаза не по-детски серьезные, а знал только два слова - «мое» и «убью», то есть «убью». Да и то он их редко говорил. Если к нему кто-то подходил, он молча бил по ноге чем-то тяжелым... Физические данные в норме, а человека нет. Пока я с ним на контакт вышла, у меня все щиколотки были в синяках... Какой контакт? Методики, знаете, твердят про счастливое детство, а этот у нас плакать начал: над убитой вороной во дворе, над девочкой, которая упала с качелей и разбила в кровь колени. Он плакал, и из него выходила его злоба. Расскажи, птенчик, что с тобой, почему ты... И он стал мне рассказывать...

Нет, вы все прекрасно поняли. У нас ведь не лечебница, мы просто учим их говорить. Когда они начинают слова произносить, я плачу от радости. Ну, чирикай, чирикай, воробушек, догоняй стаю. Такое чувство, что мы их обнимали, не давали в черный ров упасть... У знакомых мальчик, приводили к нам смотреть, у него реакции неадекватные. Большой ведь он, дома с бабушкой сидел, а если б маленьким к нам привели, то, может, что-то бы и сделали. Он в стрессе начинал руки грызть, свои кулачки... С тех пор как трудный ребенок появляется, я про того думаю. «Не сдавайся, держись,- твержу себе как безумная,- а то будет грызть руки...»

А по-моему, нет, у вас все гораздо труднее. Одно дело маленький человек, гибкий, незастывший. Его пожалей, и он откликнется. А ваши друзья уж как покатали по своей литературной колее, так и окостенели. Как это у вас называется? Разрабатывать свою тему? Но разве дело в теме? Блеск таланта, личность, которая видит все по-своему, вот что надо! Любую тему, любую... Им ничего не посоветуешь, у них идет книга - пьют, не идет книга - тоже пьют. А вы умница. Всех понимаете, всем помогаете и вдобавок не признаетесь, глаза опускаете. А я все равно знаю. Альманах стали выпускать, для всех старались. Сколько там появилось новых имен... А скольким вы рукописи отредактировали, из сырца, из ничего образ слепили.хлопоты о ежегодных премиях - тоже вы. Пенсию репрессированному - вы... Молчите, это далеко не все... Румянец на скулах вас выдает.

Я знаю, вам, как автору, простые люди нужны. Деревня. Как

кто к высокому тянется. Но я вам расскажу свою историю, может, пригодится. Вы слушаете с таким вниманием, что душа расцветает.

До двадцати пяти я легко жила, без трагедий. Это не значит, что я все время веселилась, но посудите сами - работу выбирала, какую хотела, училась с подъемом, работала с любовью. Были у меня и срывы, и неудачи, не отрицаю, но в целом я убедилась в своей необходимости. У меня потом и помимо садика работа появилась - знакомые просили позаниматься и так далее. В театральную студию начала ходить еще в институте, и до сих пор хожу, привязалась к ребятам. Даже когда не играю - все равно хожу, все новости знаю, все их романы, что репетируют...

Молодых людей вокруг меня было много - и в институте, и в студии, и у папы по работе. Папа мой суров, несмотря на свои недостатки, вечно заставлял меня с детства зарабатывать, телеграммы разносить: «Ольга, ты должна быть сильной». Гонял меня на лыжах по пять-десять километров. Так что воспитание у меня — финиш, можно в органы идти. Домой часто приходили гости, я вышколена кофе подать, сделать легкий ужин, если пришли с вином. Папа любит окружать себя молодыми партнерами, они будоражат его, не дают засыпать. Из них тоже был один поклонник, тоже бизнесмен, воспитан на удивление. Модная стрижка, модный костюм, всегда темная цветная рубашка, шейный платок в тон. Но кроме этого - никакой вольности. Строг, сух и холоден...

Я говорила себе: захочешь выйти замуж - выйдешь в любой момент. Материально от родителей не завишу. Недурна собой, молода, одета, способна на светскую беседу. Для студийной публики и спою под гитару... Но, понимаете, никто меня не свел с ума. С кем ни встречалась — с легкостью их забывала. Разве что в этом бизнесмене была какая-то загадка. И поклонение передо мной, и в то же время стена... Потребуй он, чтобы я пошла на большее — наверно, пошла бы. Но он не требовал, просто ждал, а для женщины это совершенно невыносимо.

Мой Санни пришел в студию с девушкой. Он у этой девушки был в прошлом! Это было видно по снисходительному родственному тону, по одним и тем же словечкам, по тому, как он доставал из ее сумочки помаду, сигареты, а еще - по тому, как она при нем упоминала нынешнего любовника. Оба они были немножко ненормальные, но совершенно милые. Он сказал, что эта девушка пела в престижном кафе, пока не начались налеты мафиозные. У нее есть своя программа. Не хотим ли мы по-

смотреть? Говорил так, как будто был здесь своим человеком! Но его же здесь самого никто не знал.

У нас шла обычная репетиция - показывали друг другу новый материал, кто что принес, репетировали текущую программу, ноты переписывали. Все как обычно. Этот Санни смотрел на меня в упор и тем самым уже допустил непристойность. Все подумали, что он пришел из-за меня! Я была в шифоновом шемизье, с мелкими цепями на шее, строго причесанная, серьезная, абсолютно неприступная.

Он следил за каждым моим движением. Я не реагировала, я реагирую только на тайные знаки. Девушка стала шутливо отвлекать его, он отмахнулся, даже как-то подобрался. Тоже показал два-три номера. Я уж потом поняла, как он расщедрился, он обычно заставляет себя уговаривать.

Голос чересчур высокий, напряженный, но пел недурно. Лучше, чем читал. Нервный румянец, высокий чистый лоб, нестерпимое свечение глаз. Мне неловко за эти штампы. Но он прямо излучал эмоции, переполнен был ими. И лицо его не справлялось, как-то дергалось, белело и пунцовело невпопад. Жесты беспорядочные, но быстрые, легкие, впечатление ветра. Глаза слишком светлые, повторяю, они светились нестерпимо, от них хотелось отвернуться, как от яркого света. Глаза Санни, то умоляющие сквозь вспышки слез, то пустые, погасшие от бешенства...

У меня тогда засосало под ложечкой. Я подошла близко к пропасти. Предчувствие мое кричало, заставляло бросить ноты, роли, друзей и бежать сломя голову от этого несчастья. Но я же смелая, волевая. Я рассчитывала, что выберусь из воронки, если затянет... Я храбрая...

Я потом, знаете, сильно удивлялась, что попала на удочку первая. В студии же полно молоденьких, обезумевших от желания девиц. И они не просто доступные девицы, нет, настоящие таинственные русалки, чаще всего никем не замеченные. Думаете, актриски, так и что, ходят по рукам? Нет-нет!.. Но к ним только прикоснись - лопнут как бутоны... А для Санни они не существовали. Ему надо было не школьницу, но взрослую, недоступную женщину. Потому что он слишком любит верховодить и в то же время любит то, что выше его...

Я вела себя заносчиво. Не замечала ни протянутой руки, ни поданной шубы. В дверь вылетала так, что она, выстреливая мной, обрушивалась на позади идущего... Это тоже было зря. Сходи я с ним в гости, в кино, в ресторан, он скоро остыл бы. Но я его растравила, и он уже не мог остановиться.

Щурясь, я наблюдала, как он слоняется по двору, сидит под грибом. Не удержалась, чтоб не подразнить его бизнесменом

- мы прошли мимо на один из скучнейших в моей жизни вечеров. Пили вино, смотрели видики, а я весь вечер думала, сидит он там во дворе или нет. Я вдруг представила, что если выйду замуж за моего официального друга, то буду насмерть обеспеченной женщиной. Мне угрожало мерить наряды и быть исправной женой, и я бы, конечно, ею была... Он так нравился папе. Да он всем нравился! Кто же не хочет, чтобы дочка жила безбедно? Все хотят...

На другое утро мама с папой поехали на дачу, поругав меня за позднее возвращение с вечеринки. Я пообещала им прийти в себя и приехать к обеду, купив продукты. Только они ушли, как у дверей позвонили. Санни пришел ни свет ни заря!

Я вообще не собиралась с ним разговаривать, еще не хватало. Но вид у него был! Лицо неспавшего человека, круги под глазами. Вид немого, который вот-вот должен заговорить. Рот искривлен, в глазах чуть ли не слезы.

Даже забыла, что в ночной рубаше стою! Что не прибрана, не одета перед незнакомым подозрительным человеком...

Никогда бы не подумала, что посмею до свадьбы... Но случилось неизбежное, я потеряла рассудок, сразу и навсегда. Видимо, в тот момент его во мне было слишком много, и высшие силы распорядились исправить это. Ведь он мне ничего не говорил! Может, он из тех, кто приходит, калечит и исчезает навсегда? Может, он меня проспорил?

Я потом видела: как начинаю думать, зову на помощь здравый смысл - так все ломаю. Но стоило ему поцеловать меня в шею, как одежда моя начинала летать по комнате, а я умирала от радости.

«Какое безобразие!» - подумаете вы. Я была старше, я цеплялась за свою мифическую силу воли точно так же, как за свои блузки и колготки. Но все было бесполезно...

Пытаясь восстановить какой-то порядок в налаженной жизни, я зажмуривалась и твердо говорила, что мне пора на работу, на дачу, в студию, к знакомым, в баню, в партизаны... А он в ответ ничего. Только сразу срывался и убегал. Или садился, откидывал голову на кресло или дверной косяк. И, окаменев, сидел так часа четыре, пять. Мог сидеть и дольше, конечно.

Но сидел-то он неподвижно, а лицо, искаженное, почужевшее, продолжало жить и мерцать выражениями. Такие отсветы внутреннего «я». Это был какой-то паралич, полное отвращение к жизни. Я пугалась в конце концов, бросалась утешать. Ничего не получалось. То есть бросить его в депрессию было легко, а вытащить оттуда невозможно. И все из-за того, что я стирала, жарила в духовке кофейные зерна или штудировала новинку для работы. То есть в этот момент его не обнимала, не

целовала. Лучше уж было целовать...

Последствия поцелуев не замедлили проявиться. Однажды я приехала с ним на дачу, где он продемонстрировал чудеса трудолюбия и кротости. Он починил всю теплицу, перетаскал и разбросал весь торф, оборвал все усы на клубнике и обрезал смородину. Вряд ли он так любил ковырять землю, но тут была жертва своего рода: смотри, все это ради тебя...

Родители устроили роскошный прием с родственниками в день нашей помолвки. Там неизбежно стали обсуждать план стабилизации Санни, а это все равно что стабилизация тайфуна. Я ничего этого не слышала, потому что впервые лицезрела мать Санни. Это была нервная, очень худенькая женщина в длинном платье и с горьким лицом. Все решили, что мальчика, исходя из его талантливости, надо устроить в постановочный цех театра. И тем временем помочь поступить в институт.

Поразительно, но когда об этом заговаривала я, то Санни бросался на меня коршуном, и мне в водопаде ласки, между стонами и поцелуями приходилось признавать, что да, мне не нужен диплом и оклад, мне нужен живой Санни. А тут Санни сидел как пай-мальчик! И со всем на свете соглашался! Я сразу поняла, что дело нечисто.

Санни улыбался, подливал всем ликер. Все были медовые - дальше некуда, пожимали ему руки, хлопали по плечу и уверяли, что выведут его в люди. Мой бизнесмен сидел тут же и, почтительно целуя мне руку, предлагал посильную поддержку. Он, конечно, не подозревал, что Санни - хронический безработный, и нигде больше двух месяцев не держался. По одежде этого нельзя было сказать, одевала его пока мать. А он не мог опуститься, чтобы... Он страдальчески морщился, когда я пыталась узнать, в чем дело. Ни в чем! Просто кругом низкоорганизованные питекантропы, и они постоянно распинают его, человека с тонкой душевной организацией... Именно их нулевой уровень провоцировал неизбежные столкновения. А потом обстановка становилась настолько взрывоопасной, что шанс подзаработать исчезал полностью...

Что ж, ломать себя - последнее дело. Меня родители учили всю жизнь любить себя, ценить все, что дала природа. И я думала - бедный мальчик. И во мне закипала безумная жалость. И нежность. Что с ним? Почему он такой удивительный и так страдает? Может, ему недодали родные люди? Может, он нуждается в особенном подходе?

Поздней ночью закончилась вечеринка. Все разошлись по домам воодушевленные. Мать Санни за весь вечер ни слова не сказала. А в прихожей опустила глаза и бросила свою тихую бомбу.

Моим старомодным родителям она призналась, что вырастила мальчика без отца и он для нее все. Она растила его в любви и неге, поэтому плетью от него ничего добиться нельзя. И все старания загнать его в концлагерь обречены на провал...

Родители пылали гневом. Санни, забравшись рукой под блузон, расстегнул на мне кое-что, и оно шелкнуло. Меня разбирал глупый смех. Апофеоз был скомкан.

До свадьбы все было хорошо. Но накануне произошел взрыв. Мне ведь надо было готовиться, бегать по магазинам и портнихам, на работу, само собой, времени не оставалось. Санни меня вконец измотал своей бешеной страстью. Я просила подождать, успокоиться, остыть, а он чуть что - в депрессию.

Не знаю, мне как-то неудобно говорить о своем психическом здоровье, но у меня до сей поры не было никаких депрессий.

Если я плакала, то в церкви на исповеди. Там понятно, свое ничтожество и грязь признать и объяснить так трудно, так страшно. Вечно ищешь себе оправданий!

Если тяжелый ребенок, которого ко мне приводили, вел себя все хуже, то я тоже очень горевала. Это часть моей жизни. Она не осуществилась! Я его не удержала на краю черного рва... Тут тоже все понятно. Книжки там, кино... Всегда была причина, дорогой собеседник, всегда. А тут я ничего не понимала, ничего не могла...

Накануне свадьбы я поехала за шляпой с вуалью, вернулась поздно. Мама пожаловалась, что Санни звонил столько раз, что ей пришлось отключить аппарат. Я включила, он затрещонил и примчался через полчаса, эксцентричный избранник. Он принес цветы, вино, коробку шоколада со стол величиной. Я жалобно смотрела, отпивала из бокала, гладила его по щеке, но у меня так болела голова, что я просто изнемогала.

Может, я передумала и хочу замуж на другого?.. Возможно... Он рванул на выход, забыл, что дверь в прихожую открывается на себя, и врезался в рифленое стекло... Поэтому на свадебных фотографиях у него рука забинтована.

Мама с папой свадьбу взяли на себя. Они очень на меня сердились, но решили быть выше этого. Как они надеялись, что я выйду за человека нашего круга! Кем Санни не был и быть не собирался. С ним мне уже никакое безбедное, сытое существование не угрожало. Утомить мерянием нарядов он также был не способен...

Да, он привел всех гостей в оцепенение, потому что носил на руках - из загса и на торжестве - всю дорогу. Даже танцевали мы в таком виде, даже поздравления принимали. Пожилые люди подходили чинно, с конвертами, а я все на ручках, как

грудная. Должно быть, мы нелепо смотрелись...

А это символ, дорогой собеседник. Пытаться держать на руках, когда надо проще - за руку.

Началась так называемая семейная жизнь. Медовый месяц, от которого воротило. Нельзя же вот так, без конца, едва я переступала порог... И неотрывно, неотступно, по нескольку часов. Ночами совершенно не спала, на работу приходила, как с тяжелейшего похмелья, меня мотало в разные стороны. Я даже спала тайком в бельевой: только детей уложу и прячусь. Хорошо, что нянечка была молодая, ровесница мне. Домой прихожу, сделаю ужин - и снова на вахту...

Когда он уставал целовать - а это было редко - он излагал мне всякие идеи. Чаще всего он углублялся в энергетику, общину «Род», школу духовной культуры. Его можно было слушать вечность, как заморского проповедника, ибо все это говорилось с неподдельным волнением и пылом. Про него не скажешь, что глуп - напротив! Но чем жарче были речи, тем быстрее рассеивался хмель. Горение было впустую, без тепла и света. Огонь, полыхнув, уносился в космос... Дальше речей дело не шло. Санни не работал по-прежнему.

Родители стали поглядывать на меня с печальным укором. Я встряхивала кудрями и притворялась, что витаю в чувственных нирванах. На самом деле я маскировала первобытный ужас. Хорошо, что я что-то зарабатывала, но как это смотрелось в перспективе? Ужасно. Я просила его. Я накалялась. Я требовала, чтобы он вспомнил, что он мужчина.

Он на меня смотрел так, как если бы я читала стихи или пела арию. Он так вибрировал, так восхищался мной, что его можно было принять за комедианта. Но в том и дело, что он не притворялся. Не умел, понимаете. И хорошо, что я догадалась об этом сразу.

Но вскоре мне стало не до сантиментов. Токсикоз пошел жестокий. Я потеряла человеческий облик. Меня тошнило. Я прекратила есть, чтобы уменьшить количество выбросов. Едва открыв глаза, я вцеплялась в яблоко или бутылку с соком. От голода стало темнеть и рябить в глазах. График медового месяца катастрофически ломался. У Санни началась депрессия... Сама чуть живая, я пыталась его утешать.

К тому времени обстановка в доме сильно накалилась. Два места работы, найденные родителями, не нашли общего языка с нашим Санни. Родители сняли, потом выменяли нам крохотную квартиру. Они решили убрать Санни с глаз долой. Мама, наверно, была против, ее мучило, что расправа бьет не только по Санни, но и по мне, да еще в такой момент. Но они, как воспитанные люди, не хотели проявлять диктат, опасались вме-

шиваться и учить...

Хуже всего было ночью. Если Санни не спал, он сидел на полу либо лежал в ванной, как амфибия. Я тоже не спала, часто просыпалась от глухой тревоги. Ночью на него ехал большой шкаф. Тахта вообще его пугала, а до токовище, все тело жгло. Посуду он залил святой водой, но чашка его потерялась, или мама нечаянно унесла. Так он не стал больше ни из чего и пить, только из горсти...

И взмолилась я второй раз: «Уйди, дай выносить ребенка». У нас же получалось двое беременных... Санни долго молчал. А в глазах его вспыхивали точки, как в выключенном дисплее. Заплакал, Господи. Поцеловал ладони и сделал, как велела. Он ушел, когда у меня было три месяца.

Думаете, это просто? Думаете, я железный Феликс? О, нет, я ждала его каждую минуту, тянула руки, вместо сладких губ целовала пустоту... Но я запрещала себе рыдать. Внутренний голос говорил, что надо спастись, изолироваться. Любить - пожалуиста, но сначала выжить. Самой и маленькому.

Кто-то увидел его с девушками на вечере в ДК. И мне стало казаться, что бред рассеялся, что Санни теперь живет по-старому и порхает как мотылек... Он не умеет жить плохо, он должен жить хорошо... Раз вырос в ласке и исполнении желаний, значит, неизбежно будет стремиться и дальше жить так же. Мама же выращивает помидоры на окне, на теплой батарее, прежде чем их в теплицу высадить! Иначе они в грунте не смогут расти.

Мать вырастила Санни в теплице, а в грунт пришлось пересаживать мне. Так что же я, не любила его, по-вашему? Да больше жизни... Уж простите мне эту высокопарность. Но он не приживался на грунте...

Да, тогда я ощущала его поведение как предательство. Но вскоре убедилась, что никакого предательства не было. Что жил он у матери, практически никуда не ходил. Часами сидел или лежал неподвижно, а когда мать пыталась его разговорить, гладила по голове, робко подсовывала шоколад или вино - он просто рыдал у нее на коленях. Откуда я узнала? Конечно же, от мамы. Она, как оказалось, ходила туда на тет-а-тет. И сама вся расстроилась, ничего не поняла. Он опять временно работал где-то лаборантом и, кажется, что-то писал. Много тетрадок исписал...

Вообще-то я даже рада, что он не появился до роддома. Я была такая образина, вся распухшая, неповоротливая, в пятнах. Мне не то что любить, а, возможно, и жить-то оставалось недолго. Я полсрока пролежала на сохранении, да ребенок шел ножками, да и много еще чего... Тот год состарил меня лет на

десять. Все говорят, что роды красят женщину, что она расцветает и так далее. Но это не про меня. Я худо все пережила, были ужасные осложнения...

У меня ведь и после больницы опять начался токсикоз. Для усиления лактации прописали никотинку и витамины, но я перестала принимать. У меня как кормить - такой ужас начинался, что не сказать. Головная боль невероятная, тошнота, головокружение. Я маленького могла только лежа кормить, потому что постоянно отрубалась. Думала - вот уроню, что тогда? Искалечишь - век себе не простишь... Как тут не вспомнить Василия Иваныча! Проснешься, говорит, ночью и заснуть не можешь: сорок лет назад грех совершил...

Вы помните, как он это сказал? Меня потрясло это. Неужто нет исповеди, чтоб покаяться? Но, может, он и каялся, только себя судит до сих пор...

А мой маленький, кучерявенький, ушастый мальчик... Он такой сразу беленький был, знаете, дети ведь часто рождаются красные или желтые, а этот нет, этот белокожий, как блинчик с изюмом. Мама говорила про крещение, но об этом речи не могло быть, пока я слишком слабая была. Решили подождать пару месяцев.

Однажды поздно ночью, когда я только уложила маленького и торопилась еще пожать пеленки, в двери раздался скрип ключа. Ну, вы понимаете. Во мне все задрожало. Сразу мысли: как он посмел после всего... Как посмел...

Конечно, это был Санни. Будто вчера ушел! Неровный румянец, легкость движений, летящие концы шарфа на новой куртке. А я бледная, всклокоченная, как мадам чахотка, в мамином халате, промокшем на груди... Он притащил цветы - целый сноп розовых восковых стеблей. Это в его репертуаре... И еле дыша - неужели нельзя посмотреть... Только посмотреть...

Значит, самое страшное позади, теперь можно идти смотреть. Здорово...

Я взяла себя в руки. Какой бы он ни был, но в такой момент и он нуждался в милосердии... Глазами показала на вешалку, пропустила к коляске, кровати тогда еще не было. Ну, думаю, сейчас начнет реветь. Однако нет, опять не угадала. Он смеялся! Мне надоело стоять в прихожей с пеленкой в руках, я обошла его вокруг, как елку, а он смеялся, шалопай. Никаких вам высоких переживаний.

Насколько я поняла ситуацию, Санни возле этой коляски и в институт поступил, и подрабатывать стал там же, и операцию сделал по хирургии носа, о которой его мать сто лет просила, и кухню мне решил отделать. То есть как? Его ни мать,

ни я, ни мои родители, ни сама жизнь - никто не мог заставить работать. А маленький заставил.

Он приходил с вечерних занятий и полночи пилил, клеил, прилаживал. А когда кухня заблестела, как пасхальное яйцо, то, конечно, во мне опять за клубились безумные надежды.

Каким болезненно желанным был для меня этот человек! Маленький уж ползал по ковру, Санни брал его на руки, лицо его светилось. При малейшем писке я подбегала, Санни сгребал нас в кучу, целовал до одурения. У них сразу же начались отдельные от меня отношения. Я кормила, купала, лечила, а он-то ничего не делал, он боялся, видите ли. И маленький быстро стал его отличать от меня! Засмеялся у него в руках, играть тоже с ним начал. И если у меня начиналась напряженка типа несъеденного кефира или тертого яблока, Санни бесцеремонно забирал маленького, как бы заступаясь. Он даже лекарства за него глотал - я застучала! И у меня всякая досада сразу пропадала. Ну до того умел обезоруживать! Какая драгоценность все же этот непутевый Санни. Какой щедрый, ласковый, веселый и безбрежный. Я бы сказала - ангельский. Все то, ради чего я родилась, мечтала, страдала. Награда за все - наслаждение, высшая гармония сущего...

По всему ясно, что маленький для нас обоих стал смыслом жизни. Возясь с ним, мы как бы поднимались над собой. То, что для маленького, - всего важнее. При малейшей стычке маленький подавал голос, и мы испуганно стихали. Он учил нас жить, не иначе. И мы сначала растерялись от этого - ведь пришлось не только ходить по докторам и подолгу, до противности, гулять, но также пришлось забыть все любимое прежде. Я забросила не только работу, но и студию, стала каким-то растительным животным, перекачкой молока, фу. Пыталась читать - ничего не понимала, засыпала. Я засыпала в любое время суток, так как ночами маленький обычно не спал. Но я в глубине души надеялась, что это кончится когда-нибудь. А вот Санни...

То ли он запомнил мои страхи, что нервотрепка во время беременности отразится на психике ребенка, то ли он подспудно искал в нем похожести на себя, а сам-то он не больно спокойный, но... Ему все время казалось, что маленький вышел за рамки. Что это дьяволенок какой-то. Он сердился, когда маленький подолгу орал.

Да я тоже сердилась, трясла коляску, как бешеная, но я была в тупом заторможенном состоянии и, повторяю, то и дело отрубалась.

А Санни, пытаясь забрать у меня маленького, видя, что еле шевелюсь, - сам заводился жутко. Вот и в тот раз. Маленький проспал весь день, а ночью как начал, как начал. Наши укачи-

вания его только смешили. Сам он лежать не хотел, только со мной. Я уже ничего не соображала. Санни бегал, бегал, потом окаменел. Потом наклонился над маленьким... И я вдруг испугалась, сама не знаю чего. Как закричу не своим голосом! Санни дернулся, как от удара, и выбежал полуодетый в глухую ночь.

Я поплакала, походила по комнате еще часа два. Ну не может человек привыкнуть, ну что тут с ума сходить. Может, он создан любовью, для любви, но не для каторжной работы... Я спокойно к этому отнеслась, я уже знала, что он вернется. Ведь он быстро прогорает, он замерзнет и прибежит отогреваться... Он без нас с маленьким не сможет...

И он пришел, и настал опять невысказанный праздник. Это трудно, но только так и поймешь, что такое счастье. Когда не жуешь это счастье каждый день и час, когда долго ждешь, но зато уж пьешь взахлеб...

Тут бы и поставить точку в этой истории. Если бы так все кончилось, Господи, если б так... Боятесь, сударь? О, тут есть чего бояться. Только я не боялась, не готовилась, я как раз была в таком светлом состоянии духа, что умри в тот момент, так попала бы, верно, в рай. Но попала в другое место.

У маленького разыгрался тяжелейший бронхит. Температуры не было, а потом сразу потемнение в легких и полная неподвижность. Ведь когда температура - всегда бегаешь, дают уколы, физио. Все произошло незаметно. Маленького отправили в реанимацию, и меня сначала не пускали, но, учитывая тяжесть состояния и его возраст, все же полугодовалый...

Мы лежали в больнице целый месяц, это оказалось достаточно для новой трагедии. Санни не нашел нас дома и отправился к родителям. Те ничего не знали о нашем последнем примирении и выгнали его с большим позором. Возможно, мама догадывалась, хоть я ей ничего не говорила. А папа, представляю, как Зевс-громовержец... Папа взял да и сказал, что дочка вышла наконец замуж за порядочного человека. Он, как отец, тоже тяжело переживал мое дурацкое семейное положение. По своему хотел поправить дело.

Теперь я даже не знаю, кто я - жена, вдова, любовница. Почему-то самое простое - пойти к нему - для меня оказывается невозможно. Он сам должен прийти, понимаете? Он не такой, как раньше. Он не маленький сыночек, забавушанный любовью до не знаю чего... Но его все также жалеет и ласкает мать, для которой он все. Во всяком случае, он не вернулся.

Ну что происходит? Все же наоборот! При абсолютном совпадении впадин и выступов, при невероятном по силе и глубине тяготении душ и тел - полная невозможность жить вместе.

При его изнеженности и моей закаленности, при моей готовности пестовать его как ребенка - полная невозможность что-то исправить.

Маленькому исполнился год, мы с мамой окрестили его, пышно отпраздновали это событие... Хотите, покажу фотографию? Вот он, мой блинчик с изюмом.

Как жаль, что я не из вашей литературной братии. Я написала бы об этом рассказ, а вы бы его отредактировали. Я доверяю вам, я знаю, что вы не стали бы меня сгибать, урезать, подгонять под каноны. Вы умеете слушать, все понимаете. Но тратите жизнь на людей, которые совершенно вас недостойны. А то общались бы со мной... Но не в том смысле, не в том. Я прекрасно знаю, что вы умрете - ничего себе не позволите, вы безнадежно целомудренны. Я говорю - в смысле помогать, быть наставником, другом. По крайней мере, я из тех женщин, которые умеют это ценить.

\*\*\*

Когда Лора Евстафеевна в моем кабинете стала выдавать деньги, я мягко сказала ей:

- Лора Евстафеевна, что вы делаете, нельзя ли избежать финансовых терактов хотя бы сегодня?

При выдаче денег много ошибок и горя, и я понимаю - все очень раздражены, прямо-таки истерзаны, хоть пристреливай.

Новая русистка Берта Борисовна повела русский и литературу в восьмых и седьмых, где самый переломный возраст. Предыдущая русистка Марина по-партизански залегла на сохранение. Ох, эти мне молодые педагоги. А Берта Борисовна ни с кем не общалась в учительской, сидела, уставив свои большие сонные глазищи куда-то в карту, и молчала. Тетради она проверяла - не знаю когда, не при мне. Но вот Гурик принес домой пачку тетрадей, я мельком глянула - седьмой класс. Что такое? Оказалось всем, у кого по русскому пять, Берта дает тетради на проверку...

Санни позвонил на работу ко мне, спросил, знаю ли я, что такое виртуальная реальность. Пришлось заходить в библиотеку, смотреть в словаре компьютерных терминов. Я ему заказала к ужину купить мороженых кальмаров.

Пойдешь обедать? - спросил вошедший Гурька.

— Ты из столовой? - не ответила я.

— Нет, я за тобой. С тобой хочу. Занята?

— Пойдем, — волна радости так и шатнула меня. — Пойдем, сынок. Знаю, он всегда зайдет, если у нас расписание совпадает. И все-таки радуюсь: это мой сын, что ли? До глупости дохожу: он говорит, его рот разъезжается в привычной улыбке,

ямки на щеках углубляются до десен и тают, а мне так тепло, что я не слышу его слов. Опять не подстригся, волосы на воротник ползут и уже на плечи залезают. Пиджак ему велик, говорила ему, говорила. А ему все равно, лишь бы галстук. Ну кто сейчас в восьмых ходит при галстукке?

— Мам, а кто вышел от тебя, ты не сказала. Мам, куда смотришь? - засмеялся, понял, махнул ладонью передо мной. — Ты хоть видишь, что ешь?

— Я ем глазами тебя.

— Брось. — Он заблестел каждой веснушкой, еще больше потеплел смеющимся лицом. Он на Санни похож и веснушками, и тем, что волосы выются, и еще лбом. Чистый лбище интеллигента. А толстогубый - это в меня. Вот Санни, который торчит сейчас в лицейском техкабинете и не включает компьютер, потому что сегодня 6 марта - день рождения Микеланджело, а Санни боится вируса с таким названием - у него такой же лбище, только чуб уже седой.

— Мам... - он уже давится столовским шницелем. - Хорош балдеть, давно не виделись.

— Да, если учесть во сколько ты пришел вчера. - Шницель хороший для школьной столовой. Завпроизводством новая, старается. Тоже моя идея - сработало объявление по радио.

— Ну, мам! Я звонил тебе - где был, во сколько. Ну что ты, елки...

— В выходной опять весь подъезд был в крови. Район у нас такой. Тюрьма под боком. И ты неизвестно где.

— Все тебе известно! Мам, - он положил вилку и переплел пальцы над тарелкой. — Я хотел тебя попросить. Неужели так уж нужны мои звонки домой? Надо мной там все смеются, когда я начинаю названивать. Все люди взрослые, располагающие собой. Ну я же, елки...

— Вы там сидите до девяти на своем пустопорожном кружке. (Я его еще не ругала, а он уже защищается.)

— Почему же? Это тоже своего рода погружение в материал, мам. Только ты нас учишь на классике, а там мы учимся друг на друге. И там, и тут литературная нирвана.

— Это сплошь болтовня.

— Не скажи. Я нашел там понимание.

— Как будто ты не мог почитать свои стихи мне! Ты всегда раньше читал мне первой. Уж я-то знаю, как их оценить.

(Я незаметно занималась обидой.)

— Ну, конечно, мам. Ты понимаешь меня, елки. Но ты как бы любишь меня заранее, а там я никому не нужен, там только текст имеет значение.

— Хорошо. Не звони, пока на кружке. Только если зайдешь к кому-то...

(А к кому он заходит, я знаю слишком хорошо. У них там есть какая-то заводила. Делает вид, что работает над словом. А на самом деле просто болтает.)

— Отлично, — он повеселел. — Даешь слово не волноваться?

— Мне трудно тебе отказать. Но по возможности звони, чтобы я знала.

— Ты бесподобная, мам. Ты это понимаешь? Только такие люди и должны в школе работать.

— А если бы я не работала, я уже написала бы монографию...

— Ольга Аверьянна, вы еще тут? Все получили, кроме вас, — мне помахала деньгами Лора Евстафеевна. — Да и ведомость бы сдать.

— Гурик, убегаю.

Я нырнула в свой привычный водоворот, унося с собой Гурькину толстогубую умильную улыбку. Как он так может лучиться, не раскрывая рта? Как медом его помазали.

Дело, конечно, не в Берте. Она сама, тяжело и рыбоглазо проплывающая по коридору в своих балахонистых трикотинах, вскоре даже стала нравиться мне. Не ставила попусту двоек, не устраивала контрольных облав. Месяца два поработала без изысков, потом в Гурькином классе провела глубокое погружение в Шаламова. Дети у нее сходили в музей, посмотрели фильм, послушали, как юная американка изучает шаламовскую «Колыму», постояли перед экспозицией, в кабинете литературы у них с магнитофона пел знаменитый бард — «за то, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти...» Была увесистая пачка сочинений — у кого по стихам, у кого по письмам, у кого по рассказам.

А потом Гурька пришел ко мне в кабинет, сжимая белые кулаки.

— Я хочу перейти в другую школу.

А лицо-то закаменевшее, просто каменное, красные веки...

— И мы больше не будем с тобой обедать вместе?

Методички посыпались у меня из рук. А я ступила на них запыленной шпилькой и шагнула к нему. Для меня, завуча солидной школы, мой ребенок — это ... это же...

— Мама, ты знаешь, что ты для меня — это все... И товарищи мои все здесь. Но я не могу... оставаться... — он смотрел в пол, я на него, вся дрожа.

— Сынок, да что за официальность? Может, дома поговорим?

— Ты сначала скажи «да».

— Нет! — крикнула я.

И совершенно напрасно. Гурик и в этом походил на своего папочку Санни - чувствительный, несдержанный, от выплеска - сразу на дно, в депрессию. И ни слова целыми днями. Вот такие подводные змеи. И я с ними всю жизнь. Век живи - век догадывайся.

Я подошла через пару дней, обняла за шею - отодвинул. Меня! Слово «сынок» выпорхнуло и лопнуло мыльным пузырьком. Взяла себя в руки, выпила пустырник, пошла к Берте на урок. На нее это не произвело никакого впечатления:

— Пройдите, Ольга Аверьянна, и— сонно продолжала опрос. Одного поднимет, другого: «Вы явно любите не этого писателя». Я не помню, какая была тема, но Гурьку вызвали, и он тоже сквозь зубы сказал «не готов». Это было дурно, дурно, он не мог быть не готов, он это специально.

— «Неуд», молодой человек, - и Берта накружила в журнале концентрические круги, символизируя угрожающие точки. — Гениальности тут не требуется, а сумма знаний желательна.

У Гульки сквозь отросшие волосы прогорали малиновые уши. Мальчик мой, веснушечка, ну зачем, зачем лезть на рожон? Неужели нормально нельзя сказать, поделиться?

Я знала, куда и когда он ходит на кружок, и пошла туда же. Гулька писал стихи так себе, не очень пронзительные, но в этом была его попытка обобщить белый свет. Он протоколировал все подряд - поездку в горы, девочек-одноклассниц, игры с крадеными дверными половичками, трепет перед Рерихом и Дионисием. Хаотично - да, но так становилось легче взглядом окинуть. Поэтому такой способ осознания, художественный, я ценила невзирая на результаты...

Гулькина литературная шефиня вошла в комнату, панибратски хлопая по плечам лысых мужчин и гордых старшеклассниц, подозрительных молокососов и нетрезвых поэтов. Среди них восседала и Берта.

Шефиня была неряшливая, подержанная дама лет сорока... Может быть, не столько подержанная, сколько усталая? И не то, чтобы неряшливая, а скорее - лохматая? Или слишком занятая? Иногда женщина моет голову на бегу и сушит как попало, у нее и выходит воронье гнездо. Таким лучше не мыть совсем...

Она нашла Гульку глазами, почти пробежала между креслами, плюхнулась сразу с ним рядом. Тот показал ей из-за стола сжатый кулак: по pasaran. Они перемигивались как заговорщики... Тем более он достал свои листочки и подал ей, а она ему свои. И только тут он увидел меня, нахмурился... Волна пронеслась по нему, еще волна. Я страстно хотела уйти. Нако-

нец, мой мальчик, чуть колеблясь, взял меня за руку и подвел к той даме.

—П-познакомьтесь, - с запинкой произнес этот ребенок, эта веснушка золотая. — Вот удачно, что увиделись два человека, настолько мне дорогие... Ольга Аверьяновна... Нила. (Мы одного возраста, а он ничтоже сумняшеся назвал меня - по отчету, ее - как ровню. Меня пошатнула ударная волна, я задохнулась от нее. Эта богемная дама с лохматой цыганской шевелюрой, в немыслимой фиолетовой юбке, местами растянутой от стирки. И рядом мой ребенок во взрослом пиджаке, при галстук... )

—Вы не против моего присутствия? ( Я выговорила фразу холодно, повелительно.)

—Что вы! - пронзительно крикнула богемная Нила. — Ваш Гурик чудо. Стихи пишет, как хрусталь бьет. И я балдею. А что? Вам можно только позавидовать, рыцаря воспитали.

—Какого рыцаря... (Я не нуждалась в ее похвалах, но мне было приятно.)

—Нет, рыцаря. Мои личные дети меня ни во что не ставят, могут и пнуть, а он такой деликатный, добрый... Слезы прямо текут... — Беспардонная речь старосты кружка обдала Гурькины щеки таким жаром, что я лишь рукой махнула. — Ребята, хватит Муму качать, садитесь, читайте тексты, а то опять скажете «не читал, но поговорю»...

Кружок начал обсуждать рассказы Нилы, и я попыталась пробежать глазами хотя бы один. Он был короткий, сентиментальный, напомнил Короленко с его детьми подземелья. Композиция, речь, образы - все вроде ярко, а конец лживый. Второй рассказ ужасный. Герои те же, но атмосферы уже не было, голый сюжет триллера. Третий я не дочитала, меня тошнило. Описывать аборты, в то время как это могут прочесть дети...

Компания доморощенных литераторов, пестрая, диковатая, состояла из людей абсолютно разного возраста, в том числе из каких-то шепелявых индивидуумов... Гурька выделялся на их фоне как ангел. Там было еще трое ребят, девочка, они сидели и рассуждали со стариками довольно вольно. А Гурик, я заметила, очень нервничал. Он отметил, что в детском цикле нашел что-то близкое, только нет, видите ли, «лампочки в конце коридора».

—Со мной случалось то же, что с героиней. Хотя я несколько вырос из нее... Но из совести не вырастают. Если она устанет жить с такой совестью, ей конец. Но! — он бросил взгляд на обожаемую Нилу. —Судя по автору, этого не случится. В конце непременно нужна надежда...

— А про ... Про больницу как? —Нила, вероятно, хотела

пообсуждать аборт. Я готова была прибить ее.

— Про больницу - не мне судить. Пусть выскажутся старшие... — Он оглянулся на меня.

— Хоть бы ребенка ты оставила в покое! - послышался знакомый голос. Это вплыла в гулкое обсуждение Берта. — Твои откровения потаскухи малохудожественны, а для нашего юного друга еще и вредны.

— Юный друг здесь не один, - засмеялась Нила, но смех был натянутым. — За других-то ты не боишься... И потом, он сам за себя может постоять...

— Я обойдусь без вашей опеки! — посмел отозваться сынок, и лицо его покрылось пятнами. — Что еще за хороводы, елки? Берта Борисовна, там нет откровений потаскухи. Там есть загубленное чувство. Возможно, любовная сцена не очень. Ну не умеет человек описать интимную сцену, чтобы это было... возвышенно. Но зато это честно... Эти потаскухи, как вы говорите, тоже люди.

(До какой демократии он тут докатился. Раньше и слов таких не знал.)

— Умник Гурьян, - отозвался седой старец. — Что и говорить, социум прочелся сильнейший. Я, как человек с высшим пенитенциарным образованием, скажу так. Поставим бабу на колени, отдерем, а потом ее же и шельмуем.

(Что он говорит, боже правый, куда я попала? У меня резко засигналило в висках, но правила поведения в обществе я знала. А лучше бы не знать.)

— Здесь смысл в чем? - вмешалась Нила. — Вовсе же не в аборте. А в том, что ребенок все уже знает, будучи зародышем. Он там окопался, как в крепости, и умер, не дожидаясь операции. Он з н а л, что матери он уже не нужен. Отсюда сепсис не только физиологический, но и моральный. Сама готовность убить опережает щипцы хирурга.

- Нет, этому конца нет! - пробормотала Берта, доставая пяльцы с вышивкой. - Мы привыкли, что и ты дрянь, и героини твои дряни, но избавь же от этой помойки детей. Купринские «Ямы» есть в жизни, но они не часть всеобуча. Ты еще «Лолиту» с ним вслух почитай.

- Прошу вас!...- заикаясь, крикнул мой мальчик. - Не употребляй этих слов, Берта Борисовна. Горько их слышать. Нила удивительная, она понимает всех нас, а мы... вы...

Поднялся невероятный шум. Я сидела, как связанная, потом написала Гурьке записку: «Молчи». Мне было противно, что он участвует в бедламе. Мы столкнулись глазами, он кивнул мне. Он всегда меня понимает, мое золото.

- Хватит прозы на сегодня. У кого есть новые стихи? - Нила

с красным лицом все еще управляла своим психинтернатом.

Но мне было уже не до стихов. Я извинилась и пошла. А Гурьке пришлось идти за мной. Попробовал бы он не пойти. Я носила его маленького по ночам в туалет, когда он не просыпался, я будила. Он падал, как лапша, мне на плечо, и я несла его и укрывала, он теплыми ручками держался за мою голову. Я должна его унести, унести... Это омерзительно.

- Она понравилась тебе?

(Он обалдел, дурачок мой. Ольга, держись. Когда на тебя давят, улыбайся.)

- Конечно, это незаурядная натура. (Я должна выиграть время. Я должна отличаться от нее в лучшую сторону.) Ей трудно... Трудно балансировать на таких... острых темах. И вечно читатели путают героя и автора. Разве и так не видно?

- Верно, мамочка. Ты видишь, как ее бьют, а она беззащитна. Автор уже пошел на это, раскрылся, а они его - р-раз! Ты видишь, нельзя тут молчать.

- Защищая одну, ты оскорбляешь другую, - я думала о себе и об этой «Ниловне».

- Мама! Ты не обращай внимания. У них какая-то вражда. Это давно пошло. У Берты любовник уехал в Израиль...

- Боже, как ты заговорил...

- Ну извини. Ее близкий человек, в общем, не знаю. Он покинул ее и страну. Это ужасно. И она хотела покончить с собой. Но Нила отвлекла ее, заманила в кружок. Ты знаешь, какие вещи пишет Берта Борисовна? Почти Хармс. Ты знаешь, как я люблю Хармса. (Я впервые слышала, чтоб Гурик любил Хармса. Он любит Толкиена, это бесспорно. Но Хармс... )

- Ты отпустишь меня в другую школу?

- Да. (Буря ты моя магнитная, как я тебя отпущу, куда, из-за какого-то гнусного кружка, из-за каких-то абортотворцев... У старых графоманок междоусобная грызня, а мой мальчик, чудо губастое в галстучке, при чем здесь он?)

- Mam, я ненавижу ее. Я не могу слушать в классе, как она рассуждает про вечные истины, а сама, как она умеет издеваться! Какой же она учитель после этого! Гуманизм где? Mam!

- Успокойся. Хотя бы меня с Бертой не путай, а то у тебя скоро все будут враги. Кроме Нилы...

- Она такая талантливая, мам, она и прозаик, и стихи пишет. Не веришь? Давай пригласим ее в гости? Она весь вечер петь будет... Послушай! «Звучат в душе натянутые струны. Немного опираясь на гитару, ах, этот миг неповторимо странный Подобен сердца легкому удару. Не в силах вымолвить ни слова, В застывших звуках изваянье, Я очарован, околдован, Неведомым

очарованьем»... - он был в лихорадке.

- Ну хорошо.

Дома, за одним столом с Санни, она неопасна. Санни, если в ударе, весь вечер проговорит про Ричарда Баха. Он заговорит кого угодно, он красив, эзотеричен, седой чуб будет падать на высокий лоб...

Она пришла в белой шелковой блузке и цветной юбке, как в шестидесятые годы. Санни был в ударе. Показывал фотографии четы Бахов, первые журнальные публикации, потом изящные томики, которые накупил в последнее время в частных лавках, читал отрывки. Я улыбалась, подливала ликер. Гурий томился и ерзал. Он мечтал поесть и улизнуть с ней в свою комнату. Но Санни был широк, как половодье. Гурька непочтительно обрывал его и протягивал Ниловне гитару.

- Брось, милый, - отвергала она, - я тащусь от Баха.

Она смотрела на Санни, как на заезжую телезвезду. К нам в город недавно приезжал герой сериала, наши дамы доставали билеты по сотне за вечер, это при их зарплате. Нила была из них, из этих. Она глотала любую приманку, как глотает ее плесб.

Санни же был изыском. Пришлось с ним помучиться, конечно. В молодости он ушел от меня, не выдержав семейной рутины. Но потом увлекся «Домом Горшечника» и вернулся. Это было странное увлечение, его даже допускали проповедовать... Хороши были проповеди под гитару. Но пел он потрясающе, и число прихожан стремительно росло... А меня при Горшечнике прежде всего поражал полный отказ от вина и абсолютная преданность семье. Ребенку и мне, его бедной возлюбленной жене. Потом пришел черед какого-то индийского гуру. Санни помчался в Индию, заняв у друзей доллары. Ничего, долги мы с ним выплатили постепенно. Я к тому времени уже оставила садик для трудных детей и перешла в школу, закончив курсы повышения квалификации.

Теперь вот настала эпоха чистой эзотерики, вегетарианства и книг Баха. Санни то ел спраутс, то позволял себе кальмаров... Конечно, такой человек, впитавший несколько моделей жизни, стал еще более причудливым, чем раньше, только в нем не было больше агрессии. Он говорил легко, со всеми был ласков и весел. От него исходили волны иначества и знания главной жизненной тайны. В наше время это редкость. Нила смотрела на него с открытым ртом, забываясь, брала его за руку. При этом у нее пуговицы блузки плохо держались и выскальзывали из петель, а она этого не замечала.

- У меня тоже была такая блузка лет десять назад, - поддела я ее.

- Да! - радостно откликнулась она. - У меня все гуманитарное. Нет ли у вас старья от сыночка? Может, вырос из каких джинсов? Мои будут носить, ничего, они поменьше.

- Я посмотрю, дорогая Нила. У меня полный шкаф лишнего, все наглажено.

Гурька приставал с гитарой. Она запела, и что? Жить можно. Не так уж страшно. Цветаева в переложении для заводской общаги. И то хлеб, что не «Одесса-мама».

Санни откидывался в кресле, как Ленин, блестел глазами. Он к старости становился барином, благородным, величественным. Он умел сделать любое общение праздником...

- Это лучше, чем медитация. Скажет тоже. У меня монеты, ножницы примагничиваются к лицу, он не замечает. А тут - медитация. Но надо было видеть Гурика. Само вдохновение, сам Орфей обдувал его мальчишеский лоб. Любил Павел свою старую Ниловну, ну что ж поделаешь...

Потом мы с Санни стали уносить посуду, а Гурий, крикнув, что покажет госте рисунки, плотно закрыл дверь к себе. Мы накрыли к чаю, звали их, но они так и не вышли. Это было уже неприлично. Мы включили музыку, чтобы не слушать их бесед, но они сперва говорили тихо, потом расшумелись не на шутку. Даже толстая дверь с мелким остеклением - это все Санни сам сделал! - не спасала.

- А ваша дочь, которую я учу рисовать? - это Гурька.

Кого он там еще учит, если бросил художку? Мы с Санни только переглянулись.

- Вы бы пожелали ей такой... женской участи, что ли?

- Да нет, котик, дочка не к месту. Она, во-первых, уже старше Лолиты, а во-вторых, ей нравятся не такие, как твой отец, а такие, как ты... А мне, кстати, понравился твой отец... А ты жутко похож на него.

- Тише, Нила, тише, ради всех святых. Я ведь не об этом. Неужели для тебя так неважен предмет? Гумберт не просто убил мать, чтобы насиловать дочь. Он хотел вывернуть ее наизнанку... (Не слышно, не слышно. Боже правый, о чем они? Все-таки читают вслух «Лолиту»?)... Что она из себя представляет... Абсолютно. Я разочарован, понимаешь. Я думал найти не просто любовь, но ее личностную причину. Почему именно она... Именно он... И вот те раз, сплошная порнография.

- Ты сошел с ума. Набоков - порнография? И тебя не бил озноб?

- Нила, озноб - это тоже физиология. Я м-молод, я легко завожусь. Но это же область низкого, а ты говорила...

- Сам ты низкий, Гурька. Я думала, ты взрослый. Дело не в кровати. Дело в том, что он приговорен к ней, он не может ото-

рваться, сам не рад, что такой скотина. Думаешь, он не понимает? Все понимает. Но это сильнее его. И несмотря на предмет, как ты говоришь, это больше, чем книга, это потрясающе живая вещь. Бушующая. Как написано!.. Это же пьянит сильней вина. Это создана новая реальность. Реальность ярче, чем жизненная первооснова. Вот как писать надо. А мы...

- Плевал я на такую реальность, которая одного услаждает, другого калечит... ( Молодец.) И не говори мне больше.

- Котик маленький. И говорить с тобой нечего. Вырастешь, сам поймешь...

- Нила, подожди. Послушай. ( И снизил голос... Не слышно! ) - Что они там делают? А что делаю я, если не подслушиваю? Фу.

- ... И что потом? - это Нила.

Он рассказал ей что-то, чего не знаю я? Что он мог рассказать, чтобы убедить ее в своей взрослости? Роман? У него был роман, у моего солнышка. Он там душу ей изливает, а я за дверью, как нищенка. Я включила музыку громко, громко...

Так Гурька и перешел в другую школу, ничего не поделаешь. С ним я хоть иногда вспоминала про обед, а тут и в столовую перестала заглядывать. Дел находилось довольно. Лора Евстафеевна приносила мне в термосе горячий какао из столовой, вызывала милицию для заключения договора, чтобы как-то оградить вторую смену от извращенцев. Эта же милиция и сняла с липы паренька из девятого, избитого в туалете. К тому времени директор Сабильчук вернулся с курсов, чтобы заниматься всем этим кошмаром. А меня так подкосило, что было, честное слово, не до Ниловны и ее сомнительного кружка. Я между делом насобираала Гурины вещи и велела передать этой бедной матери. Однажды прихожу с педсовета - дверь на цепочке. Я подергала, Гурька открыл. В передней стояла Нила, одетая в пальто с рваными рукавами. В руке у нее была моя дорожная сумка с обносками, а лицо, лицо не описать. Болезненное сверканье глаз, румянец точно наведенный, и явное отращивание от мира, точно у человека температура...

- Кажется, ты даже не пригласил гостью к чаю? - провозгласил мой завуческий тон, не я. Одновременно говорила это, машинально шла мимо них в шубе через всю квартиру и села затем на диван. Ворс шубы рыжий, енотовый, белое покрывало греческое, кольцами, как овечьё руно, лохматое. У меня все натуральное, ясно? Никогда не хожу одетая ни дома, ни в гостях, ни на работе.

- Она торопится, мам, - отмахнулся сын. - Значит, из-за этого инцидента? Нила! Войди в сознание. Она не может тебе про-

стить, что ты ее тогда выгнала, так?

- Так.

- А ты мучишься, что ее выгнала, так?

- Так.

- Так и бог с ней, слышишь?

- Бог...

- Нила. Я тебя люблю все равно. Несмотря на то, что ты такая несобранная. Но ты соберись. Не слушай ее, ладно? Я все время там буду торчать и мешать ей...

- Я тоже тебя люблю. Видишь, как плохо.

- Чем же плохо? Ненормальная.

- Это кончится вот-вот. Потом, когда ты встречаешь, и тебе влетает за меня, мне больно. Я даже стих про это написала, вот этот: «Не пощада невинных плеч с посконной логикой одной, они и брата стали сечь за то, что ласков был со мной...» Пони-маешь, что значит больно! - она это говорила сквозь зубы, как-то зло, точно мальчик был виноват!

- И мне. Вот видишь! А говоришь - кончится. Никогда не кончится. Лампочка в конце коридора пых. И горит.

(Этот дурачок сел на своего романтического конька...)

Они были счастливы там, в передней. Наверно, грустно улы-бались друг другу. А я была несчастна, сидя в дорогой шубе на германском диване. За Ниловой хлопнула дверь, Гурик про-шел к балкону и встал как вкопанный. Футболка на нем съежи-лась - вырос, кисти подросточьих рук тяжелые, с переплетен-ными жилками - он подрабатывал дворником, я настояла... Смотрите, а ведь мужчина. Он понимает, что надо защищать женщину, когда ей что-то угрожает. Но она-то, она! Привяза-лась к младенцу, идиотка проклятая, неужели не понимает?! Неужели своих детей нет, чтобы вулканическую любовную лаву направить куда надо?

Через неделю начались праздники, потом у меня и Гурьки экзамены. Ниловна звонила, но я его не подзывала к телефону. «Мальчик учит?» - «Учит, учит...»

Однажды вечером она произнесла:

- Ольга, тут есть проблема с Бертой Борисовной.

Я молчала, ожидая чего-то ужасного. Сердце заколотилось.

- Ольга, она ходит на работу? - она забыла, что у меня есть отчество, и что я ей не подруга.

- Берта Борисовна ходит на работу.

- Так вот, она нездорова. Она в любой момент подойдет и скажет гадость, только вы не слушайте ее.

- В каком смысле? - я задыхалась, она тоже там как-то каш-ляла и сбивалась.

- Она мне прислала письмо, там есть угроза, чтобы я отста-

ла от девчонки. Ну стихи пишет девчонка, мы с ней подружались, а мать почему-то против. Видно, не хочет, чтобы девочка поздно ездила по ночам. Это знакомые Берты. Берта велела отстать, я не послушалась. Теперь она хочет вам сообщить, что у нас с Гуриком отношения, грязные отношения...

Сердце заколотило наковальней в горле, в ушах...

- Я подам в суд на вас обеих! Вы соображаете, что вы говорите?

- Ольга, послушайте. Я же первая вам говорю. Если бы это была правда, то блин... Неужели я до такой степени?.. Я говорю - она нездорова. У нее депрессивный психоз, любимый человек уехал навеки в Израиль. Она не понимает, что делает. Вы простите, но я хотела как-то предупредить. Никаких судов не надо. Все это ерунда, шум один.

- Вы все сказали?

- Все.

- Будьте здоровы.

Это были последние слова, которыми перекинулись я и Нила. На другой день действительно ко мне подошла Берта Борисовна и при всей учительской сказала, чтобы я запретила Гурику посещать кружок, потому что весь город говорит об этой связи. Я сказала, что учту ее пожелание. Надеялась, что до сына не дойдет. Однако я поняла вскоре, что он в курсе. От каждого телефонного звонка вздрагивал, как от тока.

Я пристально смотрела на него и отрицательно качала головой. Он не смел послушаться. Я брала трубку и четко говорила:

- Его нет дома.

На глаза у него находили такие слезы, что казалось, его на дыбу сажают.

- Мама! - кричал он на меня, носившую его на ручках в туалет. - Мама, нельзя же так! Я должен прийти и сказать ей, что никто в это не верит. Что ты не веришь, ты! Господи, мама! Нельзя так с человеком, ведь это же имя ее, честь ее, она не виновата.

- А о моем имени ты подумал? Или о своем хотя бы?

- Да я ведь мужчина! Мама. Она столько сделала для меня, она меня во все газеты, на конкурсы, она столько билась со мной, а я...

- Нет, говорю. Ты не посмеешь.

Он не посмел. Он любил меня, слава богу, он понимал, что мы такое друг для друга. Санни не вмешивался, только смотрел, смотрел. Только один раз раскрыл рот, чтобы сообщить, что сегодня чистил память в своем компьютере и убирал лишние файлы.

- Надо вовремя выбрасывать устаревшие файлы, - молвил он, поглядывая на молчащего в тарелку Гурьку.

Мне иногда казалось, что его эзотерические искания, его парящие чайки - это только повод уйти от нас с ребенком. Он как бы рядом, и как бы не здесь. У него есть его виртуальная реальность, он экранировался ею от нас, и в то же время есть возможность наблюдать... Если раньше, в юности, он слишком остро на быт реагировал, то потом, к старости, он перестал реагировать совсем. Зато уж Гурька был вообще с душой нараспашку... Весь в него, до капельки...

На концерте этой осенью, когда Гурька пошел в десятый, мы вдруг увидели ее в фойе. Я сделала вид, что не вижу, как он подошел и, осветив весь зал своей ангельской улыбкой, сказал:

- Здравствуй, Нила.

На что она грубо, по-плебейски, ответила:

- Канай отсюда, сынуля.

Испытав легкое торжество победительницы, я все же дрогнула от боли. За него. «Понимаешь, что значит больно!» - отдалось эхом. - «Понимаю!» - резонирую я... Он осунулся, позеленел, одевался, зажмурившись, застегивал куртку не на те кнопки, одна пола ниже... Он распахнулся, а его - р-раз! - и хлестнули, и он запахивал куртку, не умея застегнуть неумелую душу. Она летала вокруг как безумная чайка, валясь на одно крыло.

Я хочу уберечь его, я хочу унести его на ручках из темноты в ласку, свет и тепло. Загораживаю его, экранирую, а он страдает от этого... Моя совесть спокойна: я удалила его из очага напряженности. Но внезапно вспоминаю худую и невозможную мать моего Санни. Ту женщину, которая баюкала своего сынулю, моего мужа, и забаякала до тепличного состояния. И вот теперь мой мальчик, который раньше времени стал мужчиной, возникает как т о т сынуля. Что ж я сердилась на нее? Не помню. Я начинаю понимать, что во всей этой истории я сыграла не очень благородную роль. Боже! Может ли быть преступлением то, что я не дала ему драться с мельницами? Ну нет, это нет. Цена слишком дорогая.

Санни нашел свое убежище. А я, я должна держаться, когда на меня едет каток совести. Держись, Ольга, не плачь, не то потеряешь свое золотко. А пока еще есть какой-нибудь шанс...

## ГДЕ МОЯ КРАСОТА, ДАМИАН?

... Через телефон общаться не получается. Я тебе звоню — у тебя там начальство, много не наговоришь. А ты мне звонишь — меня дома не застать. Накопилось столько всего! Я бы сказала — у меня любовная горячка. Если можно так говорить о работе, которую любишь. И как бывает в любви, тебе дают отставку в самый разгар событий! И чем горячее и любовней, тем стремительней летишь в канаву...

Я же думала — я нужна, понимаешь? Я сдавала много строчек, и люди мне верили. Но редакция меня все равно ругала. Сначала придирки по поводу отсутствия элементарной грамотности и культуры («Таких, как вы, на пушечный выстрел к газете нельзя подпускать!»), потом вообще по тематике («Да зачем нам ваши театры и стихи, вы давайте по делу, по делу»), а потом вроде и характер у меня отвратный — дальше некуда, и чьи-то имена я треплю на каждом углу...

Честно, я надеялась, что вот-вот их субъективизм отступит перед моим старанием. Ведь я себя преодолевала, смирялась ради дела, подавляла желание писать хохму и писала проблемную железку. Мои рубрики «Куда течет река прогресса», «Человек судьбы» и «Кресло рецензента» разбавляли производственный сушняк рабочей газеты. Ну а как же иначе? Людям невозможно с утра до вечера знать одну работу! Они же с ума сойдут от узости пространства, от одного этого «Северного коридора»...

Помнишь, как я в рубрике «Семейный круг» устроила опрос насчет измены? И больше половины опрошенных ответили, что измена находится в прямой зависимости от пустого холодильника. И абсолютно все подтвердили, что измена — непреложный атрибут семейного счастья... Мои знакомые с хохотом рвали газету из рук, а в редакции мне сказали: «Ты что насаждаешь? Моральный беспредел? Если у тебя знакомые так и е и ты самая т а к а я, то это не значит, что порядочных людей вовсе нет». А что я сделаю, если они так отвечали? Их никто за язык не тянул. Анкета была анонимная, говорили, кто хотел.

Я стремилась, чтобы газету читали, чтобы смешно было, а меня взяли и вышвырнули. Не посмотрели, что трое детей, не усомнились: а, может, негуманно это? Какие уж там сомнения! Страх смерти: все равно конец близок, кого-то надо убивать первым.

Однажды мы, маленькие, с сестрой отдыхали на море и заигрались на песчаной косе, где воды всего по пояс. Коса далеко в море выдавалась, мы от берега нечаянно и ушли. А как

сошли с косы, так и ухнули в бездну. Сестренка, бедная, цеплялась за меня, а я ее отталкивала, потому что тоже не умела плавать, как и она. Разве я ее не любила? Любила. А почему отталкивала? Потому что природа включила инстинкт самосохранения. Я под водой, но все же двигалась, плыла, а она сразу пошла на дно, я помню ее макушку, последнюю прядь над водой, тонкие руки, тающие в зеленой глубине.

Ее спас какой-то спортсмен. Мы выползли на песок, плача от ужаса, не понимая, о чем все кричат... Но всю жизнь я помню, как ее отталкивала. Загубить могла... Помнит ли она?

Наверно, все мои сотрудницы включились в подобный режим самоспасения: «Не ее, так нас...» И вышибли меня, вышибли.

Я хотела научиться работать с живым материалом, хотела уметь его комкать и перерабатывать в слова. И вот тебе, научилась.

Когда я пришла увольняться, они опять сидели и буйно рыдали, не замечая меня. Внутренние причины продолжались. Но зачем тогда они говорили, что во мне корень зла? Вранье.

Когда я подписывала обходной, за спиной слышала шепот: «Она хуже всех, вот и сократили». Я чувствовала себя отбросом. Летела в проходную, как в мусоропровод! Ты не понимаешь, что такое третий сорт. У тебя на работе тихо и стабильно, тебя не сортируют. А я впервые через эту молотилку прошла. В результате отбраковки у меня разрослись всякие комплексы. Немыслимо казалось с этим спорить! Вот такие предпосылки.

И я пошла к психоаналитику. Не думала, конечно, что это может иметь серьезное значение в моей жизни. Хотелось просто отвлечься от кошмаров...

Но кошмары же у каждого свои. У тебя, например, благоверный катится в пропасть. Возможно, он думал, что завоевал тебя раз и навсегда... Потом обнаружил, что нет, приходится отвоевывать и завоевывать всякий раз заново. И это его как-то подкосило. Или он почувствовал твою нелюбовь, кротко и стойко скрываемую. И подумал — вот еще один приговор. И вырубился. А не сообразил, что любой приговор можно обжаловать. Как я решила обжаловать свое увольнение...

Мы ведь так дружили с ним до того, как он женился на тебе.

Пока я кормила детей, зашивала колготки, он чинил мне детскую кровать деревянную. Мы разговаривали часами. Он рассказывал, как ездил в дом Цветаевой, как любит музыку, стихи свои приносил. Еще рассказывал про друзей, как ненавидит их за пьянки и за тупость, но бросить не может. Он помогал мне вечера поэзии организовывать, искал художников, доставал

редкие книги.

А когда я дала ему Анчарова, у него вообще был страшный подъем, он твердил, что это все е г о р о д н о е, что он думал об этом, но не мог сформулировать. Анчаров угадал его мысли...

Так что я не могу представить, как это он неделями молчит. Значит, это теперь совсем другой человек. Может, его надо заставить ревновать? Чтобы он как-то вышел из оцепенения?.. Как зачем вмешиваюсь? Затем, что мне не все равно. Получается, что вы оба такие бесподобные по отдельности, а вместе — полная безысходность. Ну это же нелепо! И поэтому тебе тоже надо сходить к этому психоаналитику.

Психоаналитика зовут Дамиан. Представляешь?

Ты сходишь по делу, решишь свои проблемы и заодно увидишь диковину. Я объясню.

Я туда шла одеревеневшая, уничтоженная, растоптанная внутренне и внешне. А оттуда уже не шла, а летела, вот как. И не замечала холода, голода, не вспомнила, что не ела целый день! Прямо-таки окрыленность, других слов не подберу.

Пришла домой и сказала мужу: «Если ты не веришь, что я неповторимая женщина, я принесу тебе справку с печатью». Тот давай смеяться. Вот он всегда так. Заранее все знает, как рентген. Скажешь, что на вечер надо — ноль реакции. Скажешь, что цветы от поклонника — бесполезно. Уж как будто никто влюбиться не может, никто цветы подарить не может! Ну, научила меня подружка на работе насчет цветов, ну, на базар все равно за картошкой идти, почему не купить цветов заодно, не пошутить? Невозможно быть такой унылой, сермяжной... Хочется удивить наконец, хотя бы и так...

Мне, конечно, интересно, какие женщины были у него до меня. Что характерно — все они лучше меня, все необычные, экзотичные, все красавицы из ряда вон выходящие! А я? За десять лет три декрета. Деградация внешняя и внутренняя...

Но психоаналитик! Он поколебал мои установки насчет деградации. Дал понять, что поезд еще не ушел. «Лицо у вас, — говорит, — с тонкими выразительными чертами и печатью интеллекта». Это якобы контрастирует с резкими движениями и угловатой фигурой. Природная чувствительность может быть развита и выведена наружу.

Пластика может быть гармонизирована... Надо танцевать под любимую музыку, когда нет никого. Чтобы плавность стала привычкой.

Слушай внимательно. Они — Дамиан и его фирма — будут искать твой образ. Ты сейчас скажешь, что ты и так его знаешь. Но ты его знаешь на самом начальном уровне, на бытовом. Что тебе идет, какой макияж, подходящие цвета... А они копнут

поглубже, по методике, по науке. И интеллектуальный аспект, и сексуальный. И даже социальный, по общению. И все это в форме живой веселой беседы, легко, сумбурно. Непринужденный летний щебет, волнение в крови.

Да, предыстория. Введение в предмет. Ты знаешь, кто такая Раннаи? Так называется фирма Дамиана — по имени любимой жены египетского фараона Аменхотепа. И коль уж она смогла очаровать и покорить даже фараона, она и доныне заслуживает известности и почитания. Культ женщины — единственный культ, который Дамиан признает. В остальном он привык делать не то, что надо, положено, а то, что он хочет.

А долг? А долг — это насилие.

Дамиан в восьмом классе сдавал экзамен в майке. Учительница достаточно изучила его и предвидела все, кроме гейзерного выброса. Она просила его прийти в рубашке, как и всех остальных. Но он пришел в майке, и его не допустили. Потом испугались, пришли домой и попросили пересдать. И он снова пошел и сдал экзамен, но — в майке. И после этого перешел в другую школу.

Он работал журналистом после окончания университета. Но ни одна газета не устраивала его по степени свободы включая «Комсомольскую правду». Имелась в виду не только гласность, но и форма, в которую она выливалась, то есть свобода творчества. Если ему не понравились редакторские правки в материале либо люди, которые их делали, то все. Больше он не принуждал себя и покидал освоенное пространство с той же легкостью, с какою в него попал.

Дамиану можно позавидовать. Он сумел экранироваться и обособиться, он развил в себе неслияние... Хотя, наверно, это отражалось на уровне его жизни. Духовное духовным, а жить-то на что? Потребление жиров, белков и углеводов. Необходимость прикрыть брэнное тело, защитить его от мороза. В конце концов, жена. Как на это смотрела жена?

Дамиан проронил, что если у мужа и жены нормальные отношения, то она всегда поймет его. Так, как надо ему.

Выходит, гармония? Гармония. Для него. О ней умалчивается.

Ну, я не знаю. Или они с неба упали, или просто обманывают. Говорят полуправду. Под неучтенный фактор прячутся.

Методика Дамиана предусматривала только вопросы Дамиана. Но уж никак не мои! А я была и есть неисправимая трещотка. Я давила на хрупкого Дамиана, хотела знать то, что мне знать не положено. Ведь когда меня сжигает любопытство, я прую напролом, ты же знаешь. И Дамиан, как истинно тактичный человек, не хотел меня одергивать. Поддавался — да, ус-

тупал — да. Хотя не должен был, понимаешь? Если каждой клиентке раскрывать свои личные заморочки — никаких сеансов не хватит.

Дальше — больше. Он даже признался, что единственный из всего нашего города ездил на международный театральный фестиваль.

В газете было объявление. Он прочел объявление, отправил по адресу свою новую пьесу. Вот его и пригласили. Он общался там с Арбатовой, Гуркиным, Рошиным... Трепетал? Отнюдь.

«А что они могут мне дать? Свой уровень я выяснил. Стать чистым драматургом, ограничить себя до такой степени? Я не хочу себя ограничивать! Свою пьесу я не могу доверить ни одному нашему театру. Это скучно. Может быть — Васильеву, который работал с Любимовым и Судзуки».

Значит, стилистика Судзуки ему близка, а больше ничья не близка. Боже мой. Ну что может заставить человека так думать? Высота планки, подсказанная талантом. Отсюда и уверенность в себе. А раз он, посвященный, верит, почему мне, непосвященной, не поверить?

Однако меня заинтересовала пьеса. А пьесу он мне не дал. Кто я такая, чтоб раскидывать передо мной ковры творчества?

Но в самой беседе — нет, в беседе он не давал понять, что он выше. Наоборот, обращался со мной ласково, учтиво, с превосходными степенями прилагательных, в этом было что-то восточное.

Да и сам Дамиан нерусский, смуглый, томный, зловещий, как агент иностранной разведки.

Представила, да? На фоне такой учтивости чужая грубость еще заметней. Я обнаружила это и смутилась до дурноты. Правильно, он вежлив, он будет приноравливаться к той собеседнице, какую Бог послал как клиентку, хотя послал он далеко не лучшее творение... М-м-м... Пусть ему будет скучно и мерзко, он смирится.

Я смутилась и загремела по рельсам пуше прежнего. Ты знаешь, как меня заносит в таких случаях. Ну что ж! Вот перед вами плебс, уж извините-подвиньтесь. Пусть думает — мстительно хотела я — тетка с улицы, что с нее взять. Дом, дети, посуда, стирка, а она по воскресеньям желает становиться красоткой...

Еще мгновенье — и я стала развязной теткой с улицы, сама того не заметив. И детей-то я порю, и посуду бью, брызги вдребезги, и лечу вразнос от бессильного зла, вся на нет изошла, израсстратилась... Дети не любят, подруг нет, мужчин тоже. Да и хорошо. Им добра желаешь, на другой уровень тащишь, согреваешь и заманиваешь, а они, как идешь в абортарий, даже

по голове не поглядят. Ты с ними живешь духовно, а они с тобой - телесно. Да и то извращенным способом...

Дамиан только брови поднял. Сознаюсь, переборщила. И он понял это. Сухо попросил продолжать: «Сброс эмоций, пусть только отрицательных, тоже необходим».

Некому с нами возиться, дорогая. Некому выслушать. Ну, соберемся мы с тобой на кухне раз в полгода, ты расскажешь, я расскажу. Но мы только фиксируем, а чтобы качественно проанализировать — нам слабо. И ты, и я одинаково беззащитны перед тем, как неумолимо желаемое не превращается в действительное.

Оказаться в озере внимания — горячий шквал и укол внутривенно.

Ну и что ж, что за деньги. Разгрести чужие авгиевы конюшни — это не мед. На эти рудники идти бесплатно — фарисейство.

Почему он спросил про «Империю чувств»? Потому что обнаружил некоторый зажим в эротосфере. Через кино дал высказаться. А может, он предчувствовал, что сяду в калошу. Сам он «Империю» посмотрел, все понял и жаждал позабыться моим косноязычным лепетом. В свое время я ходила больная после этого кино. Муж сказал — надо смотреть, и ему стоит доверять, он гору искусствоведческой литературы прочел, сам киносьемкой увлекался много лет. Но я боялась, что не пойму ожидаемую мужем шедевральность.

Это было не кино, а камера пыток. Я стонала и металась, растрепанные нервы рогожными полосками взлетали на сквозняке.

Напряжение шло от страха, от ожидания непонимания.

Давно известно, что ожидание гораздо хуже того, чего приходится ждать. Я боялась неведомого так, что уже не могла воспринять эротическую сторону. Я думала: вот уж страх так страх, но дальше будет еще хуже, я не вынесу... Меня парализовала не откровенность физиологическая, а то, что ей хорошо, и поэтому она хочет его убить. Я думала, что наслаждение в отдаче, отречении, в порыве — все для другого. А оказалось: наслаждение самодовлеюще и пожирающе, включая захват, порабощение, издевательство...

«Какое издевательство? — мягко изумился муж. — После того, что он испытал, ему уже было все равно, и даже умереть не жаль».

Так значит, вот что. Они испытали нечто, после чего умереть не жаль! Не могу даже представить, что это такое, только догадываюсь, что этого у меня нет, не было и не будет.

Но в таком случае я как-то зря живу на белом свете. И, может быть, меня нарочно дразнили этим и давали знать, что мне не понять в силу низкой организации.

Предмет заслонил средства. Я уже не в силах была различать операторскую работу, актерскую игру, следовательно, не сумела оценить фильм как шедевр. Только как факт.

У меня закипела зависть к реальным людям, поскольку они откололись от жизни и делали, что хотели. И они спокойно погрузились в свои пучины чувственности, а те, кто их снимал на пленку, — сумели обособиться от принятых норм и снимали, что хотели.

Может ли быть безнаказанной такая свобода? Должна быть.

Дамиан специально задавал неожиданные вопросы. Ну мало ли что ты не любишь, я тоже не люблю. А что это значит — не люблю? Значит, скрываю нутро свое, значит, есть, что скрывать. Ну, при этом вообще опасно к людям подходить, все ведь не скроешь. Но так неинтересно. Что касается опроса...

Сначала стыдно, потом меньше. Потом скользко, нереально, дурашливо и пьяно. Вопросы шли по кругу, круг сужался и ускорялся, скручиваясь в воронку. И привел опять-таки ко мне.

Какие я помню сны. При чем, думаешь, сны? При том, что все проблемы из детства. Так вот, сны у меня были грустные и светлые. Как у Кузьмина, знаешь: «не видать открытых светлых палуб и судов с косыми парусами, золотыми в зареве заката, что случается — должно быть свято...» Снились корабли и анчаровская Древняя Греция, которую я не видала, но раз Анчаров любил ее, то любила и я. Закатный плеск воды и смуглые люди в белом. Ожидание хорошего.

Но это сны. А в жизни помню себя очкастую, страшную, дразнимую всеми, всегда виноватую и зареванную. Нет, стой. Помню необъяснимую радость, когда я выкупанная, после ванны, после длинной муторной четверти, ложусь в постель, закутываюсь в чистое, пахнущее морозом. Подушки в цветочек, простыни. В руках толстая книжка «Дети капитана Гранта» и тяжелая желтая груша.

Наверно, это было не до, а после шести лет, но какая разница. Хорошее есть хорошее, и в нем всегда есть ожидание хорошего.

Помню: несмотря на мой невыносимый характер, со мной возились, любили, нежили. И разве я могла быть плохой в такие моменты? Нет, немислимо.

Подслеповатая мечтательница, я мало что понимала, вся там, в своих книжках. Во мне той начинки было под завязку, я даже чувствовала, как меня распирает, и рассказывала подружкам.

Это было время, когда мне было хорошо, когда была я дорога кому-то. А что было хорошего потом? Вспомню. Мы в дет-

стве дрались с сестренкой, ненавидели друг друга, потому что она говорила — деньги важнее всего, власть важнее всего, а я кричала — нет! Вот и дрались. А потом выросли и подружались. Она баюкала меня, баловала, кофты мне вязала и знала наперечет, в кого я влюблялась. Как я гордилась ею и ее заботой обо мне! Это для меня был показатель, что я чего-то стою... Глупо, ей-богу, ведь она меня любила не за достоинства, а за то, что я кровиночка. Кровиночка — моя великолепная, великодушная подруга, моя радость, попечитель, моя мама-и-папа, птичка на веки вечные, щебечущая о моей исключительности...

Когда я приезжала к ней, она ахала, навешивала мерцающие шарики мне на уши, находила пеструю шумящую юбку, и я на глазах молодела лет так на десять. А вот если бы не отдыхать рядом с ней раз в несколько лет, а жить так всегда? Чтобы приятное стало нормой? Нельзя. А ведь когда мне хорошо, я настоящая.

Я вспоминаю об этом всякий раз, когда утыкаюсь в пахнущий морозом цветочный ситец. У каждого свое: у кого-то - старая заигранная пластинка, у кого-то хруст зеленого огурца, и это все из детства, как у меня стиранные цветочки.

Ах, я знаю себя не первый день, дневников исписала горы, тридцать тетрадей, жизнь свою передумала и переплакала не однажды. Так что это за фрагменты воспоминаний, как перед смертью, что случилось-то? Не понимаю.

Это же просто Дамиан, у него методичка! Он сидит и нажимает на известные ему кнопки, а я в трагедии ударяюсь! Ведь это все игра, в ней глупо ставить высокие цели, тем паче их достигать.

Но тебе легко говорить, ты у нас виденье — мимолетное, утонченное, затаенное... Такой образ!

А я сорок лет живу на свете - и все без образа.

Ты рассказывала мне про парижский вечер Марины Цветаевой. Красное бархатное платье, как стяг, стан — древко. Это видела она, а дамы в первом ряду морщились, «где она только достала эту побитую молью рухлядь».

Когда я пыталась кому-то втолковать, как я вижу, как люблю мою Марину, возникал забор. Я ходила выступать в десятки мест, но всякий раз это было продолжение одного бесконечного монолога. Я рассказывала, пела на сильнейшем взводе, и всегда мне становилось чуть легче. Но забор был всегда! Публика сопротивлялась, как в Париже... Надо мной хохотали на вечере Цветаевой в СПТУ, чуть не лопнули. Мне приходилось выгонять их в коридор, чтоб они спустили пары, эти девочки с мочалками на голове, эти мальчики в пузырястых малярских

штаниках, при них даже слово «постель» нельзя было сказать. Каково им было вытерпеть: в коричневом балахоне, бе

Ах, но две жизни не проживешь.

Достичь гармонии — это читать Гессе, танцевать по двадцать минут, это растить в себе гордость... Если растить в себе гордость, то нельзя ходить по всяким СПТУ и набиваться со стихами о любви. Сделать так, чтоб все это цвело только во мне и только для меня.

Чтобы возникло единство внешнего и внутреннего, чтобы любовь моя внутри облагородила меня внешне и «не выпирали резкие жесты»...

А почему раньше ничего не выпирало?

Раньше я была молодая и худенькая, платья цыганские носила до полу, красилась до ушей. Тени век, румяна, рот — все сиренево-вишневое да фиолетовое. Что ни одену — все было блеск! Шила батистовую блузку за одну ночь и утром в ней на работу, соски торчали через ткань, мне хоть бы что. И никаких лифчиков не признавала. И бегала быстро, и смеялась звонко. Где теперь та красота, Дамиан?!

Ах, все эти советы насчет гордости и сдержанности. Как они невыносимы, как неприложимы к той загорелой цыганочке. Разве я — не она, разве я стану их слушать? Целый перечень умных советов и фасонов, есть над чем голову поломать. Быстро же фирма сочинила мне рецепт красоты. Хотя я не торопила, не заставляла мордоваться: «Не мордуйте девушку, Дамиан, пусть пишет спокойно...» А он: «Девушку, простите, что?» Слов «мордовать и трахать» он не знает. Или делает вид, что не знает, и вообще на подобном языке не говорит. И мне не советует.

Знаешь, дорогая, как заразительно. Даже я неуклюже стала выбирать слова, ты бы не поверила. «Право, мне неловко, Дамиан, я непростительно себя веду. Так задержала вас...» Неловко ей! Мальчик выпендривается, а ей неловко!

Неужели это я?

«Конечно, это вы, драгоценнейшая, может быть, вы — лучшая. У женщин, знаете, набор теней в косметичке, и одни протерты до дырочек, а другие не тронуты вовсе... Вот и вы — вы просто не знаете всей своей палитры».

Ты можешь себе представить?! Какая мощная иллюзия радости, молодости, новизны? Тут трудно разделить, где правда, где мечта и, наконец, обман. Слишком зыбко все, но слишком заманчиво. Слишком хочется жить, раскинув руки...

И я, конечно, разнесла бы по всему белу свету, только Дамиану не нужен дамский ажиотаж. Он хочет работать в тепличных условиях. Как знать! Может, тепличные условия — един-

ственно нормальные условия, в которых мы все должны и жить, и работать...

Вижу, я тебя не убедила. Почему разные вещи, почему? Просто у меня одни проблемы, у тебя другие, однако важен не предмет, а подход.

Ах, вот о чем. Да, правда, была у меня идея написать про Дамиана с точки зрения его клиентки. Но у идеи оказались слабые ножки, она и рухнула под тяжестью замысла. Куда такую статью? Подходящего издания не имеется. Просто я очень боялась, а идя с установкой написать, осмелела чуть-чуть. Ведь в редакции я, если шла строчки выколачивать, то караул, так просто было от меня не отвязаться. А мне на заводе такие динозавры попадались — уу! Пиджаки от костяных хребтов трещали, вот какие. Да и то удавалось как-то их разговорить, потому что смиряла себя, искала в них золотую струнку. Каждым «человеком судьбы» заболела. Может, так и с Дамианом...

И он тебя утешит, обновит, обдаст волной морской, так стоит ли бояться приятного?

Нет, больше никому не говорила, только тебе и... Да, затворнице нашей говорила. Но я не верю, что она ходила к Дамиану, ведь она же отказалась... И когда?.. И что потом?.. Неправда.

Дамиан не мог такое сказать, он высок, великодушен. Но даже если и сказал, то мог он ошибаться? Да ты объясни толком...

А зачем она так напирала на деньги? Деньги тут последний вопрос. И она выбросила деньги в окно? Ужас. Оскорбление...

Ну вот, просили меня. Теперь она расстроится, рухнет в депрессию, бросит писать. Вот тебе и волна морская... Слушай, ты прости меня, мне надо бежать. Должен кто-то ее успокоить... Так нельзя. Я узнаю, что там с ней, мы договорим потом, хорошо?

Несмотря на то что прошло много времени, я уверена, что тебе надо было туда сходить. Нет, уговаривать больше не буду. Некоторые вещи приходится делать самой и только самой, иначе бесполезно.

Кстати, я часто думаю о тебе, только не говорю, ты такая обидчивая со своей «нетронутостью души». Ты боишься ворошить, хотя тебе душно под гнетом. А ты терпишь! Пока терпишь, жизнь кончается.

В методичке Дамиана это называется «сопротивляться дисгармоничным ситуациям», то есть тому, что ты не можешь и не должна принимать.

Принять не принимаешь, а смиряешься...

Смотри, как интересно. С одной стороны, он считает, что я не сопротивляюсь дисгармоничным ситуациям, а с другой - я как человек с числом шесть — привлекательна, решительна, упряма и неподатлива.

В молодости я действительно только и делала, что сопротивлялась, даже замужем. Посуды и стекла побила довольно, уходила ночевать к подругам, бунтовала... Конец этому пришел. Вроде бы насилие? Да, вроде так. Но в результате я обрела человеческий облик, значит, это было необходимо? Мне не давали кричать гадости, взрываться, но позволяли быть собой в поворотных моментах — когда уволили с работы, когда срочно надо было ехать к матери, а это требовало денег и жертв.

Узда оказалась крепкая, но что это была за узда, как не привязанность к мужу? Ради него и терпела все дисгармонии, потому что надеялась — от этого зависит чужая гармония...

Разве можно в таких случаях настаивать?

«При условии развития положительных аспектов вашей психофизиологии вы достигнете больших успехов в вашей творческой и семейной жизни» — так сказал обо мне Дамиан. Ах, он еще условия ставит. Знаем, знаем. Только никаких таких особых условий ждать нечего. Ведь я вечно натыкалась на плохие условия, с чего они изменятся? А интуиции никогда не было, и догадаться о неочевидном не сумею. Ситуации ставят меня на колени, а я еще трепыхаюсь.

Ситуация: феерически вспыхнувший предо мной Дамиан не что иное, как мираж. Минутное помрачение рассудка от избытка температуры при полном отсутствии воды. Он сделан из хрупкого природного материала, да, дорогая, после трудного разговора со мной он пошел прозаически водку пить, причем со своими же коллегами раннейцами. Дамиан — водку!

Потом тот случай, когда он не взял от затворницы деньги. Ведь он почувствовал, что она сводит к деньгам, чтобы обидеть его. Значит, она сама обиделась. А он не захотел принимать на себя ее отрицательные эмоции, как принял, скажем, мои, короче, дал человеческую слабину. Я-то думала, что они, как доктора, ко всем должны быть великодушны... Ан нет. Мой приятель, психолог, сказал по этому поводу, что Дамиан обязан был экранироваться, защиту строить, этому учат в институте, а коли не учен, нечего и браться, это непрофессионализм, клиенты сломают.

Сказано безупречно, вот только на беседах с приятелем профессионалом я сдерживалась и страдала, после чего — полная выжатость и бессилие, а с непрофессионалом все было так легко, весело, как с горы ледяной ехала. И после - фонтан оптимизма. Надеюсь, помнишь, как я летала и порхала после визи-

тов к Дамиану?

Я твердо уверилась, что счастье не за горами. Но ты-то знаешь, что мне, нытику и пещерному жителю, это совсем несвойственно.

Я не спрашивала его, хочет ли он вести прием на заводе, я сама все устроила, а он согласился. Они там все настроились, настропалились, кабинет выбили, к проходной вышли встречать, а он не явился. Приятель, профессионал, обронил, что здесь Дамиану делать нечего, и ты смотри — сорвалось. Естественно, кто мог меня достать — достали и все высказали... «Вот это да,— подумала я. — Стыдно, ой, как стыдно». Перед другими я его выгораживала, а перед собой... Решила, что мотылек с капризами. Захотел — провел, не захотел — не провел. Хозяин слову и мужчина так не сделал бы.

В конце концов — его дело! А был осадок-то, был...

Все это время методичка Дамиана торжественно лежала на столе.

То одно бросалось в глаза, то другое.

«Определенный зажим в эротосфере». Имелось в виду — насколько нравлюсь мужу? Или насчет любовников и частоты оргазмов?

Вопросов на эту тему было у Дамиана особенно много, но они не казались мне шокирующими. Просто стало обидно, что считает меня такой старой, замшелой. «Неужто я в следующий раз так поймаюсь? Да я ему таких любовников наговорю...» Видишь, я даже мечтала заслужить его одобрение.

Какого-то особого женского честолюбия во мне никогда не просматривалось, а тут, поди ты, захотела что-то доказать. Это сдвиг, и немалый. Неважно, сколько платьев я сошью по методичке Дамиана, важно, что у меня появилась энергия это делать...

А пока я сидела, морочила голову методичкой, умница муж пошел и купил мне малахитовые серьги. У него был слиток серебра, который можно было продать за большие деньги, но он не стал продавать, а выменял у ювелира. Он не деньги выбрал, а украшение, бесполезную вещь. Он перечеркнул тезис о том, что я ему не нравлюсь. К возне с методичкой он относился более чем скептически, но получается, что сделал все по методичке и даже лучше. Ощущение значительности, носительницы серег за много тысяч — непривычное чувство! Да, загордиться просто так, ни с того ни с сего — затруднительно, а тут все же повод есть. Ах, эта несмелая улыбка женщины, привыкшей быть некрасивой.

Тебе не понять, ты красивая всегда, с тобой рядом всегда мужчины... Только твой благоверный... Ну, не будем, не бу-

дем.

Со времени визита к Дамиану прошло два месяца. Нарастающее молчание убеждало меня, что мираж рассеялся. Да ничего он не писал, а может, и на фестиваль не ездил. Мне нужно, нужно было зримое, реальное подтверждение всех его возвышенных снобистских речей. К выданной мне методичке это отношения не имело. Просто авторитет автора методички катастрофически падал.

Я делала попытки найти пьесу, написанную Дамианом для фестиваля. Пробравшись в Дом актера, стала просить пьесу у одного общего знакомого, а тот при этом гадко-гадко смеялся. Может, это опять была игра такая? Я ничего не ощутила - кроме ослепляющего, безудержного презрения.

Пьесу я все-таки нашла и радостно вздохнула. Да вот она, смотри. Тут два действия обозначено — но так, для проформы, на самом деле действий вовсе нет. Зато два действующих лица, два монолога, порывы, эмоции, хаос.

Первая реакция? Пустота разочарования. После того, что он наговорил, это был слишком резкий переход. Это же я — будто путник в пустыне, это моя-его жадность и жажда. Он припадает к фляжке, а там всего лишь несколько капель. Просто несчастье!

Потом я подумала — вот! Начинаю судить, как наше лито: только бы в грязь втоптать, уничтожить. А надо рассуждать, как наш поэт-авангардист: попробовать восхититься...

Стала искать. Плутала во фразах, замысловатых и экзотических.

«Если бы толпа осознала себя космической личностью...», «спаривание Сталина с народом», «горлочки», «схоластика»... Кое-где мусорно, налет политики и чувственности. Зачем такое разностилье? Чай ароматизирован, текст эротизирован.

Не могла понять, что именно меня отталкивало. Ведь красиво же: персики, жемчуг, вино, сплетение тел на белом холсте... Тел, рисующих последнюю картину. А? И у меня в одном рассказе, как ни дико, но тоже есть подобная сценка — правда, все мельком, и любовники в экстазе там измазались не краской, а горчичиками, это несколько иное, ибо жжет...

Не трогала меня эта любовная антимония, потому что я люблю не сам факт, а предысторию и послесловие факта. Все, что вокруг факта. Иначе нет наполнения, не проявляется образ, как жаль, придется выливать реактивы.

Продираясь сквозь заросли сорных фраз, я различила кое-какой сюжет. Художница Патрисия, богемная особа, получает письмо от некоего Луи и с трудом проникается прошлым. А Луи, написавший письмо, вроде ничего не забыл, но оказыва-

ется притворщиком. Женщины забывчивы, но, воспылав, идут гораздо дальше... В итоге оба умирают.

Знаешь, все эти потоки крови слишком символистические. Чем-то они сильно мне напомнили роковую поэтессу Горигорскую. Все ее страсти я воспринимала то как болезнь, то как молодость и глупость, а в сущности, чем страшней и суицидной текст, тем очевидней беспомощность автора. Беда Горигорской в том, что на ее яркие колдуньины страницы не нашлось грамотного критика. Такое явление требует осмысления...

А в случае с Дамиановой пьесой было все грустно, грустно. Он говорил, что это, мол, так — китчевый вариант, написан специально для актрисы Речиной, которой нравилось. Пусть так, пусть потрясающая Речина выжмет из материала неведомо что. Но как же самостоятельность? Всегда есть риск, что прочтет не только актриса...

Я думала: он так свободен! Так свободен, что сможет ВСЕ. Оказывается, вовсе не так уж и свободен. Слишком сильно любит себя, а ведь это тоже зависимость. Он строг к другим, а саморедатор отсутствует. Какая ужасающая пропасть между возможностями и результатами!

Вздумай я ему что-то говорить — он и слушать бы не стал!

Но меня смутила трагедия неизреченной души. Неужели можно быть таким талантливым, что и воплотиться нельзя?

Бедный Дамиан. Несчастливая Раннаи.

Магия очаровывать, разжигать смутный жар, умение жить среди рутины на высочайшем уровне... И ничего, ничего не реализовать.

Это было бы слишком горько, если б я не вспомнила, что у Дамиана еще есть время. Ведь он написал только первую главу своей жизни, ну а я уже подошла к эпилогу. Мне надо торопиться.

## МЕЛИССА

Он вышел из больничных ворот, держась слишком прямо и скрывая сильную панику. Никакой уверенности в том, что костяной мостик в ноге достаточно прочный! Почти год лежал как колода, а тут сразу такая нагрузка. Вон Иванихин тоже было вскочил на радостях без костылей - и что? Угодил в гипс. А что он пережил, Иванихин, бедный?

К сорока годам Берлогин четко понял, что значит «весь в кусках». Это значит - болит и не срастается нога, растет сын, но не срастается семья, просится наружу, но никак не срастается повесть. Это значит - до сих пор пылятся в камерке, но не срастаются в картину этюды... Как вернуть тот праздник жизни и творчества, который был на Соловках? Это ж надо ехать на Соловки, там все получится само... Но просторы державы велики, а инвалидская пенсия мала. «Придется пойти на подвиг», — решил Берлогин и пошел на автовокзал. Рюкзак, штормовка, этюдник — и в автобус. Ну, еще пустая трубка и палка, чтоб сохранять вертикальное положение. Прикинулся Хемингуэем, понимаешь.

В музей-заповедник Берлогин прибыл в девять утра. Он не спеша все обошел и осмотрел. Реставрационных лесов стало больше, рухляди и хламья меньше. Пустых и загаженных келий уже не было видно, там и сям белели тесовые двери с висячими новехонькими замками. Надо же, какое шевеление, даже «Трапезную» настоящую открыли... А, нет, она только с двенадцати. Угловую башню побелили — наверно, для съемок. И ворота покрасили.

А волна на озере была ртутно-синяя, темная. Чайки просвистывали над ней, не махая крылами. Утренний студеной ветерок прохватывал Берлогина до костей и незаметно выдувал из него все лишнее.

«Хотел на всю катушку жить, — думал он, грызя пустую трубку. — Хотел все! Вот и прозевал сына, не мой это ребенок, ее. И я ему чужой. А он мне нет». И улыбнулся неуверенно.

И пошел назад в родные монастырские стены, но уже с некоторым напряжением. Что-то держало его, но что же? Волны? Может, волны. Они ребристо дробились, мельтешили до ряби в глазах. Раньше бывало, что он глянет — и сразу в голове вспышка, моментальный снимок: вот так бы написался утренний этюд. Резко свежо, металлически. Он мог писать потом и сравнивать то с натурой, то с моментальной картинкой в голове. А тут никакой картинкой - не сверкнуло, не сработало...

Берлогин вспомнил, где он писал этюды в последний раз, и

пошел. Однако там уже сидели две стрекулистки и бодро малевали.

- Здравствуй, племя молодое, — опечалился Берлогин, — надолго здесь?

- Надолго. А что?

- А то, что у меня это место любимое.

- Полюби другое.

Берлогин повернулся и пошел любить другое. Но одна из девчонок все же вскочила, догнала, взяла за руку. Даже сердце дернуло.

- Не вырубайся, дядь. Не бросать же. Смахнем послезавтра, только дай закончить, а?

- Ладно.

- О?кей. Держи.- И протянула большую булку с сыром.

«Что это она мне - милостыню?» Но взял, покивал и пошел. Не кидаться же хлебом! Сутки не ел.

Неожиданно быстро он добрался до старой турбазы на горе. Турбаза в разгар сезона стояла пустая, ключ, как и раньше, лежал за пожарным щитом. В кладовке пылилось сколько хочешь надувных лодок, закопченных чайников, была даже удочка. Надо бы проверить лодку на дырявость... Рядом нарисовался мальчик. Несколько лет назад он был точно такой же, вроде даже побольше. Как это?

- Что, на зорьку пойдешь? - деловито спросил мальчик.

- На зорьку. А ты хозяйкин?

- Ну.

- Скажи, что я ключ взял, пусть белье даст.

- А она уж и так знает.

- Почему же ты, дружок, так мало подрос? Это вроде мы с тобой за маслятами тот раз ходили?

- Ты со Степкой, наверно, ходил! А я Олежка. Тоже мне.

- А, понял. Значит, ты третий сын.

- Это Степка третий!.. А вон мамка.

Мимо окна пролетела женская фигурка. Берлогин уронил лодку и распахнул окно. Ситцевая пестрота билась на ней и надувалась ветром, отчего тело казалось тонкое и твердое. Женщина быстро переворошила поодаль скошенную траву, потом стала место под стог готовить. Берлогин даже слово вспомнил - «остожье». Почему-то ему стало стыдно смотреть, как она там надрывается одна, и он не раздумывая двинулся на помощь. Она не удивилась, показала граблями на кусты, в которых лежали грабли и слеги.

Заполыхала жара. Ветер отпугивал оводов, но как только он стихал, зудящая пытка продолжалась. В молодости Берлогин сенокос воспринимал как игру, да и здоровья было много. А

тут он стал задыхаться, перед глазами зарасплывались страшные круги. Минут через несколько он взмахнул граблями и полетел в преисподнюю.

- ...Горюшко. Да городской, да гордый.

На фоне слепяще-голубой вечной выси проступил размытый облик женщины. Из-под низко повязанного платка на Берлогина глянули узкие серые глаза. Выдающиеся острые скулы, торчащий подбородок, прямые ленты бровей - во всем ее лице было что-то азиатское. Кожа загорела дочерна, русые пряди светлыми мазками ложились на коричневую шею. Подставив твердое плечико, она довела его до базы.

- Полежи-ка, я тебе отвару дам.

- Да я сам...

- Помалкивай, горюшко.

Он не хотел долго оставаться в отрубке и, оклемавшись, пошел наугад к хозяйскому дому. На крыльце обширного бревенчатого сруба сушилось сто пар сапог. На лужайке утробно урчала стиральная машина, похожая на бетономешалку. По траве раскинулись стиранные полосатые половики. На перильцах веранды уж дымилась большая зеленая кружка. Берлогин доверчиво припал к питью и поразился аромату.

- У вас чудный чай. С чем он? - Он озирался, пока не узрел ее в капустной гряде. Она гусениц обирала, как будто нельзя просто отравой побрызгать.

- А вон трава, видишь? В том году развела. Она хорошая, мелисска, лимоном пахнет. От нервов помогает, от бодуна...

На Берлогина заносчиво глянула купа лохматой высокой травы, похожей на крапиву. И он стал перед ней на колени и стал нюхать, как глупый какой. И правильно, тут стыдиться было некого. Два сельских домика, радиовышка. Техник-смотритель вышки, хозяйкин муж, застрял в городской больнице, откуда только что выписали Берлогина. Хозяйке все время приходилось присматривать за вышкой, домом, турбазой и за всем остальным. Это в отпуске. А не в отпуске все это начиналось после работы...

Берлогин бродил по смородине, капусте, черноплодке, но неизменно натыкался на прущие из земли кусты мелиссы. И трава, и ели - все было яркое, большое, слишком неправдоподобное. Сюда бы приятеля Парова, того никакая красота не смущает. Он все свои картины уставляет елочными игрушками. Его яблоки и груши горят как светильники, в каждой ягодке не просто блик, а отражение окна с переплетами, черника нарядней бус, простая картошка со свеклой что шоколад на бархате. Изобильные лужайки принесли Парову известность. И не беда, что края волшебных лужаек загибаются и обнару-

живають пестренькую синтетическую изнанку. Зато он останется в истории как знаток исчезнувшей флоры...

Гордина вообще никакая флора не волнует, он наш грубый быт пытается просеять через евангельское сито. Ведь мы падаем, скотинеем, все дальше удаляемся от святого, вот и люди у Гордина - несмотря на выжженные муками пергаментные лики и вытянутые иконные фигуры, они все глухие, слепые и нераскаянные. Святые угодники их кличут, но уродам бесполезно... Берлогин даже закашлял от волнения. Нет, если что и оставлять потомкам, то не одного Гордина, а с Каляевым, потому что у первого изнанка души, а у второго ее идеал. Каляев презирает жизнь, которая лишь фон для невысказанной мечты. И если эта мечта имеет античный облик, значит, наше жуткое время Каляев пропускает. Его странники времени в пыльных тогах, обольстительницы героев и спящие прорицатели от нас отвернулись... И Сачин, кстати, тоже отвернулся. Только деревья и травы утешают его усталый печальный взор... На человека он смотреть уже не может...

Берлогину всегда было трудно писать, так как он слишком любил своих друзей и слишком остро воспринимал их творчество. Он мог часами на все это смотреть до пьяного состояния, он зависел от чужих картин и не мог выйти из их колдовского поля. Лучше бы ему вообще не быть художником, а просто сторожем. Он и хотел, но вот нутро бунтует, вынуждает... А это ведь горе.

Берлогин выпил ведро отвара и потерялся от блаженного состояния покоя. Сидя под елью на камне, он рассеянно наблюдал за хозяйкиным домом. Там под вечер, буквально в потемках,

подъехал на тракторе старший сын, прибежали с реки два средних сына, притащился с банкой ягод младшенький, Олежка. Ему мать стала перевязывать палец на руке, старшие тем временем загремели ложками. Потом она кормила их, картошка таяла и дымилась в цветных мисках. Потом они подняли такой шум на веранде, что у соседней собаки забрехали... Берлогину было завидно до слез. Он поднялся и ушел на турбазу. «Эк меня развозит,— подумалось ему тревожно, - а ведь не мое».

На базе поел сухомятку, сдобрив скудную еду глотком сгущенки. И спать. Во сне снова и снова бродил по выставкам, где люди с картин сходили и смешивались с толпой. Потому что они были живее живых, гординские узловатые страшили и каляевские атласные дивы. Люди между ними как серые недоразумения... Каляевский Геракл скучно смотрел, как мешанки шупали его мифические сандалии...

В рассветной полутьме Берлогин пошел на реку. В лесу ему

страшно показалось, одиноко. Тишина взрывалась уханьем, разноголосым скрипом. Мерное гудение исходило от черных, как силовые опоры, елей. На берегу трава стояла в пояс, он сразу вымок и затрясся. По затянутой рассветным дымом реке он выгреб подальше от берега и незаметно вытащил три подлещика. Потом опять как-то задумался. Почему ему даже во сне все снится чужое? А свое? Неужели свое - только крохотные монотипии? Друзья посмеивались над ним, когда он показывал им свои акварельные потеки фантазии. Нравилось же то, что фантазии возникали сами собой. Стоило их дорисовать - образ уходил и ломался. Кончалась любовь, и начиналась пошлость. А первозданные, они всегда являлись неожиданно, это одновременно и пугало, и веселило. Но это же несерьезно. Пора сделать вещь на века, а то на уме одно баловство, понимаешь.

Казавшийся крохотным теплоход тем временем выросстал неподалеку высотным домом! Резиновую лодку затрепало в волне, лески перепутались. Оказавшись около бую, Берлогин вцепился в него изо всех сил. Ладно, из лодки не выпал, а то бы не выплыл с ногой-то. Зато вымок, обессилел. Когда теплоход прошел и волна стала поменьше, поплюхал к берегу.

Окончательно отошел от встряски уже около кострища. На миг сладко представилось, что сушняк вместе с ним таскает сынок. Вот такой же, как Олежка, только черноголовик... Интересно бы побродить с ним по берегу, показать, как кубари на взгорке растут, вот этой ухой густой покормить...

Как далеко видно с этой горы. Вон и монастырь вчерашний. Среди серого простора он белел как сахарный пряник на пригорке. А сверху, сквозь тучи, на башни монастыря падало два столба света. Неужели так и выглядит таинственный воздушный купол? Говорят, тут все окрестности монастыря - особые места, хранимые. Монастырь столько лет стоит недействующий, а атмосфера со старины осталась. Намолено не одним поколением монахов. Но ведь и это кончиться может...

Налетевший дождевой вихрь сурово обрушился на Берлогина, не давая опомниться. Лодку пришлось сдуть и бросить в ложине вместе с удочками и котелком. Через лес хромал, не разбирая дороги. Утром, кажется, полчаса и потратил, а тут показалось втрое дольше! Потоки воды полосовали его, как проволока. «Какое тут все сильное! - отчаивался Берлогин. — Ветер, жара, вода — все сильное. А человек, как муравей. То ли я с ума схожу, то ли в ум вхожу?..»

На базе он раскидал мокрое по табуреткам и рухнул под одеяло. «Эк меня хлещет... Я ехал больной, сил набраться, припасть к груди природы, понимаешь... А она такая сво...» Во сне его опять палила давешняя жара и давил теплоход. Кто-то

тряс его, за плечи брал и трогал голову.

- Запястье... — шептал Берлогин, еле разлепляя губы. — Изгиб, достойный барельефа...

- Видать, ты художник... Так я и знала...

- Зачем вы опоили меня своей мелиссой? Я от вас очумел.

- Ты очумел не от меня, а от хворобы. Надо было сразу и сказаться... А я бы полечила...

- Ну, конечно, вы же травница купринская, Олеся... Или Мелисса?.. Такая знахарка в дремучем лесу...

- Ну что ты несешь, чокнутый.

- Я хотел просто в себя прийти. Нет сил жить. А меня хлещет... Испытывает, значит...

- Так гора же всех насквозь видит. Если ты дрянь человек, она накажет. Тут сколь пьяниц наезжало блудить - все с бедой убирались, которых и увозили. А хороших-то ничего, милует. Знает она мелкость нашу.

- Так я, выходит, гад - с точки зрения матушки горы...

- Ты просто хворый. Не колотись, отойдешь.

- Понял, вернее, сам пойму. Не может быть, чтобы мне конец именно тут пришел. Здесь луна, как дирижабль. Купола здесь. Земля хранимая. И вы такая...

- Какая? - она засмеялась, засветилась беззвучно, вся — тепло.

- Не знаю... Настоящая... Я останусь здесь навсегда. Верите?

- Все бы оставались, кабы не прежняя жизнь. Отпуска на весь век не хватит.

- Нет, не гоните меня. Может, и я, несуразный, нужен. Как так вы живете? Огород, стирка, варка... Тягловая сила. Во что вас жизнь превратила, такую чудную... У вас четверо сыновей, а вы все, как тростинка... Вас на руках носили когда-нибудь?

- Уж не ты ли собрался? — Она отвернулась, сдерживая хохот.

- Может, недостоин. Зато предан. — Он сдуру на колени встал перед ней, как недавно перед мелиссой.

- Ну ты, кисель. — Она без труда свалила его на постель, руки его убрала. - Будь мужиком-то. Здесь каждый сезон ваш брат - бородач косяком идет. И каждый будет рот разевать.

- Я не об этом. Вас любили? Неужели вы не хотите быть любимой? Это ведь ужас...

- А вот ужас ты еще не видал.

- Так покажите. — Он опять вскочил как бешеный.

- Теперь точно очумел. Ночь! Завтра увидишь.

- Нет, немедленно! — Закричал Берлогин. — Мужик я или нет?

Она дала ему базовский общественный плащ в рыбной чешуе, сама накидку грибную набросила. На улице шумел ливень, стоявший стеной. Темень непроходимая. Около ее дома помигивала лампочка, и свет плясал в черных лужах. За огородом свернули, нащупали что-то и вошли, согнувшись. В лицо ударила вонь, чиркнула лампочка, и перед оцепенелым Берлогиным выше его роста встали отвратные клыкастые хари. Он отпрянул назад, больно врезался спиной в какую-то скобу на стене.

Она же нырнула за перегородку и оглушительно звонко пошлепала чудищ по спинам.

- Смотри, какие президенты, - смеялась она. - Вот этот здоровяк - Ельцин, с пятном - Горбачев, черный - Хасбулатов. Эти правители меня накормят, будь здоров. Если я их накормлю... А у тебя-то с ухом чего? Ах ты, драчун...

Берлогин онемел. Таращась и стуча зубами, он ждал, пока его Мелисса закончит нежничать со свиньями. Он-то не удостоен, понимаешь. Потом вздохнул и тоже улыбнулся.

Два дня Берлогин вылежал на турбазе. Он покорно пил все, что приносили из хозяйкиных рук. Заглядывала и сама Мелисса, натирала ему грудь и спину какой-то гадостью, так что слезились глаза. Потом сверху телогрейку бросала: «Терпи, оно едучее. Но сразу очухаешься». Он ловил ее руки, целовал, не умея высказать непосильную радость, сдавленную и сжатую где-то внутри... Она руки выдергивала, фыркала, хлопала дверью. Но он был и тем счастлив, что она не грубила ему, не насмешничала.

Потом он вышел из озноба, встал около окна и увидел изумрудно-мокрые холмы с волнистой линией елей, проясневшее небушко. Ближние ели мерно качали вершинами, вытянутыми вверх. А там тоже летели прозрачно-газовые облака. И маленькая турбаза на горе казалась утлым деревянным корабликом, улетающим в бездны.

«Ну что губу раскатал? Нашего брата тут косяки. Приехал припадать к груди природы, а припал, понимаешь... Паломник придурошный».

Поискал в кладовке палатку - нашел! Телогрейка тоже пригодится... Все пачки с супом, все наличные консервы и подсохшая буханка хлеба. Этюдник. Вперед, неудачник! И похромал к вожделенному берегу по качающейся под ногами земле...

Ему повезло. Погода разгулялась, расчирикалась, затопила все солнцем. Он мог не мотаться на базу ночевать, спал в палатке под соснами. Питался похлебкой из рыбы и приблудных

сыроежек. Это было вкусно и здорово, так как варить требовалось один раз, а есть можно было два раза. И главное, чай был.

У Норкина на картинах людишки лопали куриц, наваленных горой на подносе, и смачно запивали их из горлышек графинов, не утруждаясь стакашками. Жир тек по их подбородкам и бликовал. Хотя жрать одному за всех тоже нелегко: людишки въелись в тушки, а тушки им в щеки... Мясная лавка, предел мечтаний обывателя — вот на что намекал Норкин. Наступит, мол, время, и колбасы поползут, как змеи, и задушат, а окорока взбугрятся мускулами и двинутся всеми тушами на пожирателя. Норкин был большой весельчак. А Берлогин, считавший себя умней, на этюдах оголодал и резко пожалел, что он не обыватель.

И еще удивительно - норкинские купчики, на которых лопалась одежда, - все были коричнево-бежевые. Почему такой монокром? Потому. Каноны без толку выдерживать, их надо изобретать. У Норкина обозначилась стилизация под старину. На основе ностальгии...

А у Берлогина тоже была своего рода ностальгия. Он, допустим, торопился набросать речной простор, а потом замечал, что баржа тонет, оказывается. Потому что он сам шел ко дну, вот его и притягивало. Но у этого сюжета и колорит неуловимо менялся, из голубенького сияния перетекал в спящий ртутный монокром...

Он поворачивался к монастырю, хотел создать сахарный пряник на пригорке, но красота хранимого оставалась мертвой, он там еще ничего не пережил, кроме занятого любимого места. А пережил он нечто в маленькой турбазе, тихо уплывающей за шпиль радиовышки.

Он спрашивал себя, жамкая в реке футболку: «Так почему же не ее? Ее и надо написать... Скажу? Не согласится. А если согласится? Еще хуже. Покрывать масляным коржом это тепло, эту неуловимость?»

...Давно, когда еще Берлогин не бывал на Соловках, а только пытался вдыхать наркотик масла льняного отбеленного, он оказался в чужой мастерской, потому что ему велели накормить кота. Высыпал в миску мелочь океаническую и начал шастать по мастерской. И вскоре впал в горестно-сладкое состояние! Он бегал там на полусогнутых, расставлял полотна вдоль и поперек. Он считал — нет ничего проще портрета, особенно портрета местной знаменитости, где все на виду. А в этих женских портретах везде звучала загадка, да и не просто звучала, а прямо-таки выла сиреной. В Аэлите, утонченной, рафинированной — на фоне лоскутного одеяла. В опершейся на перила, беззащитной и высокомерной. В порочной и хрупкой

шляпнице, затянутой в черное. В лукавой японке, оттенявшей автопортрет автора... Они были слишком хороши и в то же время опасны, как Горгоны. Они отравляли тоской и не забывались. Может, потому, что многие были обнаженной натурой, а ее ж тогда не выставляли.

Только много лет спустя Берлогин уразумел, что значит попасть в мастерскую Кыцкого. Любили исчезнувшую флору, нерожденный идеал, искорченных святых, а его не любили: не та школа. Западник, эклектик, выродок. Галерея осмелилась закупить кое-что, но и то пошло в запасники. «Меломан» - лицо Христа в стереонаушниках на фоне пустыни с железной кроватью. Сначала «Бог, любовь и рок-н-ролл», потом рок-опера «Иисус Христос- суперзвезда». То, на чем выросло целое поколение... «Голубой дым» - самый чистый на свете дым, когда максимум энергии при горении, и сажи нет... Голубой дым рассек надвое маленький домик: по одну сторону женщина в ребенком в подоле, по другую - мужчина с крохотной пассией у ноги. Фигуры замерли в извечном inferнальном танце... Голубой дым спалил крылья «Икара», и он теперь не носитель мечты, а носитель барахла. Облысев и расплывшись тюленем, он прет на себе осетрину, холодильник, ковер. А если его облочка лишь скафандр, то... Сам-то он кто? Кто вообще такой этот смертельно любимый человек, заглянувший в эту жизнь пассажиром «Икаруса», смуглым мотоциклистом со снопом цветов на руле? Кыцкий, неизбежно оказавшийся в ателье в Нью-Йорке, на чем ты летишь дальше? На белом корабле надежды или на отлетавших свое «икарах» — разбитых «Илах»?

Нет ничего надежней безнадёжности. Только смятое тело «Ила» больше уж не подведет, ведь падать больше некуда. Куда уж дальше, приходится насильно рисовать! Придумывать, уродовать кистями неповинный холст! А раньше ведь во сне писал, на унитазах, круглые сутки шли стоп-кадры, неостановимо. Он не успевал их воплощать, а тут сидит на горке, творить приехал, «небожитель», понимаешь... То, что ты делаешь, зависит не от той природы, которая пейзаж, а от той, которая в тебе. А в тебе, дружок, столько дряни...

Вот он, берег реки, приютившей Берлогина. Холмы неуловимо непристойны, их линии, как бедра и живот, и где-то у колен потонет баржа. А вторая повернула в стеклотуннель. Она въезжает в гигантский стакан, в тупик, хоть он и прозрачен.

Вот они, райские кущи волшебной горы. Узорчатая зелень и мерцание цветов. Фонтаном гордая трава мелисса. В ее грозовом свечении и зверь становится царевичем, а с другой стороны - бородатый человек, в нем проступает кабан...

Ах, как хотелось припасть, зачерпнуть! Природа все может,

все даст! Она-то даст, да и ты себя увидишь голого, как есть, хромого, неспособного и выплыть из стремнины. И тебя потащит хрустальный девятый вал и торкнет о камень. Но, очнувшись, ты в зеркальной глади глянешься свинья свиньей... Что налили в корыто, то метешь. Генератор, генератор не пашет, не преобразует натуру в крик души, не выжимает из нее идею...

Была картина у Кыцкого, на которой топографические значки рассеяны по песочной глади, а сама картина свернута в трубку, словно валик фонографа Эдисона. Но эти знаки недействительны в рамках картины. Это просто идея, зашифрованная особым образом. Да, идею можно познать через натурализацию, через неизбежное огрубление. А у Кыцкого все идеи свернуты в трубу наподобие этой карты. Или в кубик Рубика, упавший с корабельного столика. Он упал в первом варианте, а в третьем вовсе исчез. Кыцкий употребил в виде идеи тайну, чтобы с ее помощью высвободить душевное состояние. Свое ли, чужое...

Какое состояние у Кыцкого в чужой стране, когда вот здесь оставлены пылиться все его шедевры? Их не увидит ни Америка, ни мы. Так для кого же он старался, марсианин?

По ласковой, как женщина, реке опять проухала баржа, и волна с силой заплескала в прибрежный кустарник. И ослепший раскаленный Берлогин доверчиво нырнул в нее вместе с рекой своих воспоминаний.

Катастрофа наступила как-то вдруг. Пачечные супы растворились в берлогинском котелке без остатка, и надо было идти на промысел. Пришлось собрать на леску завяленную рыбу, попрятать в крапивную чашу лодку с веслами и свернуть многострадальный этюдник. Да, этюдов наработал кучу, глаза бы не смотрели на этюды эти.

Вокруг базы было тоскливо и шумно. На отдых приехала организация. Она бестолково жгла костер, жевала колбасу, крутила транзисторы. Дети организации истошно визжали в ближайших елках. Берлогин трусливо вобрал голову в плечи, проник в свою комнатку, чтобы сменить рубаху и взять деньги.

На лужайке у дома Мелиссы возился мужик. Он сильно смахивал на постаревшего Мика Джаггера.

- Эй, стройотряд! — Позвал он Берлогина подкупающей улыбкой. — Подсоби.

Рядом лежала здоровенная бобина с кабелем, и они начали поворачивать ее концами на два пня, иначе она не разматывалась.

- Стоп, хорош. А ты куда, не в магазин наострился?

— Туда.

— Так я съезду на мотоцикле, погоду, покури, я мигом.

Они съездили в деревню за какой-то час. Один-то бы Берлогин до вечера прошарашился. Там возле магазина сидели бабки с мешками. Они затарились хлебом, крупой, песком, папиросами. И когда Берлогин садился на джаггеровский мотоцикл, они только посмотрели. Им еще предстояло брести со своими мешками через леса и поля до своих околотков...

— Так ты лежал в той же больнице? - удивлялся Мик. — И есть эффект?

— Пока хромаю.

— А у меня хромота не будет, нараз отвалится. Жена, собери нам. Я затоварился горючим, надо отметить приезд.

Как только она вошла, Берлогин смешался и дальше ничего не понимал. Курящиеся развалы картошки, грибы, огурцы, зажаренные куски мяса. Тарелки, надо же. Тарелки в цветочек, солонки, чашки, от которых так отвыкаешь на берегу... Мимо него, как в кино, сновали дети Мика Джаггера, трое, четверо, нет, больше... Она по-деловому накидала на стол гору еды, на бегу выпила рюмку, грохотнула на кухне чугуном, опять что-то принесла и поставила, тихо передвинув берлогинский локоть.

— Наливай. Что мясо не ешь? — погонял Мик.

— А это... президент? - очнулся Берлогин.

— Какой президент? Курица... — Мелисса зашлась в неслышном смехе.

— Президента порешим осенью, — рассуждал Мик, — и то одного, черного. А ты зачем тут торчишь? Отпуск?

— Рисует он, — Мелисса повела головой на лес.

— О, художник. А ты их продаешь потом или как?

— Эти нет. Если по ним потом выйдет картина — то ее. Может быть. Раньше получалось, был художник. А теперь вывески в кинотеатре крашу.

— Значит, не дается. Эх вы, городские. Все на нет изошли.

— Ну, ты зачем? — быстро вмешалась Мелисса. — Усидел бутылку и начал? Ему и так несладко.

— Ты вечно заступаться! — разозлился Мик. — Меня попробуй свали. Не выйдет. Мы мужики... Не то что...

Чем сильнее он кричал, тем она меньше слушала.

— Зря ты все на речке сидишь, — проговорила она радостно. — Я видала твою палатку. Заглядывала на болото. Там уже черника есть. Не веришь?

— Слушай больше... — куражился Мик, — ведьма болотная, ее и трясины не берет.

— Трясины в другом месте, за озером, — отмахнулась она, — а это рядом с карьером, где сухая болотина, в тапочках можно пройти. Только ноги-руки прикрыть от комарья. Хочешь,

дорогу покажу?

— Я те покажу...

— Утречком солнца нет, а воздух до того славный, теплый, так и гладит всю. Легко бежать-то.

Она взлетела, понесла тарелки, Мик сплюнул.

— Дура неподдельная. Ни ума, ни солидности. И девкой такая была. Убью за язык.

Берлогин встал, не желая больше мучиться. В нем все заболело от молчания и нежности.

— Сиди, - сказала коротко она. — Сейчас пробрешется, утихнет. Хозяйский норов показывает. Что он тут самый главный. Скажи? - обратилась за поддержкой к старшему сыну, который ел, поглядывая на телевизор. — Зачем же гостя обижать?

— Да брось ты, — улыбнулся сын, — что я, не понимаю? Могла бы и не говорить.

— На тебе чай первому, — откликнулась благодарно Мелисса.

«Только на сына смотрит, — прочитал Берлогин, — боится, как бы он ее гулящей не посчитал. А он человек, слава богу, и она тут не одна».

Вся порозовев, она принесла с кухни пук травы. Не слушая расхристанного Мика, она расстелила траву на полировке стола, загнув скатерть.

— Гляди, я насушила — так, для запаха. А как красиво! Вот бы так оставить...

— Раз нравится... — Берлогин сдвинул горстку стебельков в букет. — Взять и поклеить на темную ткань клеем. Будет как картина. Называется флористика...

И пошел, пошел, отрываясь от легкого существа в линиях ситце, говорившего с ним на одном языке. Она понимала его.

Среди детей, свиней и чугунов с толченой она его выделила и пожалела. И он после этого должен убираться, а она — оставаться в притихшем доме рядом со старым, пьяным Миком Джаггером.

Берлогин не мог заснуть от боли в груди и лежал на кровати, как на адовой сковороде. У него сердце нарывало и дергало, и стреляло по нервам во все концы тела. «Грудь твоя, как чаша для питья, бедра твои, как амфоры...» — твердил он дурацкую фразу. Антик нашелся, понимаешь.

Он встал и не узнал в лицо летний безмятежный рассвет. Он не понимал, какое время дня, года. Набрал две фляги воды и пошел по влажной шепчущей дороге по направлению к деревне. Зачем? Он не знал. Что-то подняло его и погнало. Оглянулся. Гора смотрела ему вслед дремлющим и мудрым оком. «Прости, матушка гора». — «Иди, прощаю».

Он долго-таки шел и вошел в деревню с солнцем. Магазин, конечно, был закрыт, но зачем ему магазин. Берлогин послунялся по площади, затормозил на автобусной остановке. Там на столбе висел ящик, оклеенный бумажками «Пожертвуйте на храм». С одной стороны - на русском, с двух других - на немецком и английском. Да что им тут, Москва? Только он это подумал, как к остановке подошли и окружили его седые немцы в шортах - много, человек тридцать. В ящик тут же западали нерусские деньги. Неужели есть такой ранний рейс теплохода? Похлопали Берлогина по плечу:

- Эр хат кайне арбайт.

- Битте тринк. Оберэссен... — и сунули бумажку, как нищему. Заодно с храмом.

Вскоре подъехал автобус, и немцы дисциплинированно забрались на мягкие интуристовские сиденья. Они наверняка забыли и про храм, и про Берлогина, ибо у них по программе должен быть дальше монастырь...

А Берлогину понадобился храм, и он пошел его искать. Собственно, здесь тоже когда-то был монастырь, но в одном здании теперь был клуб, в другом - коммунальный жилой дом, оставалась только церковь. По окаменевшим земляным завалам Берлогин еле взобрался к окнам. Проломленные полы, мусор, копать. На необвалившемся куске штукатурки - золотое крыло.

«Ах ты, как загажено все! Монастырь стали прибирать ради иностранцев, а тут руки не дошли... А ведь крепкая церковка, славная. И луковки совсем целые».

Он сползал вовнутрь, задохся от нечистот. Вышел с другой стороны и продолжал кружить рядом, весь во власти ласкового и большого ощущения. Глотая слезы и воду из фляжки, опустился и сел спиной к обшарпанной стене церкви. Что подскажет взбаламученная душа, уставшая рваться на части?

А тем временем боль из человека постепенно уходила, просачиваясь через ступни и разбитые кроссовки вон, в бывшую монастырскую землю. Но они же очень похожи, эта церковка и Мелисса. Светлые, осененные свыше обители счастья, беславно заброшенные. Сверху грязь и копать, под ними - утешение...

«Вот оно что. Вот где я нужен, неудачник. Я для нее могу сделать. Подайте на храм любви вселенской! А если сам побирושка? Такая и идея быть должна - собирать хорошее, убирать плохое...» Около привратничкой он чуть не упал. Там внутри увидел кровать, печку, лавку. «Ах ты! Вот где жить-то надо!.. Работать в церкви, тут писать. Окошки в реку смотрят».

Наверно, Кыцкий осудил бы. Перечеркнуть свое? Не жаль. Если ничтожно свое-то, понимаешь?..

Мимо простукала моторка, остановилась напротив вывески и дощатого помоста. Пассажиры вкусно затоптали с сетками наверх. Пока перевозчик курил, Берлогину захотелось немедленно купить билет и уехать на ту сторону. Но он сдержал порыв и пошел искать начальство.

Замзавклубом, он же киномеханик и диск-жокей, весь из себя в новой варенке, сидел, чинил магнитофон.

- Церковь хочешь отремонтировать? Атае. А у тебя не сдвиг по фазе?

- Сдвиг. Иначе и не стал бы предлагать.

- Платить-то за работу некому. - Мужик в варенке и бейсболке хищно вглядывался в схему.

- Не надо платить. Только б угол, ночевать.

- А паспорт? Сам откуда? Вид-то у тебя... Смотайся в район, там действующая церковь, потолкуй с попами. Говорят, на это дело благословение надо.

- Слушай, пока я буду мотаться, я передумаю и сдохну десять раз. Паспорт есть. Но не с собой. Принесу к вечеру.

- Вот принесешь - так ключ от привратничкой и дам. Там реставратор жил. Черепишь, странник?

Берлогин черепил и был счастлив. Еще бы!

## ЭТО КИНО

Девушка с папироской была отчетливая. Майка из жатого вишневого трикотажа уныло сползала с ее худого плеча, перечеркнутого черной лямкой. Неподвижная колючая жара ее не трогала. Дым вокруг нее висел кусками, давая тень. Павлинка покачала головой: социально незащищенный слой. Мальчик Павлины сидел на поребрике и увядал. Павлинка пыталась его поливать колой, но толку не было. Он безучастно ждал, глядя коричневыми пленными глазами. Когда придет автобус неизвестно, но мамина авантюра уже надоела. Сорвалась куда-то прямо в один день. Природу ей какую-то надо... Павлинка уехала в лесную глушь прямо со своего дня рождения. Только все приготовились три часа лопать жареных куриц и салаты в ассортименте, как поезд с Павлинкой уже ушел. «А день рождения?» – возопили все.

- «Больше нету», - уклончиво хмыкнула Павлинка, удаляясь в лесную глушь. Еще глуше их повез автобус, который полз среди сосновых горелых лесов, как жук в огороде. А чего она добивалась, она и сама не знала. Свободы?

- Ух ты, - сказал мальчик на черные стволы.

- Ух ты, - сказала Павлинка, вылезая из автобуса в вечернюю сверчковую тишь.

Она вспомнила, что в этих деревнях абсолютно нет улиц, и найти доброго дядю из лесничества, кажется, невозможно.

- Э-э, девушка, - обратилась она к отчетливой вишневой майке, - вы не знаете, как найти Бориса Иваныча? Околышев Борис Иваныч...

- Ага, - оценивающе оглянулась отчетливая, - знаем, покажем.

Пока Павлинка собиралась с духом и с сумками, ободряла увядшее от усталости дитя, к отчетливой девушке подошла такая же, еще более четкая подружка, вся замурзанная, в красно-коричневой помаде рот. Тоже топик какой-то атласный. Тоже мужские сланцы на босу ногу... Девушки петляли в бурьяне и рассуждали, в чем пойдут на тусовку и будет ли драка. Павлинка плелась за ними, думала: «Куда я ехала, к кому?» Борис Иваныч когда-то оказался с ней соседом на днях районной культуры, они сидели рядом, в перерыве дегустировали местные вкусоности и покупали буклеты. Павлинка должна была написать про событие, и Борис Иваныч много подказал, особенно про природу. Немногословный, улыбчивый, весь светящийся, он нечаянно сказал, что у него в деревне природа необычайная, и тогда же уронил: «Приезжайте, надо своими глазами увидеть». Конечно, это было легкомысленно - то, что Павлинка согласилась, но теперь, когда по дворам мычали коровы и спину озверело кусали комары, было уже поздно решать... Девушки подвели ее к какому-то бараку: «Вот вам Борис Иваныч». И, презрительно размахивая руками, ушли. У барака половина окон была забита досками. Веранда тоже. Сквозь дыры виднелись кровати, также сложенные на них пружинные сетки, профсоюзные стенды, прислоненные к стене. Около крыльца стояла береза, с которой тянул шею вкрадчивый Чеширский кот. А Павлина заглянула в черный квадрат двери и звонко крикнула:

- Вставайте! Гости приехали!

Грохнув чем-то, навстречу метнулся бледный Борис Иваныч.

- Как вы могли, - сказал он, - как вы в такую даль...

- Как могла? - она припечаталась к полу. - Но вы же разрешили! Хотя могу и обратно... Только завтра.

- Я не в этом... Я в другом смысле. Ребенка замучили...

Она страшно удивилась. Он, видимо, недоволен, что она приехала с ребенком, так как это исключает... Постояли, помялись.

- Я в шоке! - сказал Павлина.

- И я! - сказал Борис Иваныч. - Но вы сумки сюда, а сами

сюда. А ты, мальчик, если хочешь, то можешь во-о-он туда. Мальчик бесшумно ушел и, вернувшись, тоже шепнул матери на ухо: «Я в шоке».

Они еще постояли, и хозяин пробормотал, указывая вдаль через комнату: «Там есть кровать, можно спать... Все лишнее отодвинуть или бросить мне на диван». Он, кажется, оправился от шока. А Павлинка глянула в указанную комнатку и обмерла – там, на длинной слеге, через все стену висели пиджаки, брюки, куртки – так, чтобы скоро взять и уйти...

- Сейчас уйду на работу. А вы тут соображайте.

- Борис Иваныч, ну как же мы будем соображать без вас? Соображают обычно на троих. А потом, какая может быть работа по ночам? У меня, кстати, день рождения... Есть вот пиво медовое. – Она моментально открыла и плеснула в зашипевшие

стаканы.

- А я не пью пиво, - отрезал Борис Иваныч. – Нет, ни за что. Пока.

Вечерело! Закатные золотые лучи ложились на оконные переплеты и на стены. А у окошка стояла простая русская женщина со стаканом пива в руке. Безответно так. Статуя вполне могла бы заменить колхозницу в статуе «Рабочий и колхозница», или, на худой конец, украсить витрину пиццерии. Мальчик подошел, заглянул на кухню, и его проняло.

- Так и будешь стоять? – спросил он и отхлебнул длинный поток из стакана.

- Но-но, - она отвела стакан в сторону. – Ты слишком-то не сочувствуй.

Потом они пошли гулять по странной квартире, где жилой была одна комната, то бишь Борин кабинет, а остальные три были в запасе. Особенно большая оказалась на границе с той, что им досталась. Большое окно, тоже заколоченное, печурка с кованой дверцей, неизвестно откуда взявшийся тут теннисный стол... Эх-ма! Вынесли пиджаки и куртки. Подмели. Нашли подушку и матрас, в соседней комнате раскладушку. И еще одело. Комнатка- гардероб стала почти жилой, вот только заколоченное окно. Какое-то мрачное барачное впечатление...

- Где топор? – осенило Павлинку.

- Мама, не надо, - вежливо попросил мальчик, - дядя Боря будет в шоке. Наверно, ты с ним плохо договорилась. Так быстро слинял.

- Нормально я договорилась, главное - бесплатно.- Ты куда?

- Сейчас, сейчас, сынок, будет у нас свет в доме... - пробормотала Павлинка, идя к окну с улицы.

Но там оказалась крапива выше головы, и Павлинка, обхва-

тывая тряпкой стебли, рубила и рубила ее, чтоб добраться до окошка. Ее бешено кусали всякие комариные мутанты, плевалась огнем крапива, но она, напевая и отмахиваясь от них топором, стала отламывать доски и рейки, залепившие окно. Треск пошел по всей деревне! Вокруг стали высовываться головы в платочках и перешептываться. Но Павлинка ничего не замечала, рубилась себе и рубилась, только что коня на скаку не останавливала. Стряхнув с лица капельный пот, она нечаянно промазала, и топор скользнул мимо доски. Посыпалось с отчаянным жалким звоном стекло. По двору пронесся эхом многоголосый стон. Но она ничего не хотела замечать. Главное – окно прорубила, фанера упала к забору, и все. Можно отдыхать.

Утром она рано встала, сбегала до колодца, восторгаясь звяканьем цепи и воды в ведре. Какая вода чистая, тяжелая, как она поет и гудит в колодце, чудо! Бока колодца внутри были ребристые, казалось даже, что они вот-вот гибко сложатся, как членистый шланг в душе. Такой огромный блестящий кран, поющий весь мир. Можно задуматься и увидеть колодец как шею дикого лебедя по горло в земле...

Когда Борис Иванович встал, на кухне уже сидели веселые незнакомые люди и пили чай из его чашек.

- Садитесь, Борис Иванович, - закричали они, тут же повскакав с табуреток, - пейте-ешьте, мы уже все!

Он хотел что-то сказать, но только беспомощно улыбнулся. Когда он вчера полол у матери огород, а потом побежал на ночное дежурство, ему техничка уже сообщила, что незнакомые люди крушат его дом, бьют окна, вся деревня на это смотрит, прямо кино какое не надо. Он внутренне задрожал, но себя не выдал.

- Борис Иванович! Ты покажешь мне лавку, почту, пляж? И я отстану! – продекламировала Павлинка.

Сонные сосны, шелестя проволочно-маталлическими темными кронами, с достоинством отступали от дороги и крепких ярко-крашенных домиков. Ротозейная Павлина шла в нарядной шифоновой блузе, улыбаясь всему вокруг. Ее черноглазенький мальчик в плащовых штанах и такой же строченой панаме шел рядом. И чуть позади тихий, медленный, как слон, едящий себя поедом - Борис Иванович. Солнце, праздничный чирикень птичий. И удивленный народ, выглядывающий из-за заборов.

Это было кино. Они смотрели и думали – вот, вывел показать. Она думала: отчего это все выставились? Все здоровались с Борисом Ивановичем. И с ней заодно, с поклоном. А он – красный, он ничего не думал, только чертыхался. Завидели выездную палатку - свежий хлеб, рыбка, сардельки, око-

рочка, помидорки. И она его, конечно, потащила к этой машине, и очередь медленно так на них развернулась! И головами опять повела. А он - красный, как те помидорки.

- Борис Иваныч, хочешь, я сделаю окорочка с орехами? – задорно спросила Павлинка.

Она хотела порадовать его, но он только нахмурился. Ну, все что угодно, только бы не приставали!

На почте висело объявление: «Приглашаются люди и дачники на сенокос, оплата молоком либо поросятами. Правление». А сама почта была такая: до одиннадцати двадцать человек ждали, а потом пришел грузовик из района с почтой, все ввалились. «Маша, отдай в ваш конец письма». «А мне песку в ведро навешай». «А мне порошок, две пачки». Только один Борис Иваныч расплатился за книги почтой, две тысячи с чем-то, да маленькая старушка в цветастой панамке до подбородка пенсию хотела получить, но не удалось...

- Борис Иваныч, - смеялась Павлинка, - почта сегодня открылась только ради тебя. А ты идти не хотел! Она не воображала, не ломалась, она просто такая была, непосредственная, открытая. Борис Иваныч, наоборот, косвенный, закрытый. Но изо всех сил старался как-то проявиться. Нашел тетю, которая согласилась продавать молоко. Павлина на другой день взяла банку и поплыла вдоль заборчиков и калиточек. Теперь она в упор смотрела на старушек, вперявшихся в нее из-за забора, шла вольно, вдруг приближая к ним лицо свое.

Те отпрянывали в ужасе, приседали в укроп. Молочница Анюся Иванна покосилась, тоже странно оглядела гостью, поджала губы.

- Как вам в гостечках?

- Хорошо, - ответила Павлина, любясь бело-резиновой струей, туго ударившей в банку.

- К родителям-то не ходили еще?

- Зачем? – Павлина ошалела. – К чьим родителям?

- К нашим, Борискиным и моим. Положено поклониться.

- Да ну еще, Анюся Ивановна. Беспокоить-то их. А вы, что, сестра Бориса?

- Неужели не похоже?

Павлинка натянуто улыбнулась. Она забыла, что в деревне все родственники.

Речка стеклянно пела среди камней, и они на целый день там застряли. Вода, правда, обжигала морозом, отнимались ноги-руки, но в жару-то! Сельские смотрели на них с жалостью. Почему? Может, в речку сбрасывали навоз? Да нет, вроде не сбрасывали.

Нарисованная речка – круглые камушки, каждый в зеленой обертке осоки, как конфеты в коробке, меж ними сине-льдяная водичка. А над крохотной, в несколько метров речкой - большой капитальный мост для случайных машин и постоянных драк на танцульках.

В лавке Павлинка взяла хлеба, сыру, две штуки нектарина, потом, помедлив, еще одну штуку, побольше.

- Боре? - радостно подсказала продавщица. Та самая, четкая, в вишневой майке и с папироской.

Вечером Павлинка спросила, будет ли Борис Иваныч кушать борщ. Посмотрела на него, большого, в черной широченной футболке, полноватого, застенчивого до ужаса, с переливающимися в окулярах серыми глазами. Видела: он колебался, потом зажмурился и сказал, что да. Вообще-то он не ест тяжелую пищу, мясо там, щи жирные, он только салаты любит на завтрак, на обед и на ужин. А Павлине - лишь бы все были накормлены. Кастрюля вот только мала. На троих уже надо двухлитровую, а не эту мелочь на два стакана.

- Иваныч, ты бы попросил у матери сковородку, что ли, я блинов бы навела...

- Что?.. - он так и вскинулся в ответ. – Зачем? Я не ем блинов.

- Ну и что?! - удивилась Павлинка. – Другие едят. Что станет со сковородкой, если я на ней попеку блинов? Верну же я! И вообще мне надо кастрюлю. Большую такую, просторную, эмалированную. Борщок завернуть, компотик. Мало ли...

- Что-о-о? – Борис Иваныч аж подпрыгнул. – И зачем это мне столько борща? Я, что, Гаргантюа? Или Пантагрюэль? Вы вообще думаете, что говорите? Н-н-наглая какая!

И убежал.

На крылечке перед сном растомленно сверчали сверчки, и с речки долетало разноголосье молодежной тусовки. Павлинка сидела в просторном своем балахоне, положивши локти на колени, а подбородок на руки. Она думала: а где все его друзья, почему не приходят? Все здороваются, все уважают, а как зайти, так шиш. А может, у него есть женщина, и я ему испортила всю малину. Как он не понимает, я его старше на десять-пятнадцать лет...

А в это время, явно не понимая про возраст, позади неслышно стоял Борис и несмело протягивал руку к ее плечу. Он тянул ее робко и медленно, а как только Павлинка качнулась, мигом убрал ее, спрятав на спину. Как дитя. Потом еще раз. А когда она с крыльца встала, его узрела, он тихо сказал: «Добрый вечер». И в дверном проеме исчез.

Ночью Павлинка проснулась от рокота голосов. «Неужели гости по ночам уже ходят?» Она на цыпочках прошла по направлению к местам... Что увидела она! За занавеской на кух-

не, прямо у окошка, стоял спиной Борис Иваныч и гладил руки высокому длинноволосому парню. У парня на лице с закрытыми глазами было непонятно что – то ли улыбка, то ли мука. Так вот оно что, он боится ее, скрывает своего друга. Она прокрадлась обратно, забыв, что шла по нужде. Лежала впотьмах на раскладушке и стучала сердцем на всю комнату. От сердечного стука проснулся сын: «Мам, ты что?» - «Я в шоке, сынок».

Наутро прежде всех речек и гуляний под соснами Павлина пошла в лавку и купила большую голубую кастрюлю. Денег, конечно, слишком мало, чтобы бросать их на ветер, но что делать. Холостяцкая кухня Бориса Иваныча приобретала другой вид и размах. Но он, хоть и не отказывался теперь от общих трапез, делался все тише и молчаливее. Он ей теперь ни в чем не мешал. Только иногда, засыпая, она слышала за стенкой его голос: «...И вот новая публикация ее биографии – неужели не читали? Вы же любите Цвеинаеву, так я завтра найду вам. И про князя Вяземского найду. Что вы, как можно. А Липскерова? Не-е-ет, я не люблю такое, это мертвая литература...» Сын выразительно вздыхал: «Началось...» Но ей хорошо засыпалось под глуховатый голос за стенкой, она чувствовала себя так безопасно, так уютно и тепло, что да, да, она оценила все это... И Павлинка его больше не трогала. Она теперь почти не говорила, только несколько слов про очередную книгу из Бориной библиотеки. У них стали длинные мирные чаи, однажды даже перечеркнутые баночкой «Балтики-Лимон». Борис Иваныч сидел на диване с сыночком, решал кроссворды, говорил смешное, а ребенок хохотал. А она на кухне, как хозяйюшка... Кино.

Анюся продавала чудесное молоко, густое, как сливки. Наливая очередную банку, поинтересовалась, надо ли на следующий месяц, а то приедет племянница, и будет напряг.

- Да мне пора уж ехать, не надо.

- Как ехать? И кастрюлю купили...

- Что вы, Анюсь! Просто не захотел Борис Иваныч у матери попросить.

- Да дурачок. Думает, мать не узнает, а как нет-то. Вся деревня уже знает.

- Чего знает?

- Что женщину привез. Только что мать уж очень плакала...

- Плакала? – закричала в испуге Павлинка. – Почему?

- Что старая да с ребенком. Ведь Борьке-то и тридцать пять не накатило.

Павлина так засмеялась, что брызги из глаз.

- Я в шоке, - сказала она, отсмеявшись, - я знаю, что у него зазноба есть.

Они опять ушли на реку студеную, и, наверно, дико смотрелась полная Павлинка в длинных юбках, шляпе, с книжками посреди всей деревни. Мальчик бегал по камышам, а она типа читала, отгоняя оводов. Ну о чем, о чем тут страдать? У людей все нормально, у них отношения не первый день, а она тут приехала, понимаешь. Все-таки нет, нет в ней никакой деликатности. Нет бы отблагодарить Бориса, устроить вечерушку с музыкой, посидеть втроем, попить «Балтики-Лимон», ведь им тоже хочется общества... Она бы держалась как надо, она теперь поумнела...

Через три дня Борис Иваныч заказал «газик» везти гостей на поезд. Он стоял лицом в окно, крутил посудное полотенце и то говорил что-то про Парамонова, про его статью «Солдатка», то просил увезти крупу и масло, и кастрюлю... А что было в глазах – разглядеть невозможно, очки же толстые.

- Да ладно, Борис Иваныч, - перебила его Павлина. – Я же понимаю, что создала тебе проблему. Мальчик очень красивый, ты не смущайся, я человек взрослый. Прости меня. Думала: раз позвали, так все и можно... Доходит до меня, как до жирафа на седьмые сутки. И кастрюлю не возьму!

- Как вам не стыдно, - прошептал, обернувшись, Борис Иваныч, - Темка пришел после драки, я просто перевязывал его. Они же дерутся село на село. Без всякой причины... Он не мог к матери такой, в крови ...

- Но почему он не мог прийти днем, просто так?

- Мешать не хотел.

Тут вошел Тема и посмотрел. Дур-р-рацкая сцена. Он смотрел на нее, на него. Она смотрела на его забинтованные руки, рваную желтую футболку, на коричневую кожу, русые волосы, рот еще был, неопикуемый вообще...

- Какая маза? – Темка вытрапил глазищи. – Вы что как недоделанные?

- А-а-а, - заговорил Борис, жестоко крутя полотенце, - вот, Павлина Пална, Артем, знакомьтесь. Павлина Пална, вы очень понравились Теме, он видел вас на речке и захотел познакомиться...

Нет, это было кино. Они сели, наконец, как люди, пить «Балтику», другого в лавке не было. Пора поговорить, все выяснить... Мальчик, хохоча, уже сидел у Темы на шее, а Тема четко банк открывал. Рассказывал, как дрались, с кем, сколько человек. У кого переломы. Кто так отлеживается.

- А за кого, за кого? – все спрашивала Павлинка. - Такая дикость, ужас!

- Как же. За Ольку из лавки. Она живет в Липкове, а работает тут. Такая маза! А теперь, если вы останетесь, так за вас Борис Иванович тутошний, а я липковский...

Подъехал «газик», стал сигналить. Долго сигналил, потом уехал. Остались только сверчки. Шок продолжался.

## ВСЕМ ОТДЫХАТЬ!

Жених приехал к Жельке утром на мотоцикле, тарарахнув у ворот тучей пыли. Он даже не вошел, а Желька уже забегала по общаге, застрочила шпильками. Потом мазнула пару раз по себе косметикой и крикнула:

- Девчата, все ко мне на свадьбу. Автобус два раза в день, один кэмэ до станицы. Хоть пожрете раз в год. Паня, без тебя не начнем.

Сиганула в мотоцикл, и тот с разъяренным ревом урвал невесту вдаль. Паня поежилась от колющей глаза жизни, протерла очки... Юбку с кофтой ей подобрали, подарок общий заготовили, то есть деньги собрали, а Желька сама взяла на базе что надо. Осталось только поехать. Делать ничего не надо, сиди слушай тамаду, ешь, пей, отдыхай... Про эти здешние свадьбы такое наговорят, что...

Ей удалось запрессоваться во второй рейс, и два часа ее трясло по проселкам как погремушку. Выпав из автобуса, она тупо потащилась за оживленными станичными женщинами, которые из райцентра несли по четыре сумке через плечо. Паня несла только скромный сервиз на двенадцать персон, и то скрипела зубами. Потому что на зубах песок скрипел, а солнце палило, жара под тридцать пять. Несмело окликнула:

- К Анжеле Проценко куда пройти?..

На нее глянули впервые за весь километр, хотя она в том же автобусе ехала.

- У которой свадьба...

- Туда, дочка.

На широком дворе было полно людей, так что Паня испугалась, что свадьба уже идет. Но в белом платье она никого не нашла. Походив с огромной коробкой и потолкавшись у одной кучки, у другой, спросила, куда девать подарок, и услышала:

- Гости невесты — туда, белый флигель, первый этаж!

На дверях стояли стрелки, как в казаках-разбойниках: подарок — туда, спать — сюда. Подарки стояли до потолка, кровати — до горизонта. Уставшая от жары и переживаний, Паня робко села на крайнюю койку, строго затянутую солдатским

одеялом. Ей уже не хотелось видеть любимую подругу, она поняла, что попала на конвейер, и покорилаь.

И вдруг - рупор:

- Гости, на выход!

Под деревьями белели буквой «Г» свежеструганные столы. На короткой палке стояло пять мощных мясорубок, на которых с хряском давили мясо. На длинной палке было чисто и лежала веселенькая, в радужках скатерть.

- Гости, руки-ноги мыть!

Стояло пять тазов с водой, и на колышке - ворох вытиралок, напротив на деревьях — рукомойники. Гости, их было немного, человек десять-двенадцать, первая смена — поплескались и смущенно подошли к столам. Паня увидела, как несут прочь три таза фарша, и ей стало не по себе. Молодой парень стоял в торце стола, коричневый и блестящий, как скумбрия горячего копчения. Хоть и был он в желтой майке и военных штанах, Паня догадалась, что это тамада. И, правда, тот хлопнул себя по обширной груди и душевно сказал:

- Гости дорогие. За здоровье молодых — все, быстро!

Скромная подружка невесты покорно взялась за стакан с мутной жидкостью и ливанула в себя. Жидкость, оказавшаяся самогоном, взорвалась в ней оранжевым сиянием и забулькала в ушах. Водку ей случилось опрокинуть, но это было явно злее, до того зло... «Мбл... Мбл...» — заклокотал самогон, норовя вылиться.

- До дна, до дна, не ставить! — весело подгонял парень, и Пане показалось, что она тонет — глаза таращились, руки махали. Осилив больше, чем полстакана, она уцепилась за тяжелую скибу арбуза и ткнула в нее носом, как в берег. Дальше она так и сидела, выев только среднюю часть. «Ничего не пойму, — подумала она, — от самогона жарко или от солнца?» Все вокруг уже весело смеялись, а над чем — трудно сказать.

- А где Анжела? — невпопад спросила Паня. — Подружка я как-никак.

- Была б ты дружка, пошла бы в другой корпус, а по-дружка идет на общих основаниях. Тебе выпить дали? Дали. Нельзя Анжелку. Готовится она.

Что было дальше, Паня не запомнила. Проснулась ночью и вышла. Под деревьями горели огни. Вся буква «Г» была занята тазами и кастрюлями. В одном тазу горой печень, в другом - котлеты, в третьем - жареная рыба, вареные языки, еще что-то... Летняя кухня дымила двумя печами, горел костер. Кто есть будет? На армию еды...

Она долго умывалась из бочки и боялась идти в кровать, ее

бы там опять начало качать и кружить. Попила воды — закружило пуще прежнего. Народ ломил ночью как в аду, как на заводе во вторую смену. На фоне ярких звезд пели сверчки. Кусты сирени трещали от вздохов. Непонимающая Паня посидела на лавочке в ночной рубахе и пошла качаться дальше.

За утренней рюмкой был инструктаж, который она проспала. Не уловила главного — если ты гость невесты, то сидеть только с гостями невесты, к гостям жениха не подходить. Поэтому она всю свадьбу недоуменно бродила между теми и другими, нарываясь на сердитые взгляды и окрики.

В машину доехать до сельсовета на роспись она не влезла, села к тому копченому пареньку на мотоцикл, и они оба, ревя разом, довели ее до торжества, когда роспись уже произошла. Жених и невеста расписались, обменялись и стояли как памятники, а престарелый кубанский хор пел трагическую свадебную песню. Песня была душераздирающей и хоронила Анжелку, отдаваемую под плеть. Паня восприняла обряд всерьез, очки ее запотели. Спиральная юбка в синих полосах надувалась тяжелым станичным воздухом, крылышки на кружевном топе трепетали, а по щекам сползали слезки.

Паня смотрела вдаль на Анжелу, ласково, утешающе кивала ей, пыталась даже помахать рукой, но Анжела не была уже прежней Желькой: она стояла надменно, не видя ничего перед собой. Рыжие волны прически вспыхивали живыми цветами и жемчугом. Трехслойное платье вместе с фатой казалось водопадом. Жених и невеста, утес и водопад, — сошли по ковровой дорожке с сельсоветского крыльца мимо хора в лентах, сели в черную конную коляску, разрисованную под палехский поднос. «А-а!» — грянул опять хор, и, восторженувшись, Паня побежала к ближайшему мотоциклу. От сельсовета к широкому двору Проценков хлынуло народное шествие.

Процесс дарения подарков стал мукой — стояла очередь человек сто. От палящих лучей на подтаявших гостях расплывались темные мокрые пятна. Гости морились, как перед мавзолеем, прочно держа свои коробухи. Те, кто стоял без груза, смущались: ждать долго, а подавать нечего. То есть конверты у них, может, и были, но не будешь же всем говорить, сколько у тебя в конверте... Но зато с конвертами легче было стоять. Одни говорили два слова - и долой, другие долго читали заготовленную речь по бумажке, а в это время задние перешептывались и осуждали.

Паня не опозорилась: подтащила сервиз волоком и отбарабанила стишок по открытке.

Желька ее как бы не узнала - опять надменный гордый вид, и, что ни чудней всего, дежурно поклонилась ей в пояс, как и

всем. Никак не дала понять, что в общаге они из одной тарелки ели! Паня обалдела — Желька, общежитская дикая орхидея номер один, стала чуть ли не Василисой Прекрасной...

За подарок всех награждали чаркой и шишкой — большой глазированной сдобой в виде сосновой шишки. Паня опять глотнула горячей водки, заела сухой сладостью, и у нее все поехало в глазах — и широкий двор, и толпы людей, и женщины в атласных кофтах, которые сносили на столы еду тазами. Вдоль столов уже стояли ящики с водкой. Но несчастная подружка, честно хватившая самогону дважды и натошак, очень икала. И искала просто попить. К столу пока не пускали.

Подкралась к костру, увидела, что в кастрюле стоит без прищипки бульон, быстро зачерпнула прямо рукой... Счастье, что он был не горячий. Это спасло ей жизнь. Когда подарки были подарены, снесены опять во флигель и заперты на замок, зарокотал мегафон.

- Гости невесты, для вас музыка... Гости жениха — за стол! Грянула из колонок магомаевская «Свадьба». Одна толпа послушно стала разбирать жареных куриц, другая обреченно запылила ногами. Паня, оказавшись рядом с сивоусым казаком, у которого на полосатом пиджаке немо кричали орденские планки, едва успевала подбирать подол чужой спиральной юбки, чтоб его не оборвали. Хорошо, она хоть каблук не надела, не совладать с ними здесь. Песен десять отпрыгали. Казак толкнул Паню: «Передают сводку!» Рупор повторил:

- Музыка для гостей жениха, гости невесты — за стол!

Паня испугалась, что их погонят за чужие тарелки, но нет, их сажали с другого конца буквы «Г». Первый раз. А потом, когда это повторялось и дважды, и трижды, все уже сбилось! Это было жутко интересно, так как каждый раз толпа приносила к другой лавке и другому стакану. Первый-то раз Паня нацелилась наконец на курицу. Но успела осилить только малую часть, а мелкой фасовки не было. А когда вернулась, то увидела эту, уже хромую, курицу под фаршированным карпом и постеснялась доставать. Она в панике глянула на другие тарелки, там тоже было два-три слоя.

Еды было столько, что казалось — никакая сила никогда это не сожрет, казалось, обобрали все станицы Кубани, чтобы Желькина свадьба погуляла как надо. То она ела что-то воздушное — голубцы в сметане. То огненное — помидоры по-армянски. То вникала в круг холодца, который непонятно почему не таял, с яйцом и лимоном посерединке, то в розеточку с печенью.

- Гости! Встать!... Гости! Сесть! Все дружно... Плясать, кушать! Отды-хать! — то и дело разносилось из рупора.

Магомаевскую свадьбу перекрывали баянные ревы. Молодым хотелось врубить магнитофон, а старым хотелось петь любимые песни. На какие-то полчаса молодые и старые совпали и одинаково истоиво вытягивали: «Вот кто-то с горочки спустился» или «Ой, цветет калина». Но потом свадебные вихри враждебные опять разносили недопетые песни по окружающим садам.

Паня ошибалась и, поскольку никого не знала, ориентировалась на сивоусого казака. Она плюнула на все, дорвалась до кваса, и скоро ей стало невмоготу. Нервно пляша очередную летку-енку, она подскакала к сивоусому и, глупо улыбаясь, спросила:

- А вы не знаете, где тут у них?..

Казак кашлянул, харкнул, вытер лицо и шею платком и потащил Паню в кусты сирени. Они шли по кустам долго, потому что там везде уже кто-то был, забрели в сад за домом и разбежались. Им, конечно, было все слышно, но какие мелочи! Над головой щебетали птицы, а по голове стучали падавшие яблоки. И никаких «сесть-встать»! Чудо!

Казак глянул на девушку и засмеялся.

- Шо, поблажало?

- Ага. Спасибо.

- А ты, шо, подружка?

- Ага, а вы?

- Оцэй Анжелы дядько. Заморывся вже. А дэ твий парубок?

Паня промолчала.

- Нэма парубка? Отож гарно... — Да как начнет целовать Паню! Та подхватила свою спиральную одежду - и драпать...

Дальнейшая смена блюд и декораций пошла в тумане. Рупор призвал гостей на улицу для демонстрации. Свадьба обязана была из дома невесты перемещаться в дом жениха, и тем временем гости невесты опять должны были как лыски переть на себе приданое. А гости жениха — идти и обсуждать: какое, да много ли, и так далее. Паня смутно запомнила, что ей досталось что-то вроде большой подушки в оборочках. Кто нес пододеяльники, кто кастрюли и супницы, кто вообще комбинации и платья на плечиках, причем плечики подняты на швабры, как штандарты полка, а пониже - дубленки и шубы. Перины везли на двуколке. После девятого вала еды пошел десятый вал барахла. Это было дико, потому что подушки и покрывала падали в дорожную пыль, и никто не смущался. Тем более никто не смущался, что ветер колышет комбинации. Паня раньше думала, что ее Желька — королева, а тут такое раздевание, унижение. Какое счастье, что Паня не дождалась выноса кровавых простыней, обязательных после первой брачной ночи. Она бы

мешок на голову натянула. Стоял шум и хохот, как на базаре...

Дом жениха был гораздо меньше, но оказался на берегу реки. Наличие столбиков, с которых сняли забор, намекало на сильную подготовку к свадьбе. Поверх грядок был брошен специальный высокий настил. Уж конечно, если бы пьяным гостям говорили, что нельзя топтать грядки, никто бы не понял, для того и настил.

Ослабевшая от самогона, от мяса, от жары и жаркой подушки, Паня не понимала, откуда взялась эта власть над людьми, заставляющая их так уродоваться. Сгонять столько родни, чтобы сколачивать столы и сносить заборы, день и ночь жарить-парить, ставить большой прожектор на ночь, освобождать корпуса и этажи для ночлега, тратить немислимые деньги, лезть в долги, вообще заводить эту фабрику-кухню, этот хай... Ведь никакой же радости от этой фабрики, только команды, только ощущение себя пешкой. И глядя на Жельку, хотелось всем напомнить: она тут самая главная, так сказать, царица бала, но тоже стоит манекеном и подчиняется молча. Было жалко ее, было жалко всех. Не так показывали в кино. Не так праздновали свадьбы в институте. Не так представляла себе Паня свадьбу обожаемой подружки. Ну, стол в саду, ну, родители, может, скрипочка поиграет, Желька посидит в плетеном кресле с женихом и Паней. Они будут перебрасываться взглядами, только им понятными! Это будет и прощание, и благодарность за все, что между ними было. За пылкие разговоры, слезы друг у друга на шее, секреты, клятвы... Вина на столе, фрукты, цветы! Цветов — вот чего жаждала бедная Паня, а их в силу бесполезности тут вовсе не предусматривалось.

Она, выходя из двора невесты, узрела на помойке гору котлет, которые жарили еще ночью, которые она так и не успела попробовать! Над горой котлет стояла туча мух. Паня, купившая на весь аванс новое платье и сидевшая на пшенке, люто завидовала людям, которые могут позволить себе котлеты. Но чтобы позволить выброс котлет — этого понять было уже нельзя...

Очередные хозяева сделали вид, что они не знают, сколько было выпито и съедено в гостях у невесты, как будто не сидели там! Во дворе стояли такие же свежеструганные столы, и волянка «плясать - кушать» повторилась. Только есть уже ничего не хотелось, и, наверно, это было продумано...

А потом родители жениха стали играть страшный спектакль вроде хора в сельсовете. Они всех расставили полукругом и завели торжественные речи о послушании мужу. Паня знала все тонкости Анжелкиной любви и даже то, как она лишилась невинности, да и вообще вертела милым как хотела! И вся об-

шага знала об этом. А тут тихий белокурый жених стоял в жестяном пиджаке и держал плетъ. Шикарная плетъ с изящной ручкой, витая кожа и позолоченные кисти...

Паня волновалась, лихорадочно поправляла очки и хватала за лацканы Желькиного дядьку в орденских планках, забыв, что она на него как бы обиделась.

После речей жених выпил литровую вазу вина и как хлестнул Жельку этой театральной плетью! Желька стояла тихо, только чуть дрогнула кружевной спинкой, и ее покрашенные глазки налились тяжелой слезой. Паня зарыдала в орденские планки. Казак схватил ее, решив, что она перепила, и понес в речку прямо в спиральной юбке. Но Паня сквозь рыдания кричала, что одежда чужая, и хозяйственный казак аккуратно снял чужое, завернув Паню в свою рубаху. Затем искупал, не тронул, положил обсохнуть и снова чужое надел. Он же с ней и возился потом, собирая по двору невесты ее манатки и сажая в последний автобус.

В общаге Паня проснулась утром в понедельник. «Всем встать! — зычно крикнула вахтерша тетя Маша. — Чайники кипят!.. Паня, твой багаж у меня в холодильнике». Паня, сдерживая похмельную дрожь, на цыпочках подошла к именному холодильнику тети Маши и обомлела. Там было два целлофановых мешка жареных кур, печени, арбуз и многое другое, что предусмотрел хороший сивоусый казак, поминай как его звали. А как звали-то?

## ОРИ-ЗОНА

Кулики поехали к фермерам первым автобусом. Им нечего было есть, а у фермера можно на копке картошки заработать один к десяти. Конечно, это не даром, но и выбора особого не было. Кулик был молодой, лысый и с бородкой. Стальная проволока оправы и старомодные штиблеты выдавали в нем интеллигента. А Куличка, та быстрее походила на горничную, чем на супругу его — простая, веснушчатая, как подсолнушек. Звали ее Лиля, но это имя только муж произносил, остальные — просто Куличка и все.

Видно, на нее-то и среагировала фермерова жена Арина Езовна, почувствовав родное. Она отвела Куликов на дальнюю делянку за лесом, где у фермеров простиралось поле с немецкой «элитой». Может, фермер так не сделал бы, но он как раз в тот день отбыл на мясокомбинат сдавать бычков, и фермерша правила сама. Дала мешки, лопаты-вилы-ведра и убежала гонять овец и коров, устремившихся в огороды.

- Арина Езоновна, а куда мешки? — крикнул ей вслед честный Кулик.

- Стерегите... — донеслось от Арины Езоновны, — сам све-  
зет телегой.

Копалось сначала просто: немецкий сорт оказался богат, по двадцать клубней в кусту, и все большие, с два кулака, длинные и ровные, как точеные из свежего дерева. Кулик вилами поддевал, Куличка шустро собирала картофелины, пуляла очередями в ведра, ведра набирали - и в мешок. А как дошли до десятого мешка, стали тормозить. Съели по хлебу с огурцом, отпили холодного чая. Высокое осеннее небо посвистывало ветрами, умывало разгоряченные лица Куликов.

- Э, — сказала вдруг Куличка, - там еще кто-то копает...

Пригляделись и похолодели Кулики: женская фигура рыла картошку не с краю, как они, а посередине. Ведер у нее не блесло, она, пригибаясь и перебегая, даже рыла непонятно чем.

- Ворует, — пробормотал честный Кулик и побежал разбираться.

Куличка со страхом смотрела. Воровка далеко убежать не могла, ноша держала. Кулик без труда ее догнал, отобрал чужое добро и пошел обратно, махая рукой и ругаясь... Но баба пошла, спотыкаясь, за ним. И он через несколько минут швырнул ей оклунок... Куличка даже закричала:

- Э, ты что делаешь?

Воровка побежала к лесу, а Кулик даже не посмотрел в ее сторону. Он пришел расстроенный.

- Ничего не заработаем, — объявил он. — Тут раскрадут.

- А зачем отдал? Принес бы.

Кулик молчал. Он бы закурил, да не было.

- Знаешь, чем она подкапывала? Детским совком. Безработная, говорит. Такая же голодная, как мы. И ребенок есть.

Они стали работать молча, как бы сговорясь, что восполнят эти два ведра. Но теперь Кулик начал сносить мешки в кустарник и закладывать ветками. Носить было далеко, Куличка морщилась, переживала, что он повредит руку. Вора опять увидела первой и тут же, схватив вилы, побежала к нему.

- Держи-и! — завопила она, увязая в ухоженной пашне. — Держи гада!

Кулик побежал за ней, крича: «Стой, руки...» Бомжеватый мужичок испугался психической атаки с вилами и бросил свой рванный мешок. Ведро-полтора они вернули.

- Да и он вернется, — зло сказал Кулик, — когда стемнеет.

- Так что ж делать? — загнанно спросила Куличка. — Тут и копать некогда.

- Некогда! — заорал вдруг Кулик. — И шут с ней, с элитой. И с хозяйкой тоже. Рабы не мы, мы не рабы...

- Зачем орешь-то? — испугалась Куличка.

- И ты ори. Будут слышать, не сунутся.

Они переговаривались, как глухие. Стало и смешно, и страшно.

- Лиля... Мы - как шефская помощь дурдома.

- Попадешь с ними...

Солнышко стало быстро склоняться. Руки-ноги уже не вочалялись, а хозяйка не шла с телегой.

- Как ее по батюшке? Позвать пойти? — спросила Куличка.

- Ее - Арина Езоновна. Аризона. Пойди, я покараулю. Скажи — все покрадут. Уже почти шестнадцать мешков.

- А тебя не убьют тут?

Кулик засмеялся.

- Ты что это, Лиля? Любишь, что ли?

- Люблю, — скорбно сказала Куличка и неуклюже зашагала к усадьбе.

Фермерша была дома, и Куличка все ей изложила. Та стала запрягать лошадь, а в это время мимо усадьбы пошли грибники:

- Теть! Где бор-то, в каком краю?

Аризона показала, рассказала.

- Надо дощечку прибить, — сказала она, — указатель. А то весь язык уже отмотала. Ты сиди картошку чисть, свезу мешки, есть будем. Там уже чугунок кипит, положишь сама.

И покултыхала на телеге через лес.

Куличка стала чистить картошку и удивляться, какая она огромная, на килограмм штук пять! Не картошки, а глыбы счастья. Только их возить через лес, болото — не по себе...

- Арина Зона! — закричал через забор мужской бас. — Не то опять твои овцы у меня в капусте?

- Ее нету, она в лесу, на делянку поехала, — откликнулась Куличка.

- Передай, значить, что етит ее так. Сам погоню.

Картошка закипела быстро, а как сливать огромный чугунок, Куличка не знала. Овцы пронеслись где-то за огородом, дико бляя, потом обошли усадьбу кругом и пришли толкаться в ворота. Тут было вязко и болотно. Овцы подняли ор до тошноты. Психическая атака. Хорошо, что притащилась Аризона с телегой. Причем мешки лежали, а Кулик и Аризона шли рядом, жалея тяжело дышащую лошадь. У Кулика по лысине тек пот, очки в росе.

- Ребят! Где бор-то с рыжиками? Не туда? — пристали опять грибники.

- Туда! — махнула Аризона. — Давай, сынок, сюда, в сарайку... Эти два я вам отложу, сам-то завезет.

- У нас ведь не двадцать, только восемнадцать, — уточнил честный Кулик.

- Ништо. Ведь наломались да стерегли тоже...

- Один я на коляске увезу, — успокоил Кулик. — Второй потом. Спасибо.

Сели есть. Развалы картошки были желтые, сахаристые, в тонком дыму, с каплями постного масла, а тут еще чеснок с солью, сало, хлеб черный... Кулики, бедные, так и накинулись. На них нашел такой покой, такое тепло и довольство, что они готовы были забыть непосильную работу и даже полюбить ее. Тело наполнялось радостью, головы туманились, руки - ноги не чувствовались вообще.

Аризона осторожно ткнула растрескавшимся пальцем в старый магнитофон, на котором стояли бобины величиной с тележные колеса. Клавиша хлопнула выстрелом. Потом послышался разбитый звук фортепьяно и дрожащий нервными вибрациями голосок. «Дай бог, чтоб поняли тебя/ Чтоб шире распахнулись двери/ И чтобы с раннего утра/ Все птицы у тебя запели/ Ты людям свет свой понесешь/ И пусть не все его воспримут/ Но чью-то память ты спасешь/ И чье-то сердце не остынет...»

- Дочка, - шепотом пояснила Аризона, - говорят - самородок, снимали за покосом на стогах. Уехала теперь, вон пианино ее пылится, вон батька рамами тепличными заставил.

«Я всей душою, как сестра, на путь тебя благословляю/ С тобой навек твоя земля, она детей не оставляет/ С тобою вера верная твоя/ Твои весенние рассветы/ Как зов мятежный журавля/ И песни, что еще не спеты...» Кулики переглянулись, угадав в Аризоне скрываемую, большую печаль.

В этом голоске цвели отчаяние и блаженство, мольба и прощение одновременно. «Неправильно поет, - подумал грамотный Кулик. - Не училась, наверно». «Увидеть бы, - поразилась впечатлительная Лиля. - Верит, наверно».

- Картошка не горе, — вздыхала о своем Аризона. — Хлеба вот нет в деревне, не возят. Тот раз, как поедете, везите три-четыре булки, деньги я сразу.

Заблеяли резко овцы.

- Сосед вас звал, — сказала сонно Куличка, — ругался, что в капусте овцы.

- Пойду сейчас, — отмахнулась Аризона, — дай дух набрать. Напою овец, загоню. Не растаял, коли шуганул разок... Нынче зашла я мотаться без мужика... Скоро ли сам прибудет, бычков ладно ли сдаст... Поди обманут опять нашего брата. Прдержат на приемке, те исхудают, а платить, так по живому весу...

Она одернула пестрое платье, затянула на старой завивке полинялый крепдешинчик. Лицо ее, полосатое от неровного загара, с белым под челкой лбом было почти веселым, удивленным, глаза в прищуре - как чашки в трещинках.

- Эй, помещик! Где тут бор-то? Где-е? — опять пристали из-за ворот грибники.

- В п...де! — крикнула задорно Аризона. — Надоели шастать.

За воротами замолчали. Овцы продолжали жутко мекать. Властно смаривал сон, а честный Кулик тяжело встал и пошел увязывать коляску. Через минуту вернулся и срывающимся голосом позвал:

- Аризона, там грибники стоят, не уходят, говорят, с овцой неладно, и на бревнах что-то валяется. Пока не позовешь хозяйку — не уйдем, говорят.

Аризона побежала без сапог, Куличка за ней. За вот этим месивом перед воротами была полоска твердой земли, но по месиву грязи Аризона точно побежала в вязаных носках. Около бревен что-то чернело, как оказалось — крохотный черный ягненок, который и пищал.

- Объягнилась дурочка моя! Жаль какая! — Аризона нагнулась над ягненком. — Ты-то живой, а мать где? Я трех брюхатых заперла, а этой же рано было, чего она...

Грибники увидели, что народ повыбежал, и пошли дальше. Виновницу нашли за сараями далеко, она тыкалась в жерди мордой, нервно мекала, волочила за собой что-то красное. Аризона ее ловить — та хуже забегала.

— Иди, иди, глупенька. Иди к мамке, что ты рвешься-то? Приберу тебя, иди...

Ничего не выходило, обе были в трансе.

- Стой, — собралась Аризона. — Не так надо. Иди, дочка, со мной. Я открою загон нижний. Ты войди сюда, вон угол там приготовлен. Теперь иди - дам в руки младенца. Ты будешь перед Чомкой, перед овцой, значит, его держать и сюда в уголок зайдешь. А я буду Чомку направлять. А ты, сынок, захлопни сразу за нами...

Куличка взяла в руки скользкое, дрожливое существо. Оно тонко мемекало и судорожно вертелось, вытекая из горстей. А сильно сжимать было страшно, казалось, сердечко тукает поверх шкурки. Куличка знала, как бьет пульс, когда нарываяет рана. Этот кусочек живого был такой же раной. У Кулички не было детей, внутри все кричало и хотело, а тело не могло и не срабатывало. В руках у Кулички бился чужой пульс, чужое счастье. Надо тихо, тихонечко нести, пусть потом порадует, тоже ведь мать...

Овца, потерявшая было детеныша, сразу кинулась на его голос, чуть не сбила Куличку с ног. За ней, облепленный сором, волокся послед. Аризона и Кулик подхватили овцу с боков и стали толкать к загону... Куличка ослепла от слез и от страха, но пятилась, пятилась, держа ягненка перед носом овцы. Овца рвалась к нему, кричала. Наконец удалось войти, и дверь хлопнула. Через две минуты Аризона прибежала с ведром воды и велела Куличке уйти, чтоб овца перестала бояться.

- Молодая она, первородка. Дурочка совсем, всполохалась как коза... — бормотала любовно Аризона, обихаживая Чомку.

Куличка сама задрожала от потрясения.

- Ну чего, чего, — утешал ее Кулик. — Сейчас пойдем к дому, через полчаса автобус, картошку мы заработали, все хорошо.

- Он жидкий весь, — содрогнулась жалобно Куличка. — В руках сердце бьется голое, страшно. Тоже ведь рожала, бедняжка, не дай бог умрет ее черненький. Человечьего брось, так уж давно умер бы.

- Ничего, не умрет, Аризона знает, устроит по-людски. Успокойся. Она тут банку молока нам еще дала.

- И как она успела надоить? У нее и овцы, и коровы. И элита в лесу... Я не представляю. Один день тут побудешь, и жить неохота. Они-то как?

Куличка сожмурила усталые веки, помотала головой.

- Да как? Как вся страна. — Кулик в потемках пытался разглядеть часы.

- Слушай, миленький, а вдруг все уедут? Сейчас, к примеру, сюда едут картошки побрать, а потом, когда тут все рухнет, и некуда будет. Может, давай потом еще приедем, поможем им, а? Не из-за картошки, так — вообще.

- Не дергайся, сегодня не поднятая целина. Подумай, как нам с тобой пока выжить, не спеши сама в атаку. Сейчас у всех моральный эквивалент войны. А у Аризоны все обыденно, такие события у нее каждый день.

Кулики заторопились к остановке через поле, срезая дорогу. Они приехали сюда чужие, хотели заработать, урвать, забыть. Но сначала было поле, которое пришлось хранить, как свое, потом уехавшая дочка-певица, от которой остался лишь голос, а потом глупая овца, объегнившаяся не так и не там. Чужими быть не получалось, они ловились на страдание, откликались на него и присыхали к гиблому месту. Кулик сцепил челюсти, пытаясь убедить себя, что ему не тяжело, что все хорошо, хотя черное небо и непроглядная дорога гудели обратное. Через этот

глухой гул пробивался дрожащий голосок певицы-дочки: «Их провожало небушко и поле/ Березок белых нежная чета/ Не ошибалась верность русской доле/ России верность вечна и чиста...»

Куличка старательно месила пашню, поднимая повыше сетку с молоком. Она беззвучно вытирала бегущее с лица горе, изредка оглядываясь на черную, без огонька, оставшуюся позади усадьбу.

## ИНВЕРСИЯ

Она мне твердила: «Что с тобой сделают в армии! Тебя сломают! Господи, хоть бы ты вернулся оттуда человеком...» А сама в такую переделку попала. Потому что сама набивалась на унижение и не замечала этого... Однажды она пришла в нашу контору по поводу сомнительного журнала.

- Мне,- говорит,- снимки надо, кучу снимков. Вы - фотографы, настоящие профессионалы. Помогите, значит.

Я сразу понял, что предложение некоммерческое. Про Терентия и говорить нечего. Он ей намекнул:

- Миленькая, мы не благотворительная организация.

А она как глухая. И начала каждый день ходить, подстерегать по телефону:

- Ребята, да вы что, не понимаете? Это международный вопрос. Если нам удастся подружить народы...

А у самой vareжки дырявые, лысое пальто десятилетней давности, и в журнал ее взяли бумажки носить. А не редактором.

По черно-белым снимкам Терентий отмазался - порылся в архиве, вспомнил давнего друга, музейщика. А когда дошли до слайдов, стало совсем напряженно. Ей надо было не что-нибудь, а рекламный слайд эмали горячей перегородчатой. Монополист - художественные мастерские, с ними кто должен улаживать? Даже прокат слайда стоит больших тысяч, не говоря уж о съемке. Терентий ездит за слайдовой пленкой в Москву, а ей вынь и положь. Да еще слетай прояви, да целую пленку загни ради трех кадров. Ну смешно.

Терентий сказал:

- Платите, миленькая, за «фуджи колор». Иначе я с вами не играю.

Она вжала голову в плечи и отказалась. Дескать, нет на это денег, редактор велел так, бесплатно... А как это «так»? Делать вид, что рекламируем себя и что это большая честь - напечататься в ее сомнительном журнальчике?

Я подумал - ну редактор... И понадеялся, что она вскоре

Имя оказалось не Ираида, не Ифигения, не Иллария. И-я. Усеченный вариант. Хотя дело не в имени.

- Скажи, он в клубе вагоноремонтного никогда не работал?

- Работал. А что?

- Да вот я ходила писать про ансамбль, там сидела такая красивая женщина, ее прямо передернуло. При одном упоминании Терентия пострашнела на десять лет!

- Женщина - это частная жизнь. Никогда не спрашивайте меня про чужую частную жизнь.

- Нет, не женщина. Она начальство. Она сказала - нельзя связываться с этим человеком. Он глуп и подл.

- Вот и не связывайтесь.

Она утихла. Я заметил, дурная у нее привычка сидеть в пальто. Будто заглянула на минуту, дала понять, что сейчас уйдет. Но время идет, она потеет, накаляется сама и накаляет других... Голову наклонит, волосы на лицо упадут. Лица не видно, только красные руки домохозяйки, которые крутят варезку. Да что-то бурчит под нос.

- Господи, что же будет? Ведь я принесла ему деньги! Неужели он возьмет и предаст? Редактор меня убьет...

Нашла чем разжалобить. Мы с Терентием просто мечтаем об этом.

- Дионисий, слышишь? Редактор его тоже ненавидит, говорит, что ему незнакомы человеческие чувства, для него существует только выгода... Как это понимать?..

- Вы о ком? О своем редакторе?

- Нет, я про Терентия. Его же ненавидят. Что это значит? Не может он всем навредить одинаково. Люди разные, а говорят одно и то же.

Я промолчал. Меня другие не волновали, а за себя я был спокоен. За Терентия тоже. Но спросил как можно вежливее:

- И много вы обнаружили врагов у Терентия?

Она сидела за столом Терентия, подпершись рукой, и сплетничала, а я ей помогал.

- Я составила список. Чтобы знать все его грехи. Люди не скрывают. Ты только представь, в каком состоянии он жену бросил... Она тогда не работала, болела, четверо детей. Ну, прошла любовь, но она-то человек тоже? Говорят, возвышенная женщина, стихи сочиняла... Художник портрет ее писал в сиреневых тонах. Целый рассказ о том есть. А потом стала пить...

- Вам мало своих грехов?- учтиво спросил я.

Она вздрогнула. (Пусть знает.)

- Да я не в том смысле, чтоб судить,- пробормотала она.- Наоборот...

- Покупаю у вас этот список.

- Зачем?

- Чтобы мстить.

Засмеялась. ( Да не им мстить, а вам.)

- Список еще не закончен. Закончу - тогда и поговорим.

- Вы дадите мне ваш список, а я вам - свой. У вас - кто ненавидит? У меня - кто любит. У вас слова, у меня снимки.

Заинтриговалась. Глазами засияла.

- И много там человек?

- Возможно, там всего два человека.

- Ну?

- Один из них я. Терентий снял меня на фоне моего же портрета.

- Ух ты, прелесть какая. Значит, ты все знаешь...

- Это значит, я ничего не знаю и не хочу знать.

Тут она спохватилась.

- Слушай, его не будет больше? Или придет? Не могу больше ждать.

- Почему? Вечером будет. Во сколько - не знаю. Мне надо работать, простите. Два заказа, пленка экспериментальная.

Всемогущие святые! Наконец она ушла. Ну, люди, как вас много. Как вы громко говорите, потеете, сидите в пальто, как тон вас выдает. Только и ждете, чтобы вцепиться. А вот не получите, мадам Ия. Хотя я и про женщину в клубе знаю, и про редактора вашего, любителя соцдармовщинки. Терентий учился в одной школе с этим редактором и в сути его разобрался намного раньше вас. И какой ценой тот в олимпиадах побеждал, и как в проектном бюро числился, а сам писал диссертацию. Терентий там подрабатывал и стал свидетелем. И про женщину, которая в свое время крупные суммы растратила. И про жену, которая тоже... Про женщин лучше не вспоминать. Скоро список сильно пополнится, я чувствую.

А Терентий еще говорит - снимай лица! Как будто на свете нет ничего увлекательнее, чем вглядываться в людей! А где он видит людей?

Да, он сделал мой портрет, посадив меня на фоне моего же портрета, только графического: то есть я презрительный, мрачный на фоне себя ангелочка... Две ступени меня? Два представления обо мне разных людей? Но не будешь же каждого снимать в двойном, тройном варианте! Или каждый позитив сопровождать негативом! Кстати, негативом можно спасти самый пропавший кадр. Но это баловство. Игры с публикой, с самим собой.

Другое дело пейзаж. В нем есть какая-то вечная, неискаженная правда. У дерева ветви на одну сторону, как волосы у моей

девочки, рядом красивый старый дом. Настроение зависит от света, и я люблю, когда мало света. Все становится зыбким, грустным. Сначала я делал только контурные работы. Но изогелия, где резкие тона без переходов, увлекала, мне стало мало только черно-белого, стал увеличивать количество тонов.

Вот есть интерьер в развалинах галереи. Там свет сгустился только в углу, как у Рембрандта. Я говорил, что хотел бы в этих развалинах жить. А ведь я снимал без всяких наворотов, просто учился, и Терентий давал мне понять, что на этом месте будет шикарный всемирный фотоцентр. Значит, что-то передалось. Техника - вопрос вторичный. Когда есть идея, она и технику подскажет...

У Терентия много пейзажей. Речная гладь, вспоротая моторкой, деревянный подъездик в снегу - скучно, уже было. И все они техничные, безукоризненные...

Два дерева переплелись в объятиях, как люди - это уже почерк Терентия. С деревьями у него получилось больше эротики, потому что они ему кого-то, что-то напомнили. Бывшие любовницы, настигнутые в объятиях друг друга? Кара за грехи, когда красота становится уродством, а живое чувство застывает сухими стволами?

Набережные и купола на снимках Терентия, они до такой степени красивые в своем ином, что похожи на торты. А я торты не люблю. Сырой морковью питаюсь. И хочу, чтобы снимок лишь отдаленно напоминал снятую натуру. Все снимают городской собор. Я же снял его с колокольни, она выше собора, получилось, что я выше собора, я улетаю... То есть я не просто человек у перил. А кто-то другой, Икар, может. Вот что значит чисто позиционный снимок.

А еще я люблю снимать натюрморты. Серебряный поднос с рюмками и свечами, залитый водой (или вином, понимайте как хотите). Все в тумане, под сильным газом. Все плывет. Это я однажды обнаружил эффект запудренного объектива. Создалась дымка, которая скрыла бытовые подробности и создала сияние. И еще загадку, которая тоже будит воображение. Я изобрел велосипед, такой прием существовал до меня. Но не исключено, что следующий прием будет новый.

Я стараюсь много печатать, чтобы искать техникой то, что не поймал объективом. Хотя черную работу не люблю, пусть бы сидел дурак и печатал. А тут еще Ия делает из нас с Терентием дураков. День и ночь бы печатали как станки, да еще бесплатно.

Прошло несколько дней. Я посмотрел последние проявки, ожидая увидеть там эту самую Ию. Ведь Терентий часто снимал гостей или клиентов - вовсе не из любви, а по долгу служ-

бы. Он не пытался на этом заработать, хотя мог бы, ведь он знаменитость. Он просто наливал им рюмочку медовой настойки, усаживал в кресло или на стремянку, устраивал в студии длинную антимионию, ходил, шутил, расставлял софиты и показывал процесс. Это был целый спектакль.

Гости ахали и воображали, что они великие. Все подавалось так, будто их снимают для истории! Отсняв пару пленок, Терентий о них забывал. Веселый, лысый и широкоплечий, он тут же бросался к телефону, начинал звонить по сотням адресов и дел, искал деньги за аренду, мотался в Москву проявлять слайды, и ему физически было не пленок. Был бы у него дурак, тот бы ему печатал. Пытался Терентий и меня запрягать, но это у него не вышло. Я раз напечатал, да еще сидел, вытягивал слабые кадры - а никто не пришел. Больше я так не делал...

Отсняв, он мотался, а заказчики его терпеливо ждали. А потом шли недели, месяцы, кто-то начинал раскачивать, умолять, он отмазывался, забивал баки, снимал заново, но конечный результат был один и тот же. Снимки не возникали. И люди либо прощали, либо нет. Либо становились друзьями, либо становились врагами, только снимки тут ни при чем. Поразительно, как он стал знаменитым при такой системе работы. Конечно, со своими экспериментальными работами на конкурс он так не поступал, они и хранились отдельно. Но когда он их делал-то? Работал в разных местах, а личный почерк был одинаковый. Бедная Ия с ее списком. Это же в дурдом попасть можно. Она никогда его не закончит.

Так вот, через несколько дней Ия позвонила к нам в контору и птичьим голосом прокричала:

- Дионис, у меня редактор едет в Москву, мне надо ему пленку отснятую отдать... Чтобы он сам ее в проявку сдал, понимаешь? Чтобы поскорей все крутилось.

- Какую пленку?

- Ну какую, с перегородчатой эмалью. С банком, который дал рекламу. За какую я украла деньги из кассы, ну?

Я был в прострации, потому что твердо знал, что Терентий ничего снимать не собирался.

- А где она, пленка? - осторожно спросил я.

- Где! Это я и хочу узнать.

- А кто снимал, у того и есть... Так, наверное. (Она не в себе?)

- Да Терентий снимал, что ты, как этот...

- Терентий... Так в чем дело? Придет, отдаст.

- Денек, ну хватит притворяться. Он снять снял, а в контору не придет. Он в страшном состоянии. Но я не знаю, где он живет. А ты знаешь.

- А как же он снимал, если «в таком состоянии», как вы говорите?

- Да это я виновата. Я тут пришла его уговаривать, а у него припадок. Стал кататься по столу и корчиться. Лицо такое красное, неживое. Что хоть за болезнь?

- Что-то лимфатическое. Плюс аллергия. Так он снимал в припадке?

- Да нет... Я пошла его провожать, он все время падал. Взрослый человек, а на остановке падал, колени поджимал. Я чуть с ума не сошла. Плакала все время. Но я же не следила, куда он шел, да и откуда я знаю, домой к матери или там к женщине.

- Так он пошел снимать?

- Да нет, это уже ночь была. А он снимал днем. На другой день я пришла, а он уже и банк снял.

- Снял или говорит, что снял?

- Снял, потому что заделся в смысле оплаты. Редактор ведь сказал, что оплатить не может, а банк сказал, что и так финансирует этот журнал, пусть журнал и платит. Потом сказал, чтоб я немедленно летела в контору, я прилетела, а там уж народ из художественных мастерских. Откуда взялись, не представляю. Я за ними две недели хвостом таскалась! Ничего не поняла. Смотрю, они уж там атлас глядят, фон обдумывают, композицию. Я два часа сидела в углу, смотрела.

- Так он вас видел?

- Да вроде видел. Серьги на уши навесил потому что...

- А лапшу не вешал? (Поморщилась.)

- ... Вообще все украшения на меня примерял, из чего я поняла, что у него настроение озорное...

- А как насчет оплаты?

- Слайды с эмалью оплатят мастерские. И я пленку оплатила. Мало ему, что ли? Я вся в трансе.

- Так он, наверно, в больнице. У него обострение, вы не дали ему вовремя в стационар попасть.

- Да я знаю, Денек. Это подло с моей стороны. Но раз уж снято...

- Хорошо, я его поищу. Но никаких гарантий.

- Ладно-ладно. А я тебе треску жареную принесу, хочешь?

- Я не ем треску.

- А что ты ешь? (А что ешь, а с кем спишь... Какое ваше дело?)

Я очень удивился. Никто не мог заставить Терентия снимать то, что он не хочет. А тут он еще нашел всех сам. И больной пошел на мороз снимать банк, который с художественной точки зрения полное ничто, ящик и ящик. Но если эмаль ему оплатят мастерские, зачем он взял деньги с этой ненормаль-

ной? Тем более что гроши. Хочет преподать урок, научить законам бизнеса?

Вечером я побежал в контору положить отснятые пленки и взять чистые. Мороз на улице был такой, что я был как минтай свежемороженый. Уши гремели об воротник. По дороге заглянул в будущий фотоцентр, только так, чтобы погреться и дух перевести. Там уже была зацементирована внешняя галерея, кое-где обшиты стены, в центральном холле начинался камин. У стен лежала плитка, стояли доски, а те, что лежали, прочно смерзлись. В окошке сидел младший отпрыск Терентия, едва получивший паспорт, и играл в «Дэнди». Имя Павел у него превратилось в Пабло, от которого остался Паб. Он бросил школу, его искали и прорабатывали.

- Ты зачем куришь? - спросил я. - Терентий будет убиваться.

- А ты не сдавай.

- Он учует, он же не курит сам. И дорого это для тебя.

- Заработано. Угощаю.

- Не курю, спасибо. Мать угости.

- Без проблем.

В студенческом фотоцентре только возле Паба стоял обогреватель, в остальном была та же улица... Школить его было бесполезно. Он хоть и бросил школу, но кормил неработающую мать. Я был старше, но еще не достиг такого уровня. Кого он будет слушать насчет курева? Нас, таких, все больше - в школе уже не удержишь. Гори она огнем. Я купил себе «аляску», а чтоб ее купить, пришлось побегать. А эти личинки в школе - мам, дай. Больше сказать нечего.

Паб курит для взрослости, ясно. Мне это не нужно. Тем более Терентий тоже не курит. Мне не надо себе и другим доказывать, что я что-то значу. Они и так все бегают за мной. Пусть побегают. В одном завидую Пабу. Что сын.

В конторе была полная оттяжка. Горели софиты, у бархатного фона стояла пирамида фирменных бутылок, к которым бодрый Терентий пристраивал еловые лапы и елочный шар. У стола сидели два крутых качка в иранских кожаных. Видимо, Терентий нашел рекламу и хорошо зарабатывает... В углу маячила как привидение знакомая фигура в пальто. Приглядевшись, я увидел, что она пытается не реветь. В такой момент, в официальном месте...

- Добрый вечер, как ваши слайды? - спросил я как можно тише и как можно любезнее. Чтобы как-то разрядить обстановку.

Она молча указала пальцем на Терентия. Словами сказать не могла, глотала слезы. Терентий снимал рекламную поста-

новочку, делал это профессионально, с наслаждением и отчасти на публику. Качки уважительно взирали. Человек работал. А что?

- Через полчаса поезд, - прошептала Ия, - в Москву редактор поехал. Не успею... Не отдал пленку, видишь? Видишь, что делает?

- Да что вы расстраиваетесь? Не отдал - значит, сам завтра поедет и проявит.

- Это моя пленка. А мне быстро надо.

- Ему жалко губить целую пленку из-за ваших трех кадров. Вы думаете - после вас хоть потоп? Вам надо, фирме надо, а пленка одна. Понимаете?

Она ничего не понимала. Заплатила жалкие гроши за пленку и вообразила, что весь мир у ее ног. Да эти качки хоть наполовину оправдают и пленку импортную, и мороз адский, и стационар просроченный. Но она не уходила, хотя с ней никто не беседовал и вообще не задерживал.

- Если у вас есть претензии, то вы имеете полное право обидеться. (И исчезнуть!)

- Я не могу уйти просто так, - твердила она. - Мои личные амбиции здесь ни при чем. Дело надо до конца доделать.

- Вы хотите устроить сцену? На вас никто не смотрит.

- А на что вы вообще смотрите тогда? Когда я к вам шла, я думала, вы люди.- Глаза у нее были красные, лицо пятнами, слезы подтеками к подбородку. С таким лицом и пойдет по морозу и ветру. Обморозится.

- Что вы так бьетесь за этот номер? Что вы так с ума-то сходите?

- Мы должны подружить народы.

Мы говорили на разных языках.

Она ушла. Ушли парни в кожаных, подарив Терентию все эти блистательные настойки клюквенные, рябиновые, травяные ароматизированные, фирменные пакеты, в которых они все это принесли. Я с интересом ждал, когда Терентий начнет вскрывать бутылки, но потом увидел, что он сидит как чучело, мертво. Глаза закрылись, утонули в лице, состаренном гримасой, губа нижняя отпала. Приступ, значит. В это время у него все чешется и горит, как от крапивы, руки-ноги отекают, отслоенная кожа - лохмотьями, как мох. Потом он упирается во что-то лбом и мычит. И так корчится, что может все поскидать со стола и не заметить. Один раз сбросил телефон, долго чинили. Я знал, что он ничего не соображает, что его и трогать нельзя.

Надо было лечь в стационар. Одной пленкой больше, одной меньше. Дома он обливается ледяной водой. Это хорошо для процесса в целом, но что касается приступа...

Я попытался переместить его на топчан, хотя это было трудно, он горбился, вставал на локти и колени и вообще был как коряга. Как она тащила его на остановку, непонятно... Сюда бы в помощь давешних качков в кожаных...

Потом навалил на него сверху все халаты, куртки, одеяла и покрывала для фона. Решил немного поработать и заодно побыть с ним. Включил потихоньку Патрисию, я люблю работать с тихим фоном, навел свежие реактивы, ладно хоть воду можно было греть кипятивником. Моя последняя серия снималась давно, и чувство забылось. Я сделал два кадра в негативе разным форматом и взял кисточку.

- А зачем тебе вообще объектив? Брал бы и рисовал сразу то, что хочешь. - За спиной стоял и ехидничал Терентий. Когда он встал? Разве у него не приступ? Я слегка окаменел.

- Вам лучше?

- Я отлично себя чувствую. Мне скучно лежать в углу, пока ты тут создаешь высокое искусство. - Ехидству не было предела. Я почти обиделся.

- Бромойль - это не просто кисточка. Это рисунок, наложенный на снимок. Это вообще будущее фотоискусства... Вы, что, хотели, чтоб она ушла?

- Да неужели она ушла? Да я в отчаянии. - Он дрожал от смеха.

- Она тоже. У нее редактор уехал без пленки.

- А пош-шел он. Кто б ему чего проявил без меня? Или срок назначили бы год. А своим они делают за сутки.

- Значит, сами поедете.

- Конечно. После стационара. Имею я право полечить свои лимфатические узлы?.. Попробуй-ка... - Он протянул гжельскую чашку с напитком.

- Я собирался работать.

- Это не срочно. Попробуем, так ли вкусно в бутылке, как вышло на рекламе? (Ишь как! Доволен собой.)

- Вам же нельзя, когда обострение.

- А пош-шло оно, обострение. Давай. «За ММДэнс энд Теренс». Неплохо? Откуда у тебя «аляска»?

- Детский сад плюс конференция. В галерее заплатили.

- Брось. Сколько там дадут в галерее.

- Бабка добавила. - Ну все знает.

Мы пили розовую ягодную настойку. Брусника натуральная, запах такой.

- Все в порядке с эмальями? - спросил я, зная, что «да».

- Все заплатят мастерские, вон договор.

- Купите себе тоже «аляску».

- Пуховик куплю. Дочери.

- Кстати, я тут печатаю. Мог бы ваше отшлепать заодно.

Терентий удлиннился лицом:

- Дураком желаешь поработать? Ну есть тут... Да наплевать, никому ничего не обещал. (А он когда и обещает - все то же самое. Но интересно...)

- Для вас же стараюсь.

- Да вижу, ты порылся в моих негативах. Тебя, кажется, интересует моя частная жизнь?

Мы пили терпкую густую настойку. От нас зависели какие-то люди, а мы ни от кого не зависели. К нам пришли в контору, принесли вино. Почему его не выпить?

- Звонила твоя девочка, сердилась, что ты опять не пришел туда-то и тогда-то. А я ей говорил: найди другого, не фотографа. Она чуть не заплакала и спросила сквозь слезы: а он нашел? Глупенькая. Почему глупенькая? Потому что все мозги ушли на родинки. Я отключил телефон. Ну о чем вы говорите? Всякий раз одно и то же! А я жду междугородку. (Откуда он знает - всякий раз или нет? Подслушивает?)

- Это не я говорю. Это женщина. Влюбленная.

- Вот посмотри, что говорит влюбленная женщина... - И бросил мне листок.

Это были стихи. Такие дурные, законтаченные. Будто ругает женщина сама себя - за выбор, избранник - предатель, вор, многоженец, враль... А за гневной тирадой чувствовалась и погибель, и радость. Терпеть не могу стихов. Но это стихи были про Терентия, я узнал сразу. Кто автор? Он не скажет. А так не поймать, женщин у него... Да стану я ловить! Но меня что-то кольнуло. У той в стихах был обвал, любили в состоянии опасности и горя...

Я подавил в себе романтику.

Я с не меньшим ехидством сообщил Терентию, что завтра придет заказчик со станкозавода и все тут разнесет. Он, чертыхнувшись, углубился в завалы, чтобы найти негатив. А я проявил его пленку и повесил сушить. Вовремя успел. Терентий нашел станкозавод и велел отшлепать те кадры, что потемнее:

- Раз уж ты работаешь дураком...

- Я могу не работать. У меня есть что делать.

- Ну-ну... Что ты, сынок. - И взял меня за шею горячей рукой. Гестапо Терентий, я не ловлюсь на эти дела. Но меня качнула волна слез. Я чуть не взорвался, чуть не ударил его. А вместо этого просто прижался скулой к его руке.

На его пленке оказались жалкие потуги. Ия была с напряженным приготовленным лицом, лоб блестел, висок треснул морщиной. Даже черные гладкие волосы лежали шалашиком,

как парик. Руки были чужими и лишними, не хватало еще пальчик к щечке приставить, как в советском ателье. Женщина застегнулась наглухо, в ней все сдохло, не то что женское, но и человеческое. Она годилась в районную газету по четкости, но в авторы того стиха не годилась. Ее снимал не Терентий! А пьяный бобик! И сделал из нее оператора машинного доения. Вот железо на станкозаводе он сделал классно, оно бликует и сияет, как президентский «роллс-ройс». Так то ради денег снималось...

А у того же югослава была женщина с большим животом и в мужской рубашке, она лежала на кровати, а рядом на подоконнике сидел голый младенец. Один в животе, другой - на окне. Они ее обсели капитально, понимаете? А она прикована к кровати, это судьба. Что, казалось бы, югослав изобразил? Свою подругу или как ее там. Но идея, идея просто сиреной ревет. Против этого снимка не пройти. А когда смотришь, как фотографы фиксируют наличие физического тела, то страшно становится. То же самое, что похороны.

Собственно, когда Терентию работать? Он совсем потерял глаз с этим камином, с этим банком, с рекламой за деньги. То станкозавод, то розлив настоек. Когда он засядет за настоящее? Когда я колдовство увижу наконец?

Я наделал кучу отпечатков, и среди них - ни одного стоящего. Никакого контакта у них не было, так натура боялась камеры. Но самое главное - позади ее фигуры как фон проступали размытые белые пятна. Это были сгустки энергии? Шаровые молнии? Это был брак пленки? Я не знал. Но фотоаппарат не врет, это я знал точно.

- Барахло,- буркнул Терентий, заглянув в лоток с закрепителем. (И я хотел сказать, что барахло, чтоб он опомнился наконец...)

Но тут раздался стук и звон! Кто? Терентий упал на топчан «болеть», я кинулся к двери. Елки, неужели он всегда придуряется?

Там стояла трясущаяся Ия, дышала как стайер на марафоне.

- Вот возьми. Это дорогое лекарство, антигистамин, оно снимает аллергический криз за несколько часов. Это панденол, для кожи. И кое-что по мелочи - сок алоэ, бальзам вьетнамский женьшеневый...

- Да войдите, доктор,- сказал я, закрывая шарфом рот с запахом настойки, - что вы на морозе с рецептами...

- Нет!- крикнула она шепотом.- Я убежала из дома на полчас. Я не хочу, чтоб он умер из-за меня. Не надо ничего, иди, отдай ему... Все! - И побежала по скрипящему насту.

Я долго запирал двери, закладывал засовы и цепочки. По-

том сгрел все пузырьки и пошел в студию, в проявочную. Сколько же она денег потратила? Какую еще кассу ограбила?.. Терентий мирно спал после настойки, он мог... Он мог тихо стелбаться, пока она искала ему лекарства и посвящала стихи. А он не знал, как от нее отделаться... Она сказала: «Он падал и падал». Он падал все ниже, не на землю, а вот здесь, передо мной. Этот человек был для меня все, как вдруг явилась эта Ия, и пошло-поехало. У меня перед глазами все поехало. Как на том снимке с серебряным подносом. Я все понял.

Ее счастье, что реклама вин потребовалась качкам быстро, до Нового года. Я бы не знал, как уговорить Терентия поехать в Москву, из-за одной пленки он и не поехал бы. Но он надеялся что-то заработать, так? И он быстренько собрался. Позвонил, договорился. Он когда хочет, он просто из воздуха делает деньги, билеты, документы...

А там еще был один писатель, я тоже обещал его для журнала. Он все лежал в моем столе, а потом, когда я захотел его сделать, негатив исчез. Ия ранено вскрикивала по телефону, что писатель - гордость нашего города, что она его взяла из музея, но негатив не появлялся. Я ей так и сказал в конце концов, и она заплакала.

- У вас там черт-те что творится, в вашей студии.

- У нас у каждого свой архив.

- А в чей архив провалились мои фотографии, Дионис? Ты их поищешь?

- Почему я? Снимал Терентий...

- Он не будет искать. Он снимает и тут же забывает. Он мою подругу снимал в актовом зале, а недавно опять с ней познакомился. Заново! Снять - чтобы снять? Ты понимаешь, что это ужас? Она всю жизнь его вспоминала, а он не помнит! Не помнит! Они у него все слились! Да зачем тогда снимать-то?

Еще один человек прибавился в списке. Да, он искать не будет. Он не виноват, что их так много... И все сами на шею вешаются. Но ведь снимки не потерялись. Они просто не вышли. Разве можно женщине показывать ее - такую? Она покончит с собой.

- Там, наверно, ничего не вышло. Я никогда не выхожу на фотографиях.

- Я поищу,- сказал я (она кое до чего додумалась).

- Вот хорошо.- Голос ее становился тише и глуше.- И писателя поищи, ладно? Ты добрый...

Добрый, да не слишком. Я не привык панькаться с такими, как Ия. Она не может заставить себя уважать. Но мне вдруг стало тошно, что я Терентий. Ему не видно, а мне видно со

стороны.

Наступили праздники. Я несколько дней жил у моей девочки в ее общаге, я дорвался до нее наконец. Она стала моей любовницей, кружевницей, шоколадницей, гувернанткой, она меня умывала и кормила, как трехлетнего, но я... Не хотел ничего, больше ничего, кроме нее. Она у меня худая, в заплатках ходит, в юбках-кантри, телогрейках, волосы снопом от химии, шея в родинках. Особенная девочка. Рот маленький, нос длинный, глаза узкие, балдежные. Только такой и должна быть девочка фотографа. Но я-то ее снимал не для съемки. У Терентия их много, а у меня одна. Зато особенная. Да она бы с ума сошла, если б я ей актовый зал предложил.

Оказавшись в самый праздник около студии, мы зашли туда за перчатками. Девочка была со мной, мы не расставались ни на секунду. Даже по улице ходили склеившись, как сиамские близнецы...

В студии стоял холод, и посреди холода сидела на стуле небрежно застегнутая Ия, опять в пальто. Терентий разливал медовую прямо на демонстрационном столе, где стояли опытные образцы гжельского сервиза и лежали фоторамки. Я посочувствовал ему - обострение кончилось, пора было играть настоящий роман. Но он соблюдал приличия, я тоже - подошел, поздравил...

Ие было не до приличий. Лицо ее горело, в узких глазах темным-темно, а рука расплескивала нагретую рюмку. Она смотрела в запечатанное морозом окно:

- Раньше я думала, что нужно быть роскошной, богатой. Чтоб тебя добивались. Но теперь вижу - это ни к чему. Я с виду убогая, а на самом деле недоступней всех ваших... Их можно уговорить, купить, а со мной все бесполезно. Я сама пришла и навязалась. И дорого возьму за то, чтобы исчезнуть! Я пришла потому, что вас все ненавидят.

У меня опять кольнуло внутри. Елки, что же она делает? Терентий не выносил разборок. Если жизнь заставляла его думать, он вино пил. Развал семьи? Бедность? Потеря таланта? А пош-шло оно все...

- Двадцать шесть человек врагов! Я работала сплетницей, собирала компромат. Я, правда, хотела понять, что вы им сделали. Они не уроды, не тупицы. Довольно разные люди, но почему так заодно? Ну пусть в ДК много воровали. Пусть бухгалтерша-красотка врет. Пусть жена - алкоголичка. Но почему она ею стала? Почему дети взрослые, которым вы все покупаете, вас не жалеют? Не могут молока вам купить, когда вы болеете? Почему коллеги не помогают вам центр отстоять? Вы знаете, что они о вас говорят? Ужас!

- Ужас! - засмеялся Терентий. - Но не ужас-ужас-ужас? Как в анекдоте: пришел старый морской волк в бордель, попросил самую выносливую девчонку, заплатил вперед. Дали блондинку - через полчаса на четвереньках уползла: «Ужас-ужас-ужас!» Дали негритянку - та же история. Пошла хозяйка. Утром ее выносят, а она: «Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас...» (Неужели не понимает?)

- Но причина, вы слышите, причина какая? - Ия не сдавалась, доказывала ему из последних сил, но он не слышал. - Вы для них съезды, кризисы устраиваете, взносы в мэрию платите, а что ж они тогда? А? Ну что вы им сделали, говорите!

(Терентий, отвечай. Но Терентий, кажется, был уже здорово под газом.)

-...Почему вы один везде? Это слишком. Не может быть такого подонства, такого количества зла в одном человеке. Это какая-то ошибка. Вы же столько работали для журнала!.. Меня все погнали, а вы даже не пошли из-за этой эмали в стационар. Потому что неожиданно впали в азарт! Вы просто старый мальчик, любите игрушки... Вы так и не стали серьезным мужчиной, проиграли в бирюльки всю жизнь... (Надо же, она хочет понять.)

- Дело в том, миленькая, - улыбался Терентий, - что у меня есть любовница...

- Да на здоровье! - закричала Ия. - Я разве против?..

- И эта любовница... - Терентий эффектно замолчал. - Фото-графия! (Клоун.)

Он повел рукой на стены студии, зацепился ногой за какой-то шнур. Шнур упал на демонстрационный стенд и тут отчетливо щелкнул затвор. Я не мог ошибиться. Там лежал «Зенит» Терентия, это он и щелкнул. Но так бывает только тогда, когда его ставят на автоспуск. Может, Терентий поставил и забыл? Или заело затвор?

Или «Зениту» надоело валяться без дела, и он теперь сам будет снимать, без хозяина? У хозяина теперь есть «Поляррид». Который исключает проявление негативов и всю эту промежуточную возню, и уже никто не проникнет в твою частную жизнь.

Мы с моей девочкой молча попятились из студии. Какое несчастье. Вместо того чтобы наслаждаться, люди грызутся насмерть. Но насчет любовниц - это он сказал ей в пику. А вышло - выдал правду. Это же правда! Попользовался - и в мусор. У Терентия полжизни пошло в корзину.

Когда я наконец нашел писателя в столе у Терентия, печатать его было поздно, и в номер он не пошел. Стащил Терентий писателя. Может, он объяснялся с Ией по телефону и для

памяти положил на вид, а может, просто так взял да и спрятал. Ведь это была бесплатная работа, за «ради бога», не станки, не перегородчатая эмаль. Дурачизм, перевод времени и бумаги. Этому не положишь конец вовремя - все, затянет. А я уже был к этому близок.

Но я не забыл про сорвавшийся автоспуск. Пришел после праздников, обошел вокруг стенда. «Зенит» стоял, покрытый пылью, смотрел на меня. Я поколебался - полпленки кадров оставалось. Но в конце концов, что такое одна пленка, если раз в жизни аппарат сам сработал?

Я быстро навел растворы и проявил пленку. На первых кадрах была парочка - Ия, Терентий. Он охотно снимал самого себя.

Потом было что-то непонятное в конце. Я смотрел, смотрел - нет, решил, что напечатаю. У меня были другие планы, но что-то меня покалывало, не отпускало. Даже суставы заныли.

В студии как всегда был морозильник. Но печатать в «аляске» - это уж простите. Снял «аляску», включил магнитофон. Там стояла кассета с «Вэйпес», старая музыка, старая группа: «Мой фотоаппарат никогда не врет!» Это мой не врет, а у Терентия врет. Создает правдивую рекламу, а Ию уродует...

Негнушимся от холода пальцами вспорол пакет с бумагой самой лучшей, контрастной. Парочка оказалась дикая. Они были рядом, но совсем не в масштабе. Как будто вырезаны с разных кадров. Ну и монтаж, сказал бы я, если бы не знал, что они правда были рядом. Я видел! А может быть, Терентий не учел перспективы, сел близко и превратился в первый план. А Ия в фон. И опять на этом фоне белые кляксы.

В картинной галерее, где я снимал буклет, была картина одного художника - семейный портрет. То же самое - сидят рядом, а смотрят в разные стороны. Не вместе они. Жена красивая, как Мирей Матье, а потом... Убила его. А он ее увековечил. А может, изувечил? Кто их знает.

Я смотрел: на этих-то же самое!

Потом последний кадр.

Там было два или три Терентия. Он двинулся, дернул провод. Но при этом изображение бывает смазано сплошную. А тут разные, отдельные фигуры. Всемогущие святые! «Маршируйте, маршируйте, святые!» - так хрипел Армстронг на маге.

Я сделал десять отпечатков с разной контрастностью. Там был мерзкий старик с отвисшей мокрой губой, стоявший на полусогнутых. Он менялся - от молодого и шуркого до вот такого еще старбенья. Это был беспощадный факт. Это Терентий настоящий. Вот ты кто такой - сказал «Зенит» своему хозяину.

Смотри, Терентий, твой фотоаппарат никогда не врет!

Я тупо думал, почему так вышло.

Он ставил на авто много раз. В один момент заело. Почему? Черт его знает. Холод. Прецизионная техника забастовала. Ничего удивительного. Если роботы бунтуют и создают свои цивилизации...

Во мне все заболело. Снимок вывернул наизнанку близкого человека, показал про него то, что он сам не знает про себя. Но он мне вместо отца. И другого нет, и не будет...

Итак! Передо мной пример таланта, который утонул в суете, строительстве, в тяжбах с мэрией, в рекламе, в разводе, в чем угодно, только не в настоящей работе. Он заработал много призов на международных выставках, но все это в молодости, до меня. Он мог гордиться медалями, но я-то хотел увидеть, откуда все берется, как! И опоздал.

Я много раз слышал его разговоры о том, как надо снимать то, как это. Как отличить репортажный снимок от истинного искусства. Я мотал на ус, но самих снимков не было. Все оставалось фантазией. Передо мной было две дорожки. Я уже снимал прилично для того, чтоб... начать заколачивать. Можно было заколачивать или, наоборот, не заколачивать, а уходить в чистое искусство.

Я боялся стать Терентием. Потому что главный его враг - сам Терентий.

Мне приснился дурной сон. В нашей студии полно народу, мы не знаем, откуда. К нам должны приехать крупные заказчики, мы трясемся и проверяем аппаратуру сто раз. Но заказчики не едут, вместо этого расхаживает Иин ушлый редактор и открывает всем двери. Терентий его тоскливо спрашивает: «Миленький, вы зачем здесь мельтешите?» А редактор нагло говорит, что тут сейчас будет презентация его таблоидного журнала. И быстро выпивает все бутылки, принесенные качками для рекламы, и вся его компания ему помогает. В углу сидит Ия, обвешанная половиками, эмальями и другими народными промыслами. От тяжести она не может шевельнуться, только глазами ворочает. Смуглое нерусское лицо неподвижно. Пьянь идет бесконечная, и, когда приходят важные заказчики, все лежат пластом. Мы с Терентием снимаем черт знает как, совсем без памяти. Под конец понимаем, что с заказом все кончено. Тут появляется знаменитый фотохудожник, югослав. Он тоже сильно напивается, сидит на глазах и сдает нас в милицию. Он сидит, переливаясь то в себя, то в редактора Ииного. «Что это вы делаете?» - не выдерживаю я. - «Являюсь в двух сущностях». Тут я смотрю - Ия переливается в мою девочку! А я... Я в Те-

рентия. Ужас-ужас-ужас. Входит милиция - а мы все неживые. Все мы - фотографии, которые переливаются, как детские календарики. Ни в тюрьму нас - никак.

Писателя надо было вернуть Ие. Я забрал его из стола Терентия, сам Ие позвонил, сказал, что прошу прощения, зайду с аппаратом. Да-да, тут обходишься без сюрпризов, потому что если женщину не предупредишь о съемке, она может мешок на голову надеть. Я захватил с собой шоколад... Терентий всегда учил меня, что к женщинам надо ходить с шоколадом, это облегчает достижение цели.

Ия встала мне навстречу из-за машинки. Она постарела, прямо как на пенсии после травильного производства. Я уже знал, что ее уволили из журнала.

Она работала, ставила всех на уши и создавала адские затраты. Чтобы дело сдвинулось, она людям платила или обещала плату, а редактор получил материал и выгнал ее. И все, кто давал статьи и снимки, стали с нее трясти! Бесполезно. Редактор свое поимел, а с этими лопухами даже говорить не стал. Да еще добился, чтоб ее на следующую работу не взяли - пошел и наследил там. Ловкий парень, ничего не скажешь. Совсем недавно я сам бы так сделал, но в нынешней своей шкуре...

Она при мне звонила Терентию, но тот только смеялся: «А я тебе говорил. Смотри, на тебя еще в суд подадут, ответишь. Подписи стоят твои». Не знаю, чем кончилось с судом, скорей всего мужики махнули рукой на деньги. Но она-то кинулась к Терентию не затем, чтобы законы рынка изучать! А чтобы доказать ему и себе, что несмотря на список... Что он... А он...

Я положил ей на стол конверт с негативным писателем, подал шоколадку. Расставил в комнате софиты. У книжного шкафа стоял с раскрытым словарем Иин, видимо, отец. Такой седенький Кола-Бельды в очках и в узорчатом свитере. Он смотрел на меня насмешливо. Я не привык к такой реакции, но решил довести дело до конца. У меня противно сосало под ложечкой. Приемник тихо звучал в углу жуткими шаманскими вибрациями. Меня всегда раздражала народная музыка такого рода.

- Зачем все это? - кивнул отец на змеящиеся провода софитов.- Кажется, Ия не заказывала... много света...

- Не заказывала,- прошептала Ия, заливаясь краской.

- Ну и что? Она интересный типаж... - лихо соврал я.- Мне захотелось поработать над ее образом. Нельзя?

- Почему же нельзя...

Дело шло противно. Отец писал что-то, поглядывал на часы,

она отрывалась к телефону, а когда возвращалась в свое кресло, вид у нее был удручающий. Я испортил целую пленку, прежде чем сообразил, как быть дальше. Тянул время. Приемник шептал и завывал по-прежнему. Потом ученый папа все-таки закончил свои бумаги, защелкнул дипломат и вышел. А я вздохнул и сказал:

- Может, выключите этот северный фольклор? Возьмите гитару, спойте что-нибудь человеческое, пока я пленку меняю. Сможете?

- Ты же любишь музыку для фона, вот и я люблю. Это Саймхо Номчилак, нанайская джазовая певица. Только она теперь в Лондоне живет.

Она запела и перестала быть манекеном, ожила, порозовела даже. И знала Ахматову, надо же. Я стихи ненавижу, но тут вдобавок были те самые стихи, которые я видел у Терентия, только с гитарой. Она плавала в этом открытом море не хуже, чем я в своих реактивах. И стала такой насмешливой, и так молодо глянула из-под упавших волос... Может, это и был тот кадр, ради которого...

- Не смотрите,- просил я,- не обращайтесь внимания на мою возню.

И она долго мне пела. Я даже удивился - мне не хотелось, чтобы она прекращала. Потом замолчала, гитара прислонилась к ее ноге как собака.

- Недавно он пришел к нам домой - с недопитой бутылкой. Стал нас фотографировать. Как будто нельзя просто прийти. Потом ел с нами строганину, которой его тут же вытошнило. И он говорил только о женщинах. Отец все понял и бросил в него нож, его тоже чуть не вытошнило. Я просила их перестать...

Она выговорила это одной фразой. Она не боялась меня, несмотря на то, что я ставленник Терентия. У меня заекало внутри. Елки, он же чуть не умер, идиот. Так вот почему папочка ехидно смотрел на софиты! Да, был прецедент.

Но она теперь ничего не боялась и нравилась мне такой.

Я снимал ее часа два, сам выдохся. Это была черная работа, обреченная на выброс. Но я заранее знал, что сгублю эти пленки, чтобы поймать только один кадр. А если и не поймал - все равно преобразил человека.

Она прощалась со мной, держа меня за руку.

- Какой ты молодец. Неужели я оживу когда-нибудь после всего этого?

- После журнала или...

- Журнал - это моя профессиональная несостоятельность. Надо же разбираться! Я умею писать, не умею хвост заносить. Им нужен был не автор, а шестерка. А Терентий - несостоя-

тельность человеческая...

- Он оказался не тем? Не таким?

- Да это я ненормальная. Сначала - люби меня как женщину, потом люби мое творчество... Знаешь, я развивала перед ним идею иллюстрирования через фотосъемку. Выбрать героиню, снять серию снимков, как там по сюжету. Представь? Это же целое кино в миниатюре, никто такого не делал еще. Тут и техника особая нужна, и все... Например, героиня не может отключиться от писательства, она сидит верхом на любовнике, взгромодила ему машинку на грудь и колотит. Как Хазанов - «мне телевизор не видно»... А он не может жить в таком режиме. Ему и на свое-то творчество плевать, видишь, купил «ПолярOID» - и счастлив. То есть ему уже не хочется колдовать, ему все автоматика делает, это ему, как мастеру, конец! И еще давай меня учить!

- Вы не обижайтесь. Он просто хотел вас предостеречь.

- Знаю. Но главная моя ошибка - требовать от кого-то заполнить тебя. Надо самой быть такой, чтоб хватало и себе, и людям... А когда я сочиняю, все это выходит само собой. Я даже не думаю, не стараюсь...

Фотографии я принес ей через неделю. Никогда в жизни я не приносил их так скоро. Она смотрела их, не могла сдержаться от смеха и восклицаний. Совсем ожила. Ради этого момента стоило и помучиться, и позагибаться ночь напролет, и дураком поработать. Я обошел Терентия, но разве я хотел его развенчать? Не совсем. Может, мне за державу обидно.

- Ты угадал. Поймал тот момент, когда я перестала быть горбатой. Вот здесь. И здесь. И вообще - тем, что пришел. Ты, кстати, видел журнал?

- Нет.

Она показала. Половина снимков Терентия! Вот банк, вот эмаль, вот кружева, вот церковь в лесах... Даже патриарх с визитом. Даже музейщик, почивший в северных водах. Даже американская поездка одного аса из фотоцентра. И ни одной подписи нигде, как будто все с неба упало. И Ииной фамилии нигде нет, хотя макет точно делала она... Ну и ну. Редактор! Культура подачи!

- А как же список врагов? Вы обещали.

Она вдруг замолчала.

- Список вырос на одну фамилию. Угадал?

Она сходила и принесла список врагов Терентия. Ее имени там не было! Номер двадцать семь занимал сам Терентий! Вскоре Ия перестанет заниматься сплетнями и уйдет в другие сферы. Я спрятал список в сумку и подал Ие свой портрет, который двойной. И подумал: а почему бы мне не попробовать сде-

лать то, чего не сумел Терентий? Взять эту безумную идею с фотоиллюстрациями... Это будет стоить ей денег, тут уж меня не объегорить. Но интересно... Моя девочка, которая никогда не была моделью. Маленькая швея, которая живет среди своих выкроек, - она станет героиней романа! Заманчиво.

- А у вас есть?.. Ну, та вещь, для которой даму с машинкой... - Кажется, я испугался.

Ия еще раз сходила, принесла растрепанную рукопись.

- Не выйдет ничего... если, - Ия заулыбалась всем своим нанайским личиком.- Не страшно. Но зато прочитаешь, и это немало.

...А потом в маленьком выставочном зале открывалась моя первая персональная выставка. Я был на грани фолы - меня угоняли в армию, откуда я, по словам Ии, мог не «вернуться человеком». Но Ия так пристала, что «ужас-ужас-ужас». Она внедрилась-таки в частную галерею и пыталась открывать новые таланты.

Через день я мотался в военкомат. Мама с бабушкой так плакали, что я мечтал вдруг оказаться сиротой. Я ждал от Терентия хотя бы сочувствия, но он сказал: «Кто в армии не был - не мужчина». Целыми днями где-то пропадал.

А выставка открылась! Я представил свои старые любимые работы: развалины «с Рембрандтом», церкви и кресты в негативе, ретропарки в рисованной графике, натюрморты в декадентском духе. «Состояние души - вечер» - такое название я сначала придумал. Но сам же его забраковал. Это было старье, поза, вывеска не для вечера, а для вчера. Годилось для пейзажей, но не для тех попыток проникнуть в человека, которые только начались. Немного, но были теперь и портреты: из дымного неба смотрели балдежные глаза моей девочки. Они со мной расставались. Барда одного дал в растре, барда, которого все любили, хотя он перестал петь. В его сигаретке и в прищуре тоже сквозило прощание. Задумчивая оттаявшая Ия... Она все ходила, вздыхала, пока я крутил музыку и раскладывал работы по стендам, бормотала глупости. Мне было грустно. Хотелось, чтобы эту цепкую грусть почувствовали все, кто сюда придет...

Хлопнула пробка от шампанского, звякнули стопки. Моя девочка стояла рядом и улыбалась мне. Подошел и попросил несколько слов парень с телекамерой.

- Выставка - это я вчерашний, - сказал я.- То, что нравилось и волновало раньше. Развалины и подносы!.. Знаете, что такое «Вэйпес»? Пары, испарения. Инверсный след в небе от самолета. А самолет уже давно пролетел... Поэтому выставка так и называется - «Инверсия». Это имя женщины, кстати. Сокращенно Ия. Теперь бы я хотел снимать живую натуру, хотя это

страшная штука. Жаль, что здесь нет моего учителя, которому обязан всем, что умею. Он слишком занят. Но, может, мне удастся сделать то, ради чего он поедет на другой конец города? Подождем следующей выставки. Если я вернусь к вам, то совсем уже другой.

«Слово д р у г о й - хорошее, меняющееся. Как жаль, что надо остановиться. Люблю я этот список врагов - но не как позор, а как его достояние, которое он сам породил и сам собой закрывает - двадцать седьмым. На бумаге. В жизни это никогда не прекратится. Сейчас ты в армии. Я вместо тебя просиживаю в проявочной и занимаюсь фотоделом - превращением черного в белое, плохого в хорошее. В проявочной теперь не холод, а жара. Так сказать, Северный полюс поменялся на Южный. Любовь под красным фонарем оказалась не концом, а началом истории. Но Терентий тут уже ни при чем. Возвращайся».

Я просто видел, как она хмуро это написала, запечатала конверт. А я распечатал. Иначе - откуда бы я это взял?

## Содержание

1. Ира, Гера, Шура.....	4
2. Продала Капитолина корову.....	9
3. Дети из почтового ящика.....	12
4. Колбасная эпопея.....	20
5. Прогон.....	25
6. «Арестовать в чем есть».....	37
7. «Синебрюхов».....	43
8. Капкан для амура.....	53
9. Найти и утратить.....	60
10. Камышин в перигее.....	64
11. Аллергия.....	86
12. Сынуля.....	107
13. Где моя красота, Дамиан?.....	132
14. Мелисса.....	146
15. Это кино.....	159
16. Всем отдыхать.....	167
17. Ори-Зона.....	173
18. Инверсия.....	179



**shekina.ru**

I SBN 594022019-3



9 785940 220190 >

серия «Перекрестия»

ИД «ЧереповецЪ», г. Череповец, ул. Metallургов, 14-а